

*Моей любимой Светлане —
жене и другу
посвящаю*



Игорь Ильинский

К р е д о

СТИХИ. ПЕСНИ. ПРОЗА

Москва
2011

ББК 94
И46

Художник *В. Шведул*

Ильинский, И.
И46 Кредо. Стихи. Песни. Проза / Игорь Ильинский. — М. :
Изд-во Моск. гуманитар. ун-та, 2011. — 384 с.
ISBN 978-5-98079-699-0

В книгу члена Союза писателей России, ректора Московского гуманитарного университета профессора И. М. Ильинского вошли его стихи, песни и произведения, созданные в жанре художественной прозы.

ББК 94

ISBN 978-5-98079-699-0

© Ильинский И., 2011

СТИХИ



ПАМЯТЬ



КРЕДО*

Десятки раз я упаду.
И сотни — встану.
Мне хватит сил на все бои,
на все пути.
Я больно падаю,
но, сдерживая стоны,
Я вновь встаю,
чтобы вперёд, вперёд идти.

Так моя жизнь пройдёт.
Не знающий покоя,
Я встречу смерть свою
(Настанет мой черёд) —
И я спрошу её: «Жизнь —
что это такое?..»
И сделаю последний шаг —
вперёд.

1962 год

* Кредо (*лат. credo* — верю) — исповедание, символ веры, убеждения.

МОЙ ПУТЬ*

Ну, что ж, друзья, мой час настал
Грустить и петь о том, что видел.
Поведать вам, как я страдал,
Кого любил и ненавидел.

Я жил как все. Я знал беду.
Был нищ и голоден так часто.
Но я искал свою звезду.
И я был счастлив.

Мои дела?.. Я жил страной.
Мне подарила Русь Святая
Такой девиз: «Будь сам собой.
Свети другим, себя сжигая».

Я жег себя. Я жадно жил,
Про дом и годы забывая.
Был сам собой, другим служить
Не уставая.

И что ж теперь, в конце пути?
Безумный мир!.. Куда идти?..
Война иль Мир?
Тьма или Свет?
Чума иль Пир?
Жизнь или Смерть?
Но сеял я! Заря взойдет —
Я в это верю!..

* На музыку французского композитора Клода Франсуа (песня «Comme d' habitude»). Затем текст этой песни был переработан в США; песня «My way» стала «визитной карточкой» всемирно известного певца Фрэнка Синатры. Мои стихи оригинальны, не связаны ни с одним текстом названной песни, кроме названия «Мой путь».

Врагам и ранам счет не вел.
Мне смерть не раз в глаза глядела.
Я падал, но вставал и шел —
И за себя, и ради Дела.

Всю чашу Зла пришлось испытать!
Без сожаления и боли,
Твержу одно: «Сумел я быть
Самим собою».

Чего ж ищу? Куда лечу?
Зачем живу? Чего хочу?
Что — Бог?
Что — Бес?
Что — Мрак?
Что — Свет?
Что — наша жизнь?
Вот мой ответ:
«Костер».
А жизнь моя —
Одна из искр,
Летящих в небо!..

6 марта 2006 года

ЗА ОКОШКОМ ЗИМА...

За окошком Зима, пороша.
Мой камин полыхает огнём.
Утопаю в тепле и Прошлом,
Вызываю виденья о нём.

Обнимаю в вальсе девчонку,
И себе говорю: «Навсегда».
Так и кружимся увлечённо
Сквозь метели, разлуки, года.

Вспоминаю друзей старинных,
Полустёртые их имена,
Задуманных бесед картины,
Вместе читанные письма...

Память сердца — Поэт отменный,
Возвышающий всё Былое:
Знал я беды и подлость измены,
Вспоминается — лишь незлое.

Отлетели в прошлое грёзы,
Позабылось о многом давно...
Знать, об этом хочет берёза
Мне напомнить, стучится в окно.

Я такие люблю вечера —
Нам вдвоём с Одиночеством просто.
За плечами монбланы Вчера,
Впереди меня Завтра — пропасть.

5 декабря 2010 года

ПРО ВОЙНУ

Чтобы взять винтовку,
Был я слишком мал,
Что война — воровка,
Я не понимал.

Что война-уродина
Крошкой свинца
Первым в нашем роде
Украдёт отца,

Я тогда не ведал...
И не знал того,
Что лихая ведьма
Брата моего

Унесёт в могилу
Следом за отцом.
Вспоминать нет силы
Мамино лицо...

В мёрзлом Ленинграде
Ела лебеду,
Выжила в блокаде,
Одолев беду.

Стала вся седая –
Трое на руках...
Как смогла, не знаю,
Вырастила птах.

Был тогда я кроха.
Что я сделать мог?
Слышать пушек грохот,
Да снарядов вой.

Плакал и пугался,
Есть просил и ныл.
Был я ленинградцем,
Я в блокаде жил.

Не убит, не ранен,
Но болит во мне,
Ноет беспрестанно
Память о войне.

Дали б мне винтовку —
Хоть и мал я был —
Я б войну-воровку
Всё равно убил.

11 апреля 2010 года

БЛОКАДА*

Каждый май — День Победы и радость.
А в душе моей — горечь и грусть:
Я не вырвусь никак из Блокады,
Я с войны никогда не вернусь.

Было ль это — не верю порою:
Сорок первый; в осаде город;
Ни воды, ни тепла, ни покоя;
Съели всё. В Ленинграде голод.

Голод тысячами людей косил —
Пайка хлеба — сто граммов на день.
Чтоб пойти за ней, не хватало сил.
Вдоль бульваров брели люди-тени.

Полумёртвые шли, без стонов, слёз,
Мертвецов таща в одеялах.
Сорок градусов в феврале, мороз.
Кто упал — уже не вставали.

Да, порой сам себе я не верю
В то, что память в запасах хранит...
Как открыл я соседские двери —
Все мертвы, а дружок мой хрипит...

.....

* 8 сентября 1941 года немцы полностью отрезали Ленинград от всей страны с суши. Началась блокада города, которая продолжалась 872 дня — до 27 января 1944 года. Наша семья прожила в блокадном Ленинграде 323 дня — с её первого дня и всю самую страшную — самую холодную и самую голодную — зиму 1941–1942 годов, когда из каждой тысячи человек 400 умерли от голода... 28 июня 1942 года мне исполнилось 6 лет. 23 июля 1942 года мама Аделия Ивановна (39 лет), старший брат Олег (15 лет) и младшая сестра (3 года) были эвакуированы в Маслянинский район Новосибирской области. Отец, работавший начальником цеха на Металлическом заводе им. И. В. Сталина, ушёл добровольцем на фронт и погиб в августе 1944 года.

Как бегу я, бегу от бомбёжки
И никак убежать не могу...
Девочка в канаве без одёжки –
Мёртвая на розовом снегу...

Небо в пузырях-аэростатах...
Иль увижу — будто наяву —
Дом, отца и мать, сестру и брата,
Бомбами изрытую Неву.

Иль увижу — в небе «Мессершмитты»...
«Ястребки» летят на смертный бой...
Мой отец — живой и не убитый —
Ввысь меня кидает над собой...

Иль почую: времена бронзя,
Из далёких лет сороковых
Всё летит, летит осколков стая,
Всё летит и смертью мне грозит...

Оттого, когда общая радость,
В мою душу вселяется грусть:
Я не вырвусь никак из Блокады,
Я с войны никогда не вернусь.

Май 2010 года

ПРИСТАНЬ МОЯ ДЕРЕВЕНСКАЯ*

Там, где леса вековечные,
Там, где поля, как моря,
Где глухомань бесконечная,
Там — деревенька моя.

Нет большака в за сто вёрст вокруг,
Торной дороги зимой.
Коли беда навалилась вдруг,
Так и живи с той бедой.

Ни телефона, ни радио,
Ни электричества нет.
Люди, не знавшие радости,
Не повидавшие свет,

Словно растенья природные,
С лесом и полем сжились,
К рабской работе пригодные,
С верой в неладную жизнь.

Сплошь босота беспросветная
И нагота. Как христы,
Все в холщевину одетые,
Духом светлы и чисты.

Избы щепюю покрытые
С горницей в два-три окна,
Рамы, слюдою залитые,
Изгородь из тальника.

Кедр у калитки развесистый,
Запах овчинный избы...
Пристань моя деревенская,
Я ничего не забыл.

* В глухой таёжной деревеньке Петушиха Маслянинского района Новосибирской области наша семья после эвакуации из Ленинграда жила до лета 1949 года.

ТАЙГА

Тайга... Таинственное слово —
Как космос, море, океан.
Закрыв глаза — и вот я снова
В плену тайги, я снова там,

Где сосны в небеса убились,
Где травы в человеческий рост,
Где глушь и темь, урманы, дикость.
Здесь в детстве я и жил, и рос.

Здесь торной не найдёшь дороги —
Болота, согры, бурьяны.
Ушёл в тайгу — не жди подмоги:
Лишь солнца луч иль свет луны.

А я таёжничал мальчишкой —
Зимой в мороз и в летний зной.
Встречался носом к носу с «мишкой»
И слышал рядом волчий вой.

Топор — за пояс, лук — за плечи.
Колчан и стрелы за спиной.
Да страх. Да храброе сердечко.
Таков портрет тогдашний мой.

Свет еле пробивал вершины...
В скрадке стаившись, на заре
Я бил стрелой камышиной
Затоковавших глухарей.

Случалось, пропадал в ущельях,
Не раз в урочищах блуждал,
И яркий месяц на ущербе
Мне путь к спасенью освещал.

Когда по ночи тихохладной
Луна скрывалась в облака,
Шатаясь, шёл домой обратно,
И ноша не была легка.

Я брёл во тьме, то молча плача,
То подвывая, словно волк...
Я был малец, но жить иначе
По тамошней поре не мог.

Была война — будь трижды клята,
И снова проклята вдвойне!
Я признавал себя солдатом
На распроклятой той войне.

Не знал про детские капризы,
Ясна была судьба моя:
Отец на фронте — за Отчизну,
Моё Отечество — семья.

Тайга жестокостью учила.
Здесь в ум вошёл я. И тогда
Я разгадал Твоё величье,
И полюбил Тебя, Тайга.

И чудится порой мне — слышу,
Как за окном ревет пурга.
За то, что человеком вышел,
Земной поклон тебе, Тайга!

12 декабря 2010 года

ЗИМОЙ

День был худой и хлипкий. Моросило.
Сквозь тучи наземь падал мелкий снег,
И колким бисером его сносило
Холодным ветром вкось и в беспросвет.

Висели тучи на верхушках елей.
День угасал, и наступала ночь.
Я выбился из сил и плёлся еле,
А воз мой вяз, и сделать шаг — невмочь.

А ночь упала разом, словно беркут,
Накрыла мраком лес, хоть глаз коли.
Трещали от мороза сосны, кедры,
И волчий вой мне чудился вдали.

Я брёл, в снегу по пояс утопая,
Один среди беспролазной тайги...
Я сено вёз, от ужаса базлая
То песни, то мужичьи матюги.

А в перелесках будто бы светало,
Но ветер бил, и ухали сычи...
Я падал и лежал, и мне казалось,
Что засыпаю... дома... на печи...

«Вставай! Иди!» — я бормотал в дремоте.
О, как же тяжело вернуться в жизнь,
Когда нет сил и голоден до рвоты...
Но я взывал: «Не падай! Не ложись!»

Вставал и шёл, по нюху, по наитью
Определял движение своё.
И сена воз — победное событие! —
Мы отмечали плачем всей семьёй.

...Я был юнец — двенадцать лет отроду,
Один мужик у мамы и сестры.
И каждый день, погода — непогода,
Кормил скотину, разводил костры,

Колол дрова, работал в огороде...
Я делал всё как взрослый, как большой.
Так жили все. Война — для всех невзгода,
Одна беда и горе за душой.

4 января 2011 года



* * *

Мирно село просыпается,
Лисья ушла темнота.
День трудовой начинается,
Будни, сует суета...

Вот выхожу на крылечко я,
Тут же умолк птичий ор —
Это — моя «филармония»,
Это — мой сказочный хор.

Я запевал вальсы венские,
Песни про нашу войну...
Птахи мои деревенские,
Я не забыл ни одну.

Птицы — как странники божии,
Всех их, бродяжек, любил.
Может, мы чем-то похожие,
Коль я с руки их кормил?

«МАТАНЯ»*

Это была, а не театр...
День угас, а месяц ввысь.
На краю села девчата
На «матаню» собрались.

Все как есть — красавицы,
На кого ни погляди.
Некому понравиться —
Ванечка на всех один.

Распрекрасный тракторист,
На груди тальяночка,
Голосист и сердцем чист
Раскрасавец Ванечка.

Гармонист рулады льёт,
Кудрями у клавишей,
Сам — едва семнадцать лет —
На войну направившись.

Средь девчат переполох,
Вся в слезах «матанечка»:
«Ты же нас застал врасплох,
Ты ж последний, Ванечка!..»

Встали дrolеньки кружком,
Закружили Ванечку,
Топотком да топотком
Завели «матанечку».

* «Матаней» в нашей деревне называли место, где молодые люди (а с ними и дети) собирались по вечерам на игры («Бей-беги» и др.) и танцы. Это место именовали также «точёк», «танцовка», «товарка». Но «матаней», «товаркой», «дролей», «боляней», «болея», «ягодинкой» называли также своих любимых: парни — девчат, а девчата — парней.

«Красную косыночку
Брошу на талиночку,
Её ветер не снесёт,
Мой матаня меня ждёт!»

«Ты, товарка, не трунди,
Все давно балакают —
Твой милёнок ерундит,
Ажно утки крикают!»

«Ты, подружка-верница,
Нынче стала сплетница,
Эту весточку взяла,
Думаш, с милым развела?»

«Ваня Маньку полюбил,
Покатал на лошади.
Про всё прошлое забыл
Ради рыжей брошенки!»

«Ты, Ванюша, заводничий —
Разогрей в Марусе кровь.
Подхвати гармонь получче,
Вжорь про новую любовь!»

«Ты, Ванюша, дорогой,
Шибко разневестился.
Колокольчик под дугой,
Был Серко — изъездился!»

«Ты, баляня, не старуха,
Чё ты ходишь с батогом?
Полюбила я Ванюху
И забегала бегом!»

«Я надену серьги в уши,
А на шею бисера.
Он не твой, а мой — Ванюша,
Сам мне сказывал вчера».

«Ветер бухал, с ног валил...
Меня Ваня полюбил!
Без бутылки, без дуды
Ноги ходют не туды...»

«Боля выпей, боля выпей,
А потом ещё налей.
Сперва руки с мылом вымой,
Уж потом меня жалей!..»

«Ты, товарка, не урчи –
Что от песни толку-то?
Ягодинка наш молчит,
А сердечко токает!»

«Ты, Ванюш, не задавайсь —
Всё пройдёт порошею.
Повоюй, домой вертайсь —
Выберешь хорошую!..»

Ванечка мехами рвёт —
«Прощевай, тальяночка!»
А «матанечка» ревёт –
Провожает Ванечку.

.....

Был Ванюша храбр и смел,
Воевал отчаянно,
Две медали заимел.
Об одном печалился:

Как «матаня» без него,
Девицы-красавицы?
Вдруг заявится другой?
Вдруг он им понравится?..

На чужой реке Висле
Был убитый Ванечка.
Нет гармошки на селе.
Нету и «матанечки».

3 января 2011 года

ШКОЛА МОЯ

Школа моя деревянная...
Флаг над крыльцом в вышине,
В окнах — герани багряные,
Сталин на главной стене.

Печка при входе горящая,
Свет от неё — на весь класс.
В сумраке света горячечном —
Двадцать пылающих глаз.

Здесь, средь глухой деревенщины,
Был каждый день, словно взрыв:
Старая русская женщина
Нам открывала миры.

Школа моя деревянная,
Как я тебя обожал,
Если в пургу окаянную
Я к тебе босым бежал —

С криками, стонами, падая —
Нету обуви в семье...
Школа моя, благодарен я
Этой суровой судьбе.

7 января 2011 года

СОН

Я часто вижу по ночам
Сон многократно пережитый:
Из прошлого ко мне примчал
Отец мой, на войне убитый...

Из боя прямо, на коне,
Пропахший гарью и бедою.
И вот стоим мы в этом сне —
Я и семья моя со мною.

В глазах от счастья меркнет свет,
Но что ж мне — плакать иль смеяться?
Я стар и сед. Уже я дед.
А моему отцу — за двадцать...

И внук отцу, мой сын, стоит,
И золото погон искрится...
Отец мой внуку говорит:
«Позвольте к сыну обратиться!..»

А я не знаю, что сказать,
А рядом тихо мать рыдает.
И пес наш рвётся цепь порвать,
На солдата громко лает.

С деревьев ветер листья рвёт,
На них знакомый профиль — Сталин,
И все на грудь отца кладет,
Как запоздалые медали...

1984 год

ОТЧИЙ ДОМ*

Здесь храм стоял на берегу крутом,
Изба в три связки — Отчий дом.
Но налетели гады-годы,
И вот на том же месте — холм...

А в храме том золотоглавом
Служили прадед мой и дед —
Не ради почестей и славы,
А против зла и против бед.

А в той избе, что рядом с храмом,
А в той избе на шесть окон
Звенел годами детский гомон
И свет струился от икон.

И рано поутру, и к ночи,
Челом касаясь половиц,
Молилась Женщина: «Наш Отче!..
Наставь!.. Спаси!.. Благослови!..»

Не спас. Пришли враги и беды.
Сожгли село и храм, наш дом.
А вскоре грянула Победа...
Где храм стоял, там нынче холм.

* Осенью 2008 года я летал на вертолёте в места Тверской губернии, где мои дед, прадед и прапрадед служили настоятелями храма в селе Батюково. Рядом с храмом стоял дом, в котором жили их семьи.

Во время Великой Отечественной войны храм взорвали, село дотла сожгли, почти всех жителей поубивали немцы. Село вымерло, заросло бурьяном. Следы храма и домов с трудом обнаруживались лишь с высоты — сплошной чертополох... Моя прабабушка Наталья Осиповна и бабушка Татьяна Семёновна чудом спаслись и доживали свой век в соседней деревушке Асужнево.

Следа не сыщешь даже свыше...
Рыдаю: «Здравствуй, Отчий дом!»
В ответ лишь эхо.
Ветер свищет.
Да холм...
Да думы о былом...

Октябрь 2008 года



НАШ ВЕК

Мы все больного века дети.
Его недугами страдая,
Все реже чтим мы добродетель,
Все чаще злоба нас снедает.

Лицом мы именуем маску
И похоть липкую — любовью,
Охотно веря телесказкам,
Анахронизм приемлем новью.

Смеемся там, где плакать надо,
И, биты, плачем благодарно.
Бездарностям дарим награды,
Чтоб попирала нас бездарность.

И вот уже пирует подлость,
И скорый суд вершит злодейство.
Для низости подстилка — гордость,
Над правдой жизни — лицедейство.

И вот уже не верим другу,
Сановный вор нас учит чести,
Свободный дух одет в кольчугу,
А разум рабски предан лести...

Кто — вождь иль век за то в ответе,
Что в нашей жизни столько сраму?
Что мы — больного века дети?
Простим наш век: он болен нами.

Кто чище тут, а кто повинней —
Не разобрать. А век несется...
К Добру? К Беде? К своей кончине? —
Летит и сатаной смеется...

1983 год

ТАКОЕ ДЛИННОЕ ПИСЬМО
(реальная история реальных лиц и мест)

1.

Ты пишешь мне: «Скорей домой!»
Я разве против? Боже мой,
Я так хочу тебя обнять!
Но ты должна меня понять...

«Должна! — Ты скажешь. — Почему?»
Я сам порою не пойму,
Что за работа у меня —
Всегда мне не хватает дня:

Забот и дел невпроворот,
Ни воскресений, ни суббот.
Вот и сейчас — жду самолёт.
В Иркутске — грязь. Аэропорт

Забит людьми — ни встать, ни сесть.
А впрочем, вот местечко есть...
Иркутск, ты знаешь, был оплот...
О чёрт! — посадка в самолёт.

Письмо мне не закончить враз.
Бегу! Я улетаю в Братск.

2.

Я в Братске за год третий раз.
Ну что сказать? Братск — это Братск.
Крупнейшая в Европе ГЭС,
Пример технических чудес —

Сто двадцать метров высоты
Плотина. Больше красоты
Нигде я в мире не видал.
С крутых высот летят в обвал

Милльоны тонн, воды гора,
Краса Сибири — Ангара.
И миллиарды брызг, крича,
Играют в солнечных лучах
Как бриллиантов водопад...

Прости, быть может, невпопад
Я начал сказ про красоту.
Ты пишешь мне про бедноту,
В которой мы опять живём,
Что сын растёт, мы не вдвоём,
И надо думать о семье
Не всё тебе, пора и мне...

Что был, пожалуй, слишком быстр,
Оставив наш Новосибирск,
Завод, что цех доверил мне,
Зарплату большую вдвойне.

Живём в какой-то конуре,
И платят мне — сто сорок «рэ»...
Ну что ж, ты, может быть, права.
А всё ж Москва — это Москва,

Хоть комсомольский, но ЦэКа.
Зарплата? Да, невелика.
Но разве дело только в этом?
Ты всё ведь понимаешь, Света:

Мне больно видеть, как живёт
Моя страна и мой народ.
Быть может, здесь, а не в цеху,
Я разгадаю «ху из ху»
Министры наши и вожди.
Я не из тех: «Сиди и жди»...

Ну, мне пора на ЛПК.
Вернусь и допишу. Пока.

3.

И вот я «дома». Ночь. Устал.
Но допишу, как обещал,
Даю ещё один пример,
Что из разряда наших скверн.

Вот этот Братский ЛПК.
«Крупнейший» тоже. На века.
И строит комплекс молодёжь.
Мне скажет кто-то: «Ну, и что ж?»

На то и молодость дана,
Чтоб пить и есть, не видя дна!
Когда ты стар, едрёна вошь,
За тыщи вёрст уж не попрёшь...»

С утра до самого обеда
К заводу от завода бегал.
Хорош гигант! Какая мощь!
Вот это — наша молодёжь!

Собрал в обед комсомолят:
«Как жизнь?» Насупились, молчат.
Разговорились: «Скоро пуск...
Нет детсадов, яслей... И пусть?»

Живём в бараках. Денег — грош.
Годами правду не найдёшь.
К тому ж “досрочников”, “зэка”
Понавезли на ЛПК.
Что за “ударная” теперь?
Пойдём с ножами, верь не верь»...

Мне было стыдно, я не лгу.
Сказал: «Сейчас же... Что смогу...»
Звоню начальству ЛПК:
«Из комсомольского ЦК...»

Вхожу. Измотанный мужик:
«Ну, как там “наверху”, скажи?»
Я про бараки. Он в ответ:
«На “социалку” денег нет».

И вдруг как грохнет кулаком:
«Ведь я командовал полком!
Ты думаешь, мне не понять
Девчонок этих и ребят?»

Ты думаешь, не жалко их —
Красивых, умных, молодых?
Задача есть передо мной —
“Построить в срок. Любой ценой”.

Понятно, парень, мне вполне:
Они живут, как на войне...»
И замолчал, потупив взор.
И был короткий разговор...

Я говорил, а он молчал
И что-то в книжке помечал.
Потом сказал: «Поднапрягусь,
Но сделаю... Всё, что смогу...»

...Прости. Дремлю. Едва не сплю.
Ты знаешь — я тебя люблю.
И прежде чем нырнуть в кровать,
Хочу тебе ещё сказать,
Что...

4.

Твой муж, конечно, остолоп —
Заснул с бумагой за столом,
Письма тебе не дописал —
Я рано утром улетал.

Ещё рассвет взошёл едва,
А я уже сидел в «У-2».
Теперь с Хребтовой шлю привет.
На Усть-Илим из этих мест

Через тайгу, в мороз и дождь
Дорогу тянет молодёжь.
Да, комсомольская опять.
Кого ещё сюда послать?

Забыв про городской уют,
На стройки тысячами прут
В надежде, что в тайге найдут,
Чего не сыщешь в городах,

Но то, что водится в горах,
В глухой тайге, в густых кустах —
Любовь и дружба в пух и прах,
Игра в крови и дел размах,

Закат в вечер, туман с утра
И песни, песни у костра!..
О том, как надо жадно жить,
Мечтать и преданно дружить.

Я на Хребтовой третий день.
Лежу в палатке, словно пень.
Я заболел — сильнейший грипп,
Как суслик мокрый и охрип.

Три дня назад чуть не погиб.
По дурасти своей же влип...
На ЛПК я был пять дней —
Масштаб! Здесь меньше, но сложнеей.

Здесь и бараков даже нет.
Палатки. Холодно. В рассвет
(Хоть август!) было минус два.
И чуть забрезжило едва,

К работе поднялась братва.
Смотрю — седые все как есть.
Да это ж — иней! Я — шуметь.
Хохочут: «Мы тут как моржи.
А ты у входа не ложись...

Садись и насладись едой.
Ну что стоишь как лунь седой?»
Я глянул в зеркальце: «О, ва!..
Белым-бела вся голова.

...В тот день была укладка шпал.
Я постоял, понаблюдал.
А что стоять? И пошагал
Разведать, как же тут живёт
Таёжный трудовой народ.

Весь городок — палаток сто,
А значит — человек пятьсот.
Глухой стеной тайга стоит —
В ней надо просеку рубить

За шагом шаг, за метром метр.
Пока — двадцатый километр.
Тайга недобрая гудит,
Ещё все битвы впереди.

Иду, смотрю туда-сюда,
А в голове одно: «Беда!
Приехал парень из ЦэКа
В тьмутаракань в кои века —

Зачем? Что скажешь им
Ты добровольцам молодым?
Опять отвертишься слегка,
Как в Братске, на БЛПК:
Пообещал — и укатил,
А душ ничьих не захватил...

Вдруг вижу... на палатке... — кто?
Выводит крупным шрифтом... — что?
Стоял, стоял, продрог, но ждал,
И с каждой буквой возмужал.

И наступил конец работ...
Я прочитал вот это «что»:
«Но —
 должен кто-то
 проходить болотом!
А —
 если “кто-то”,
 почему не я?»

Я был сражён, осмыслив текст,
Особенно, увидев тех,
Кто афоризм сей начертал,
В ладошку, прыснув, убежал:
Девчушек двух — как пацаны
Одеты в ватные штаны...

Вдруг из палатки рыжий вышел —
Большой, кустов высоких выше:
«Чего тут поверху скребут?
Нормально дрыхнуть не дадут...

Ну, чё молчишь? Твоя работа?
Убью!.. Мараться не охота.
Пошёл отсель, покуда жив.
Спасибо маменьке скажи...»

Он был громила из громил,
И не кому-то, мне грозил...
Я был в болоньевом плаще,
В рубашке белой... И «ваще»...

Он что-то понял и спросил:
«Ты кто? Откеля привалил?»
«Я — из Москвы, я — из ЦэКа...»
Как тряпка красная быка

Ответ мой рыжего взбесил,
Он заорал, что было сил,
Визжа и брызгая слюной,
Затанцевал передо мной:

«Москва!.. ЦэКа!.. Я видел вас!..
Ты понял — где? ЦэКа!.. Атас!»
Орал, орал, а вокруг нас
Уже стоял рабочий класс

И с любопытством наблюдал,
Как рыжий «чужака» бодал,
И слушал этот крик и вой —
Не человек, а рыжий волк.

А я стоял, как под Москвой
Стояли красные войска —
Я собирался для броска...

Тут рыжий афоризм прочёл
И вновь завёлся: «Это чё?
Кому я “должен”? Чё за чёрт?
Своим долгам я знаю счёт.

До феньки мне про ваших дел!
Я все долги уж отсидел...
Чё пялишь буркалы свои?
Ну, чё молчишь? Ну, ботай, ври!»

Я начал тихо, наугад —
Про род, блокадный Ленинград,
Про мать, погибшего отца,
Как добровольного бойца...

Как твой отец, хоть умирал,
В беспамятстве рапортовал:
«Товарищ Сталин! Наш завод
Без перерыва танки шлёт!..»

Про миллионы тех ребят,
Которые в земле лежат...

Сказал и посмотрел вокруг —
Никто мне здесь ни брат, ни друг.
Я видел... разные глаза
И продолжал его «срезать».

«Отсюда — Долг наш. Как приказ.
Они ушли, оставив нас,
Своею жизнью заплатив,
Чтоб ты по-человечьи жил...»

«По-человечьи» — это как?
Ты погляди сюда, “вожак”! —
Он завертелся как волчок
И толкнул меня в плечо. —

Раскрой гляделки! Скоро снег,
Палатки, темень, жрачки нет...
Ты чё корячишься со мной?
Опять: “Вперёд — любой ценой”?

Мистификация кругом!
Да не страна вы, а дурдом!
Я щас транзистор свой включил —
Там новости про Усть-Илим:

“Тридцатый километр прошли!”
Мы — на двадцатом... Всё, вали!
С гнильцой паскудный ваш режим...
Ха-ха! Над пропастью во лжи...»

Бил прямо в лоб — не блефовал.
Умолк. Да, он меня «достал».
Сверлил в упор, глаза в глаза,
И ждал ответа. Я сказал:

«Послушай, в чём-то ты и прав.
Вокруг нас ложь, но больше правд.
И мне противно жить во лжи,
Но всё же как-то надо жить —

Дороги строить и мосты,
Электростанции, порты...
Но если вдруг ни я, ни ты
Не согласимся жить как тут —

“Презревши грошевой уют”,
Как говорится, нам капут.
Вот правда выше всякой лжи:
Отчизной надо дорожить.

Вот мы стоим... Кто это “мы”?
Мы — дети проклятой войны.
Всего-то двадцать лет назад
Закончилась войны гроза.

И наступила тишина?
Да нет! Как кошка, не слышна,
Пришла “холодная” война...
“Холодная” и не видна,
Но — настоящая она.

Как победили в той войне
Врага сильнее нас втройне?
Вожди? “Катюш” и танков мощь?
Иль сам Господь велел помочь?..

А я скажу так: Дух и Долг!
Да, Дух и Долг миллионных масс
Страну и нас с тобою спас.
Долг — приказание себе

Служить Отчизне как Судьбе.
И потому-то должен ты...»
Он заорал: «Ну, всё — кранты...
Наслушался по горло, всласть!
Сегодня ты — вся ваша власть...
Так за палатки, за харчи,
За ложь... на, сука, — получи!»

И харкнул мне в лицо. И в миг
Кулак мой цель свою достиг.
И рухнул рыжий, как стоял.
Нокаут. Он как труп лежал.

А из палатки в тишине
Звучала песня о войне —
Незабываемый шансон
«С берёз неслышен, невесом...»

Не знал ведь рыжий — я боксёр,
К тому ж ещё нокаутёр.
Двадцать четыре завалил.
Он, рыжий, двадцать пятым был...

Так завершился мой «доклад»,
Но был я сам себе не рад:
Теперь в ЦэКа я не жилец —
Подрался. Точно, мне конец».

И вдруг услышал: «Молодец!
Я фронтовик, как твой отец,
С войны в груди ношу свинец,
Здесь бригадиром. Я — вдовец...

По стройкам маюсь много лет.
Послушай, парень, мой совет...
Как рыжего увидишь — бей:
Они все родом от чертей.

Я всю войну прокопотил...
Как рыжий — хоть пускай в распыл,
А нам, чем сможешь, подмогни.
Горят и светятся огни

В глазах девчонок и ребят,
Горят... Пока ещё горят.
Что в морду дал — мы ни гу-гу».
Я молвил: «Слово! Чем смогу...»

...В палатку рыжего снесли,
А мы с фронтовиком пошли
По буеракам, вдоль ложбин,
Затеяв разговор «за жизнь».

И вдруг сказал я: «Знаешь, бать,
А мне б хотелось помолчать,
Наговорился я уже.
Погано что-то на душе...»

И я, как распоследний тать,
Пошёл куда глаза глядят
И брёл как будто бы слепой
Едва нахоженной тропой...

Шуршал в ногах осенний лист,
Деревья кронами сплелись
В гигантский зонт над головой,
И в ноздри бил хвои настой,

И мрачно было впереди,
И стоны рвались из груди,
И тропка рваная вилась,
И мысль роилась и рвалась...

Да, рыжего я «охладил»...
Но кто кого всё ж победил?
Ведь философия — не бокс:
Пал рыжий. Устоял вопрос:

Ну почему из века в век
Забит и брошен человек?
В любой стране один ответ:
«На “социалку” денег нет...»

Что миром правят Бог и Чёрт,
Известно всем наперечёт.
Но за войну ответствен Чёрт,
И он ведёт финансам счёт.

Министр финансов мировой
Своей чертовской головой
Рачительно блюдет казну:
Всегда есть деньги на войну...

Не разглядишь и не поймёшь,
Где Бог, где Чёрт, где Правда, Ложь.
Но у руля любой страны
Не счесть засланцев Сатаны.

Их имя общее — «вожди».
Хорошего от них не жди.
Слепая вера всем нужна.
Её им создаёт нужда.

Забитый, нищий человек
Всем взором устремлён «наверх»:
Как путник, алчущий дождя,
Он верит в мудрого вождя —

«Он знает, *как* идти, куда.
А мы за ним пойдём туда».
А у вождя большой секрет:
«На “социалку” денег нет...»

Вождь, восхищённый сам собой,
Играет в «салочки» с Судьбой,
А с ним — безумна и слепа —
Её Величество Толпа.

Вожди несут в себе обман:
В них много воли без ума.
Едва их «пена» вознесла —
Творят «великие дела»...

Велик не тот, кто добрым был,
А тот, кто свой народ гнобил;
Кто город превратил в костёр;
Кто в порошок полсвета стёр.

Не тот, кто к миру воззывал,
А тот, кто грабил, убивал
И памятник себе воздвиг
На пьедестале мук людских...

«Бесценна человечесья жизнь...»
Как много в этой фразе лжи!
А человеку жизнь дана
Одна. Одна. Всего одна!

И вот в убогом шалаше
Средь ящериц, жуков, мышей
Живёт он гордым дикарём...
И вера в Будущее в нём
«Должна» лишь крепнуть день за днём.
И вдруг — случается «облом»...

Что ж получается? Я врал?..
И рыжему я проиграл?
Он выпил — и «захорошел»,
А я томлюсь в своей душе...

Да нет, я прав — «в конце концов».
Не только памятью отцов,
Но тем, что нам дано пройти,
И тем, что будет впереди.

Прав по-большому. Вот война,
Та, что идёт и не видна,
Как рост бурьяна, не слышна —
За души и умы война...

В чём главный смысл этой войны?
Чтоб жить и думать как «они».
Чтоб свой родной язык забыть.
Вопрос «To be or not to be».

Вот спорят о «цене войны»...
Да у Победы нет «цены»!
И мысль эта без прикрас:
Иль мы — их, иль они — нас.

И если за Отчизну бой,
То должно жертвовать собой.
Вот это — крест и выбор мой.
У рыжих взгляд совсем иной.

И что тут спорить, глотки рвать?
Ведь спор вести, не значит — знать,
А знать — не то, что понимать...
Как воровать — не воевать,
Как убивать — не умирать...

...Я долго брёл в глуши лесной,
И бушевал рассудок мой,
Казня всё сущее вокруг
И самого себя... Но вдруг

Взбешённый мозг пронзила мысль:
«Куда бредёшь? Не заблудись!
Тайга и ночь, темным-темно,
Тропинка кончилась давно...

Где лагерь наш? Куда идти?
Обратно не найти пути...»
Попробовал на помощь звать,
Но вскорости устал кричать.

Что оставалось? Только ждать.
Они меня не могут сдать,
Они меня искать должны,
Хоть в снег, хоть в бурю, хоть в дожди.

«Должны, должны», — твердил себе.
«Но чем “должны” они тебе?» —
Я честный задавал вопрос.
А на глазах крепчал мороз...

Не до дискуссий стало мне,
И с каждым часом всё страшней:
Разут-раздет, среди тайги —
Тут берегись, не берегись...
Зверьё и холод... Без огня...
Но верил я: спасут меня...

...Они нашли меня к утру —
Закоченевший полутруп —
И, в тёплый завернув тулуп,
Налили спирту. Стал я глуп —

Смеялся, всех благодарил...
Меня их старший осадил:
«Ты помолчи — промок, продрог...
Вчера ты говорил про Долг.

Теперь скажу, что знаю я.
Мы — люди, мы — одна семья.
В семье случается урод.
Вот рыжий... Это — не народ.

Я — бригадир, не демагог...
Мы будем жить, пока есть Долг.
Исчезнет он — конец стране.
Всем. Рыжему, тебе и мне.

Но рыжему — всего верней:
Ведь на войне — как на войне»...

Теперь в палатке я лежу.
Почти здоров. Тебе пишу.
Скажу, родная, образ твой
В ту ночь стоял передо мной.

Ты говорила мне: «Держись!
Ходи, не падай, не ложись».
Твои глаза меня спасли.
Прости, ко мне друзья пришли...

5.

Из Братска я махнул в Байкальск,
Где я пока что не бывал.
И тут, на озере Байкал —
Завод. «Крупнейший», «на века».

Ценнейшую из целлюлоз
Здесь для страны и на отвоз
Начнёт производить завод
Из самых лучших в мире вод.

Опасный и грешной проект...
В Байкал стекают сотни рек.
А сколько? Триста тридцать шесть!
И все хрустальные как есть.

Байкал — богатство из богатств:
Вода дороже всяких яств.
С водою в мире нелады.
В Байкале пресной треть воды.

Теперь ещё одна река
Впадает в озеро Байкал:
Река отбросов — мелкий ворс —
И тиною уже зарос,

Сколь видит глаз, прибрежный плёс.
Для всей страны возник вопрос:
«С какого льда мы должны
Губить жемчужину страны?»

Гудит, волнуется народ,
Воззвания и письма шлёт.
Защитников — хоть отбавляй.
И я скажу своё «ай-яй!..»

6.

Теперь, любимая моя,
Поведаю, что сделал я...
Как только прилетел в Иркутск
(Уже шестые сутки тут),

Я сразу позвонил в ЦэКа,
Был удивлён и не слегка,
Что Павлов («первый»!) трубку взял,
И я взволнованно ваял

Ему про Братский ЛПК,
Хребтовую и БЦК —
Про всё, что видел, пережил,
Я по-солдатски доложил.

Он подытожил как Главком:
«Зайди к Щетинину, в обком...»
И также кратко, без угроз:
«Проверим всё и — на Бюро...»

Спустя три дня (встречал их сам)
В Иркутск был высажен «десант»
Из комсомольского ЦэКа —
На ЛПК и БЦК,

На все «ударные», что есть, —
Их в области не перечесть.
«Десант», — ты скажешь. — Ну, и что?»
Ну, это всё же «кое-что»:

В обкоме гвалт, переполох!
Тут Мальцев — комсомольский бог.
И вдруг — проверка! Он мастак
Вправлять мозги. И так и сяк
Вокруг меня: «Ты ж сибиряк...
Да ты ж послушай... Ты ж пойми...
Ты им скажи... Ты их уйми...»

Не сговорились. Он умолк.
И вдруг ощерился как волк:
«Ты кто такой? Я — член ЦэКа!
Я т-те устрою трепака!

Ты жизнь мою не береги!
“Пришёл, увидел, победил...”
Палатки... “зэки”... детсады...
Нам всё известно. Осади!

Ты вот себя побереги!»
И мы схватились как враги.
Я помнил просьбы: «Помоги!»
Я чуял запахи тайги.
Перед глазами шли круги,
Но я твердил: «Превозмоги!»

А Мальцев — что? Он не народ.
Он — рыжий... чуть наоборот...

Щетинин — первый секретарь,
Партийной власти бог и царь,
Меня три дня не принимал:
Уборка, стройки, дел — завал.

И вот беседа *тет-а-тет*...
Простой огромный кабинет.
И тишина. И полусвет.
И никаких тебе сует.

И мой «двадцатый километр»
Мог показаться как навет
На все великие дела
Из-за огромного стола...

Он был вельможен, местный вождь,
А я смущён и всё ж, и всё ж
Я честно выложил ему
Про виденную кутерьму.

Он был немолод, даже стар.
Недавно перенёс инфаркт.
Я видел, что мой жар и пыл
Ему америк не открыл.

Но взгляд его посуровел.
Он крикнул и побагровел:
«А что же Мальцев? Должен был...»
Щетинин не договорил,

Что Мальцев сделать «должен был»,
Но я его уже любил:
В его уме есть слово «долг»,
А значит, я не даром дрог

Там, на «двадцатом». И не зря
Горит вечерняя заря!..
Щетинин встал из-за стола
И крепко руку мне пожал:

«Ну вот вернётся твой “десант” —
Сказал он. — И (как вариант) —
Обсудим на Бюро вопрос.
А Мальцев... видно не дорос...»

7.

Перечитал своё письмо...
Оно как на глазу бельмо...
Опять ты скажешь: Дон Кихот!..
Что ж, Дон Кихот — он доброхот.

Уж так устроен я нутром —
Мне хочется творить добро.
А кто мечтает о добре,
Тому оклад сто сорок «рэ».

Да, «Дон Кихот» — моё клеймо,
Оно — награда и ярмо.
И ты прости мне, ангел мой,
Такое длинное письмо.

Когда придёт оно в Москву
К тебе, земному божеству,
Я буду дома. Как Адам,
Я упаду к твоим ногам...

И ты опять меня простишь
(Хотя, конечно, поворчишь)
За то, что наша жизнь бедна,
Что ты всегда одна, одна,
Что «улетаю к облакам»,
Что мыслью часто где-то «там»...
За то, что не купил трюмо.
За это длинное письмо...

*Иркутск — Братск — «Хребтовая — Усть-Илим»,
Байкальск — Иркутск, август 1965 года.
Москва, март 2011 года*

* * *

В. И. Десятерику

Друг мой, комсомол! Старинный и любимый...
Как ты там — в шальных годах семидесятых?
Словно полк на марше, ты шагаешь мимо —
Мимо своего отставшего солдата.

Сомкнуты шеренги, занят промежуток,
Где, как шторм, плечами строй меня качал.
«Отстрелялся, братец!..» — мне язвит рассудок.
«Чёрта с два! — упрямо я себе сказал. —

Вовсе не устал ты — это враки, враки!
И еще не вышел срок твой призывной.
Ты, как штык и пуля, создан для атаки.
Твоим вечным счастьем будет непокой».

Это верно, Сердце. Это правда, Память:
Вам ведь не прикажешь: «Уходи в запас...»
Нет, ещё не время зачехлять нам знамя.
«Отстрелялся, братец!» — это не про нас.

Списан по Уставу... Что же — нет вопросов!..
Ну, а вдруг заплачут горны про войну,
То на амбразуру — рядовой Матросов! —
Я последним взносом жизнь свою метну.

28 октября 1978 года

КОМСОМОЛЬСКОЕ СЕРДЦЕ

Есть слова — «комсомольское сердце»
И молва о его «железности».
Но я был комсомольцем, усердным.
Знаю точно: оно — из нежности.

Знаю я — оно из чужих обид,
Из чужих неурядиц сделано.
По ночам чужою болью болит,
А своей замечать невелено.

Молодое, любящее, оно
Бьётся нервно под током времени —
Будто всеми венами включено
В Сеть Всемирного Напряжения.

Я о сердце Павки Корчагина
И его неподкупных парнишек,
Дерзко живших мечтой отчаянной
В коммунизм на тачанках пробиться.

Я о тех комсомольских ребятах,
Кто из юности... что там — из детства! —
Гордо шли под танки с гранатами,
А порой — только с яростным сердцем.

Кто, где «надо», идут напролом!
Кто бесстрашно грезит о Будущем,
Кто, как солнце, сердечным теплом
Греют Север и души трусящих.

...Мы уходим, друзья, мы не вечны.
Не стальные — сердца взрываются.
Остаётся наше Отечество.
Это значит — Жизнь продолжается.

1982 год

ПРОЩАЯСЬ С XX ВЕКООМ...

Спросили как-то Бонапарта,
Зачем живёт он на войне.
Ответ был словно выстрел краток:
«Так нравится моей жене».

С тех пор победы и невзгоды,
Последствия всемирных драм
И даже шалости природы —
Всё пишется на милых дам:
«Cherchez la femme»... «Шерше ля фам»...

Вот век двадцатый... Век открытий.
Век-космодром. Век-интернет.
Век-телевизор. Век-политик.
Век атома. Великий век...

Но — чёрт возьми, скажи на милость,
Зачем и днём, и по ночам
Сто лет все гении трудились?
«Шерше ля фам»... «Шерше ля фам»...

О, век двадцатый — век ужасный!
Век-кровопийца. Век войны.
Век политической проказы.
Век-наркоман. Век Сатаны.

Сто лет промчались без науки
Для геростратов наших дней.
Творят, играясь, ад и муки
Во славу глупости своей.

Смертельность этих игр пожарных
Понять бы им давно пора.
Они б их бросили, пожалуй...
Да — жёнам нравится игра.

Хотите верьте иль не верьте,
Но в силу близости к «верхам»
На днях за Самой Главной Дверью
Я слышал вопль: «Шерше ля фам»...

Но право слово — хватит шуток:
«Шерше ля фам»... «Шерше ля фам»...
Ход мыслей изменю я круто
И точный смысл ответа дам:

Понятье века растяжимо —
Оно зависит от того,
Какого рода содержимым
Вы наполняете его.

Мы трудимся — и век наш светел.
Воюем мы — и страшен век.
За всё в сей жизни мы в ответе.
Век — это просто человек.

Мы — Прометей иль песчинки,
Мы можем всё иль ничего.
Всяк — всей истории личина
Иль долгий одинокий вздох.

Что наша жизнь? Всего мгновенье.
Что наша жизнь? Свеча и крест.
Одним — борьба, другим — моление,
Одним — полёт, другим — насест.

Жизнь — это труд, жизнь — это бремя.
Жить невозможно не любя.
Не будем век винить и время.
Давайте погонять себя.

Всесвято высшее веленье —
Светильник жизни сохранять,
Чтоб вслед идущим поколениям
Его однажды передать.

Перемешало время в веке
И фейерверк, и меди звон...
Возьмём из прошлого не пепел.
Возьмём из прошлого огонь!

Не звери мы, но — Человеки.
Не спутаем вино и кровь.
Возьмём из прошлого навеки
Надежду, Веру и Любовь!

Запомним песни, плач и тосты —
Все голоса години той.
И три берёзы у погоста,
Как символ памяти святой...

Ведь есть закон — он непреложен,
Великий смысл его таков:
Там нет хорошей молодёжи,
Где нет хороших стариков.

Какие б времена ни были —
И захочу, а не солгу, —
Останется лишь горстка пыли
От ваших глаз и ваших губ.

Вот суть. Вот истина. Вот правда.
И перед ней бледнеет всё:
Ушедшего столетья нравы
И всё, что новый век несёт.

Летят года, и вёсны тают,
И медлится исход зимы...
Увы, не годы улетают,
Не годы — улетаем мы.

В бесщётном многоцветье красок,
В пиру и даже на войне
Признаемся, что жизнь прекрасна,
И — преклонимся перед ней!

Декабрь 1999 года

ПОКОЛЕНИЕ МОЁ...

Поколение моё, мы уходим...
И уйдём скоро все. Навсегда.
Не беда, что наш век на исходе.
Мы оболганные — вот беда.

В этом мире — порочном и пошлом,
Где хозяйствуют мытарь с невеждой,
Мы должны защитить наше Прошлое,
Чтоб хоть внукам оставить надежду.

Поколение моё, нас немало,
Велико наших душ исступление.
В бой! Вперёд, старики! Прочь забрала!
Дон Кихоты идут в наступление!..

24 сентября 2010 года

А Х ТЫ, РУСЬ...



* * *

Я люблю тебя, Русь,
Всю, как есть, — без изъятий.
Как в родном человеке, —
Без слёз и проклятий —
Мне понятны в тебе
И весёлость, и грусть,
И победы твои,
И твои окаянства.
Всю, как есть, — принимаю.
Судить — не берусь.

* * *

Лежит Россия, словно сфинкс —
Загадочный, огромный, мощный;
Лежит, как клад безмерных сил,
Как Воин, как Святые Мощи.

Любой аршин к России мал.
Лежит, как драгоценный камень.
Лежит, как редкостный металл.
Лежит. Не движется. Веками.

Масштаб... Дороги... Дураки...
Всё это на виду, открыто.
Но что творится с ней внутри?
Что от прямого взгляда скрыто?..

Сентябрь 2010 года

УМОМ РОССИЮ ПОНИМАТЬ...

*Умом — Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.*
Ф. И. Тютчев

1.

«Умом Россию не понять!..
В Россию можно только верить!» —
Сказал Поэт. Зевнул и спать
Пошел, сердито хлопнув дверью.

Был пьян Поэт и зол на всех:
Ему хотелось и мечталось
Хлебнуть пивка, но, как на грех,
Телега с пивом задержалась...*

Он спал, Поэт, и видел сон
Про девушку с особой статью,
В которую он был влюблён,
И грезил переспать с ней.

* Однажды в каком-то журнале я прочитал статью, в которой говорилось, что знаменитое четверостишие Ф. И. Тютчева «Умом Россию не понять...» (1866 г.) появилось на свет не как плод серьёзных размышлений, а как шуточный экспромт — реакция по случаю, который произошёл с ним в родном Овстуге: телега с вином и пивом, за которыми послал поэт, пришла слишком поздно; возница был пьян и не мог дать вразумительных объяснений. К сожалению, я потерял эту статью. Знаю поэзию, острую и умную публицистику Тютчева, знаю, что многие считают его «поэтом мысли». Вовсе не покушаясь на величие Тютчева, допускаю, что в данном случае Поэт мог и просто «сказануть», гениально зарифмовать свои импульсивные эмоции. Так, возможно, и родилась красивая, броская по форме, но по существу глубоко ошибочная, абсурдная, а потому вредная для России загадка, тормозящая её развитие. И прежде всего потому, что многим эта загадка (как ни парадоксально!) видится отгадкой главных проблем России, более того, признаком её величия и особой миссии в мире.

Та девушка была красой,
С глазами цвета ржи и сини,
С тугою русою косой
И дивным именем «Россия».

Поэт не чаял в ней души, —
Хотите верьте иль не верьте, —
Всю ночь во сне искал аршин,
Чтоб грудь и стан её обмерить...

А утром встал и пьяный бред
Сложил в одно стихотворенье...
Опохмелился, а в обед
Поэт ел щи, пил чай с вареньем.

2.

Но шутки в сторону, друзья!
Срифмовано отлично, гладко,
А восторгаться тут нельзя:
Ведь это не стихи — загадка.

Что в ней — трагедия иль фарс?
Погибель наша иль величье?
Зачем он вверх в смятенье нас?
Зачем предстал в таком обличье?

Загадка из разряда тех —
И это надо помнить, братцы! —
В которой скоро двести лет
Никак не могут разобраться.

3.

Теперь и я хочу сказать,
Я — русский по крови и духу,
Я — видевший Россию-мать
И в пору мощи, и в разруху.

Я — переживший шесть вождей,
Трёх президентов и блокаду,
Где час — как жизнь. И по сей день
Мы как в блокаде Ленинграда.

Вот почему я говорю —
Не ради денег или славы
Я плачу и душой горю —
Обидно, очень, за Державу.

Всё постижимое умом
Мы отвергаем раз за разом
И удивляемся потом:
«В России угасает разум...»

Абсурд уму не постижим.
Абсурд — бессмыслица и хаос.
Но мы абсурдом дорожим:
Исчезни он — и *что* осталось?..

В чём вся беда? Весь казус — в чём?
Мы верим в формулы и чудо.
Чем хуже правим и живём,
Тем больше верим словоблудам.

4.

Нет, Тютчев не был словоблуд.
Был дипломатом и поэтом.
Из-за границ в родной Овстуг
Наезживал порою летом.

Был монархист, славянофил.
Стихи свои писал по-русски.
Россию преданно любил.
Пил, ел и думал — по-французски.

Любимец женщин и богов,
Он пребывал в плену эмоций.
Слыл низвергателем основ,
Но опасался революций.

Умён был Тютчев, это факт.
Имел признание и званья.
Но в этот раз попал впросак:
Поставил Веру выше Знанья.

Поэт во все века простак —
Раб чувства, а не ясной мысли:
Ему бы сказануться так,
Как никогда не говорилось.

И сказанул! Пятнадцать слов —
Простых, но гениально складных.
«Хотел как лучше» острослов,
А вышло «как всегда» — накладно.

Средь выдающихся столпов,
Весь мир которым поклонялся,
Мы не найдём и двух умов,
Кто никогда не ошибался.

Но всё-то Тютчев понимал!
От горечи и от печали
Он эти строки написал.
Увы, они проклятьем стали.

Ну разве мог подумать он,
Что краткое стихотворенье
Вдруг станет словно приговор
Стране с огромным населеньем?

Что с тех времён и до сих пор,
То разгораясь, то стихая,
Затеется в народе спор:
«Что за страна у нас такая?..»

Умом её, вишь, не понять...
Аршином общим не измерить...
У ней, смотри-к, особа стать...
В Россию можно **только** верить...»

И ну давай себя стегать:
«Мы все такие-рассякие...
Мы не способны полагать,
Куда и как идти России!

Мечтатели!.. Коль понесло,
То нас ничто не остановит:
Мы в прах Россию разнесём,
Чтоб наш, чтоб новый мир построить.

Ломаем, строим и опять —
Ломаем, строим... И, конечно,
Уж коль по совести сказать,
Так продолжаться может вечно.

Расколоты, обречены
Витать меж верой и безверьем,
На грани мира и войны,
Грызят друг друга, словно звери.

Лентяи, воры и рабы,
Пьянчуги, самоокупанты...
Нам не видать иной судьбы,
Как жить под волею тиранов».

5.

Кому Россию не понять?
Толпе ничтожной, нерадивой?
Толпе не должно понимать,
Толпа — безумец коллективный.

Толпа — ещё не весь народ.
Толпа — не ум! Глаза и уши,
Инстинкт, себя изживший род.
Ей ненавистен всякий лучший.

Умом Россию не понять
Её врагам и чужестранцам.
Да тем, кому ни дать ни взять.
Да доморощенным засланцам.

Ну как, скажите, им понять
Страну, что без конца и края?
Народ, способный побеждать,
Родные города сжигая?

И словно в сказке — оживать
При всеми зримом умираньи?
Их нежеланье понимать —
Вот в чём вся суть «непониманья».

Умом Европу всем понять:
Ведь милей можно всё измерить,
В любой стране всё та же стать —
В Европу **невозможно** верить.

Рациональность, прагматизм
Воспитывались здесь веками.
Итог? Кошмарный эгоизм, —
Убивший в людях Душу камень.

Душа с обломанным крылом,
Душа — рабыня наслажденья,
Душа, покинувшая дом,
Душа, живущая с презрением

К «другим», к «другому», к нам — к Руси
Лишь потому, что не похожи
На них. Не стоит тратить сил:
Для русских образ есть расхожий...

А Русь — высокая Душа!
Душа с особым, светлым ликом —
То замирает, чуть дыша,
То совершается — в Великом.

Веками не любили Русь,
Веками шли на нас походом.
Мы разные. И в этом суть.
«Другие» мы. Вот смысл подвоха.

Да, мы — особостью грешим.
Им любо, что универсально.
Что нам нельзя, то можно им.
Что стыдно нам, то им — морально.

И кто, скажите, тут поймёт
(Хоть так уж сотни лет ведётся):
Народ свою страну клянёт,
А враг придёт — до смерти бьётся!

В беде до полусмерти пьёт —
Уж тут ему не до работы.
Очнётся, песню запоёт,
И — пашет до седьмого пота.

Мы гордые! Нас не замай!
Мы терпеливы непомерно...
Но где Батый? Где Николай,
Наш самодержец суеверный?

Где Бонапарт? И Гитлер — где?
Где Ильичи? Где Горби? Ельцин?
Тут рифма хороша: «езде».
Но голосуем всё же сердцем.

И почему ж, едрёна мать,
Тут не сказать, не хлопнуть дверью:
«Умом Россию не понять...
В Россию можно только верить»?..

6.

Народ, учёные мужи!
Остановите ваши споры:
Исходный пункт тех споров лжив,
Тут не о чём особо спорить.

Что Знание с Верой не в ладу,
Известно. И к чему здесь страсти?
Ведь в человеческом быту
Бесценны обе ипостаси.

Во всяком деле меру знать!
Безмерное извечно лживо.
Давным-давно пора понять:
Что измеримо — постижимо.

Всё, что мы знаем, всё, что зрим,
То объяснимо и понятно.
Лишь Бог один непостижим —
Не Истина, а Вероятность.

Никак нам Бога не понять.
Ведь изначально все мы — звери.
Нам ум повелевает знать,
А сердце призывает верить.

Кто в Бога хочет верить — пусть:
Невидим Бог — тут Вере место.
Но разве нам незрима Русь?
Оставим Веру! Дело чести,

Ума и воли понимать
Причины бед своих и горя!
Здесь место нашего ума
И здесь — конец **истокам** спора.

Истокам — только и всего.
Но не того, что есть за гранью
Досужих споров и голов,
Обыденного пониманья.

Есть правды страшной высоты,
Мгновенья жуткого сомненья,
Когда в четыре строчки ты
Кладёшь простое откровенье...

...Друзья! Да будет миру весть,
Да будет новое воззвание:
**Страну возвысят Труд и Честь,
Любовь и Вера — с Пониманьем!**

Сентябрь 2010 года



* * *

Есть мысль — на вид совсем проста
(Не знаю, кто её создатель):
Кто не изменник — тот простак,
А умный — по уму предатель.

Ну как остаться в чистоте,
Когда обвальны перемены?
Коль хочешь быть на высоте,
Не брезгуй низостью измены.

Тут есть соблазн затеять спор
О силе мест и обстоятельств.
К чему? От веку до сих пор —
Петля иль пуля, коль предатель...

Хотелось бы, да не смолчать:
На всей истории российской
Лежит предательства печать —
От древних дней до самых близких.

Тысячелетия прошли.
Сменились символы и знаки.
Но запах подлости и лжи,
Но смысл измены одинаков.

Предатели, скажу о вас,
О торгашах и бизнесменах...
Вы продаёте нефть и газ,
Не чуя за собой измены.

Вы радостны. Вам это внове.
Вы счастливы! Печальный признак...
Вы гоните по трубам кровь,
Энергию своей Отчизны.

И вам как будто невдомёк,
Что вы не просто продаёте
Сырьё, металлы, уголёк, —
Вы Будущее предаёте.

О да! Не все свою страну
Сдают по замыслу: «Так вышло!»
Не ведают свою вину,
Хоть чуют, что за это — «вышка».

И вы, погрязшие во лжи,
Кто в лжи находит наслажденье,
Кто лжёт стране, покуда жив —
Изменники по назначенью.

Вы ткёте зазеркальный мир,
Где всё наоборот зовётся:
Где Честь — позор, где бойня — пир...
И так уж много лет ведётся...

Вы, развалившие Союз, —
Вы не вожди, а плутократы;
И эту правду знает Русь.
Вы не герои — геростраты.

Предатель — вор и интриган —
Всегда в союзе с зарубежьем —
Ведёт страну в Большой Обман,
Кончающийся неизбежно

Большим Обвалом иль войной,
В которой брат идёт на брата...
Мир движется вперёд волной,
Россия катится попятно —

К своим начальным рубежам,
К гробницам прадедов и дедов,
Чтоб завтра снова поднажать
И — снова одержать победу.

Вот потому-то наш народ,
Свой ум и веру растерявший,
Себя порочит и клянёт,
Не верит всем его предавшим...

Октябрь 2010 года

* * *

Ещё опасность!.. Три не три
Глаза, а сразу не узришь ты —
Грызут Россию изнутри
И жрут, смакуя, паразиты.

Те, что не пахут, не куют,
Не строят и не производят,
Не продают, не предают —
Казну и свой народ изводят.

Чиновный люд! — как много вас!
И вы — служители Отчизны?
Да вы — страна, особый класс,
Живущий собственно жизнью,

Вам на Россию наплевать —
На прошлое и перспективы.
«Здесь и сейчас» кусок урвать
Побольше, пожирней, с наживой.

О, как противен ваш оскал!
Пора бы вам и оглянуться:
Что позади? Моча и кал,
Да километры резолюций.

«Откаты», взятки, чумной пир,
Офшоры, ваша бестолковость
Создали выморочный мир
Коробочек и Хлестаковых.

В развратном мире есть закон:
«Чем ночь темней, тем ярче звёзды».
Чернеет русский небосклон.
В чиновном смраде вянут грёзы.

И эта явь как страшный сон —
Всё меньше звёзд на небе синем.
Вот так и действует закон
Дебилизации России.

В стране разруха, беспредел,
Пальба идёт из каждой щели:
Стартует третий передел
Уже того, что растащили.

И то бы всем пора понять:
Отринутый от пониманья,
Но заведёшь, и не унять —
Всё видит терпеливый Ваня...

Октябрь 2010 года

ТРУБОДЕЛАМ

«Ура! Мы снизили инфляцию!
И это нам далось не без труда...
Ура! Подняли индексацию!
Но наше дело главное — труба.

Зачем заводы строить и порты?
«Продал — купил...» Всё чётко, без прикрас.
Зачем мудрить и разводить понты,
Когда в стране в наличии нефть и газ?

Труба — Её Величество Труба —
Вот всё, что нужно для элитных масс.
Да, наша философия груба,
Но за неё мы ринем класс на класс.

Трубу на Запад тянем, на Восток.
Одну трубу — направо, две — «налево».
Да здравствует финансовый поток!
Быть олигархом — это не порок...»

Вы не стратеги, господа, ничуть.
Зашли вы далеко, да не туда.
Избрали вы кривой и ложный путь.
Страну довольно мучать, господа.

1 октября 2010 года

ПОДМОСКОВНЫЙ СЮЖЕТ

Листопад. Деревья плачут —
Больно им листву терять.
Я на деревенской кляче
Еду сено покупать.

Больно мне! Я тоже плачу...
Дрожки старые скрипят...
Где поля? Жнивье? Здесь дачи
Новорусские стоят.

Каждый дом — как будто крепость,
За забором псы рычат,
Да охранники свирепо
Меж собой на нас ворчат.

«Сено? Там, за поворотом,
У абрека на складу...
Ездют тут! Вали, «пехота!»
Как бы не попасть в беду...

Едем, вёрсты не считая
И пустынных деревень,
Изб слепых... Верста шестая.
Поворот. Абрек. Плетень.

За плетнём — сарай, там сено —
Дух такой, что ноздри рвёт,
Мы торгуемся с абреком,
Конь копытом землю бьёт.

Я волнуюсь: «Что за цены?
Это всё-таки трава!»
Гоги держится степенно:
«Ти ж балная галава! —

Говорит он. — Эт-та сена
Мэйд ин Франс энд Кэнада!
Супер сена — супер цена!
Ти смотри! Иди сюда!..»

Сторговались. Грузим сено —
Тяжеленные тюки.
Из-под провлочных сплетений —
Огоньки и васильки!..

«Made in France»? О Боже правый!
Подтверди — ведь знаешь ты:
Гоги говорит неправду,
Это — русские цветы!..

...Всё отдали без тревоги
Чужакам. И всё не в счёт.
И теперь заезжий Гоги
Мне моё же продаёт!

Сталь и камень драгоценный,
Лес и поймы у реки,
Чернозём... И даже сено,
Огоньки и васильки...

Вечер. Месяц тускло светит.
Я с тоской во мрак гляжу.
Чудеса на белом свете!..
Осень. Листопад. К дождю.

24 октября 2010 года

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА*

*...И дым Отечества
нам сладок и приятен...
А. С. Грибоедов*

Не туман над равнинами стелется,
Не труба заводская дымит —
Это дым моего Отечества,
Это Родина наша горит.

Это сёла, пожаром объятые,
Города и леса, и жнивьё,
То — огнём в окружение взятое, —
То Отечество гибнет моё.

Дым Отечества горек и страшен мне:
Виновата тут не Природа —
Нелюбовь казнокрадов к своей стране,
Нелюбовь к своему народу.

* В июле–августе 2010 года в России непрерывно стояла небывалая жара: временами более 40 °С. Пожары полыхали в 19 регионах страны. За двухмесячный период случилось более 30 тысяч природных пожаров. По официальным данным, выгорело 1,25 миллиона (по неофициальным — от 5 до 6 млн) гектаров лесных площадей. Сгорело 2,5 тысячи домов. Смертность в этих регионах в тот период возросла вдвое, урожай сократился на 35 процентов. «Вдруг» выяснилось, что в стране нет необходимой лесной охраны и служб спасения, во многих больницах и родильных домах отсутствуют кондиционеры... Беда эта была не только стихийной, но и «рукотворной»: в результате «лесных реформ» количество лесников, обходчиков и других работников лесного хозяйства с 200 тысяч человек было сокращено до 12 тысяч человек (Независимая газета, 2010, 30 декабря. С. 1–2).

Из 38 районов Подмосковья беспрецедентные по силе пожары произошли в десяти, горели торфяные залежи в Шатурском и других районах, дымом покрылись огромные пространства Подмосковья и улицы Москвы.

Дым стоит над Москвой километрами,
Жжёт мне душу и застит глаза.
Лето жаркое и безветренное.
Нужен ветер, нужна бы гроза...

О спасительный ветер, ну где же ты?
Очистительный дождь, пролейся!
Духота. Духота. Запредел Духоты!
Значит, скоро гроза... Надеюсь.

26 сентября 2010 года



Я ТАКОЙ...

Я такой: я люблю правду-матку.
Ты мне истину вынь да положи!
А из СМИ, как из грязной лоханки,
Бесконечной рекой льётся ложь.

Всё, что в прошлых веках было свято,
Все мои герои — иконы,
Всё низринуто в грязь и распято,
И объявлено всё вне закона.

«Патриот?! — Негодяй! Честь имеешь? —
Что за прок от неё? Где «навар»?
Романтизм? Героизм? — Что ты мелешь!
Ты, пацан, не фильтруешь «базар»...»

Перекручено всё наизнанку.
И во всём этом замысел есть.
Бандюган возит пузо на «танке»,
А работает кто — тот не ест.
Есть реальности этой Конструктор,
Где не стоит ничем дорожить...
Вверх цена на тряпье и продукты,
Вниз — на совесть, любовь и на жизнь.

Что ни день, то в стране новый триллер —
Как убить пострашней, побольней?
Наркоман, проститутка и киллер —
Это главный герой наших дней.

Оседлал Сатана действительность —
Сеет Хаос, Абсурд, «перемены»,
Потерял человек чувствительность,
Не поймёт, где друг, где измена.

27 сентября 2010 года

КУДА СПЕШИМ?..

«О времена! О нравы, господа!» —
Твердим упорно мы друг другу век от века,
Возможно, с той поры ещё, когда
Всевышний сотворил по шутке человека.

И человек — ничтожное ничто —
То гордо надувает щёки: «Я — и Время»,
То, ужасаясь, падает ничком,
Пред беспощадным в гневе Хроносом немея.

О, да! У Времени любимцев нет.
И никаких врагов — оно всеильно, Время,
Сметает и хоронит в Лету всех.
И никакого смысла нет кивать на Время.

Оно стоит, как берега реки,
Бесстрастно, не смущая лик свой, наблюдает,
Как тонут страны и материки,
Земные полюса места свои меняют.

Настанет миг — невыслымый такой! —
Когда взорвётся Солнце, а Земля остынет,
И станет не Планетой, а Звездой,
Могилой Человечества Всеобщей станет...

Тот миг далёк. И, видно, оттого
Мы мним — нам суждены эпоха, эра, вечность.
Мы погоняем Время, как седок,
Несущийся в глухую бесконечность.

Куда спешим, скажите, господа?
Зачем грызём друг другу глотки, словно звери?
Ведь это гонки к Смерти, в Никуда!
Конец придёт скорей, чем движемся быстрее.

Модернизация — вот ваш фетиш.
Глобализация — звучит, сознайтесь, гнило.
Хочу спросить тебя: «Зачем спешишь,
О, Человечество, в Единую Могилу?»

31 октября 2010 года



НАЧАЛА

Земля была безвидна и пуста,
И тьма над жуткой бездною висела...
И Божий Дух разверз свои уста:
«Да будет свет!» — сказал, и улетел Он.

Был свет хорош. Но пустота вокруг
Всесильного унылостью томила.
Взяв прах земной, в одно мгновение вдруг
Мужчину с Женщиною сотворил Он.

Нарёк им имя «человек» Земли.
Пред ним тела недвижимые лежали.
Вдохнул им в ноздри жизнь, и оба ожили,
И внёс их имя на свои Скрижали.

Дал Образ свой и Душу дал свою —
Он человека создавал как Бога.
Зачем? Я мысль мою взовью:
Бог тосковал, желал Любви, и много.

Бог — сам Любовь. Но одинок и сир.
Хотелось жить с товарищем и другом.
Любовь ответа ждёт. Зачем мне мир,
Когда вокруг лишь ветры, злая вьюга?

И был момент: раскаялся Господь,
Что сотворил он царствие земное.
И истребил с земли живую плоть,
Всё жившее. Оставил только Ноя...

...Понять бы нам: не плоть творил Отец,
А Душу во плоти, Любовь и Дружбу.
Ошибся, как ошибся наш Творец!..
А в чём... Сказать? Да право же — не нужно.

9 января 2011 года

ГРОЗА ЗИМОЙ

И молнии вспороли небо...
Взревели ветры... Грянул гром...
И — рухнул ливень... Быль, не небыль!
Декабрь... Белым-бело кругом.

В мгновенье всё заледенело —
Леса, деревни, города;
Дома крушились, то и дело
Рвались электропровода.

Я видел — плакали берёзы,
Пока дожди сквозь снега шли.
А как ударили морозы —
Берёзы сникли до земли.

Не все, не все! В тумане белом
Я видел тех, что, как в бою,
Стояли в смертной перестрелке,
Стеной прикрыв родню свою.

Я чувствовал — молчат подруги,
Не выдавая боль и стон.
Лишь ветви бились друг о друга,
Плыл тихий колокольный звон...

Я видел — падали берёзы,
Ломаясь вдоль и поперёк...
Душил в себе пустые слёзы —
Помочь им я ничем не мог...

*30 января 2011 года,
дер. Фёдоровка*

* * *

Мы не знаем, как выглядят звёзды вблизи.
Любопытствуем — строим расчёты, мечтаем...
Век за веком живём в бедноте и грязи,
Но зато в беспросвет корабли посылаем.

Карту звёздного неба имеем давно,
И про звёздное время, про звёздные ветры
Нам известно, но мы всё равно, всё равно
Улетаем всё дальше за новым ответом.

«Чёрных дыр», «белых карликов» знаем число,
Пору «звёздных дождей», астероидов стаи.
Космонавт — это нынче уже ремесло.
Ну а мы всё летаем, летаем, летаем...

О небесная высь! О земной небосклон!
Как таинственны вы в своём блеске и дали,
Как страшна пустота... Так и видится Трон
В темноте и Творец во Дворце из хрусталя...

На просторах Вселенной планета Земля
Неприметна среди звёзд и от Солнца далече...
Но на ней — всё живое: моря и поля,
И на ней — миллиарды «планет» человечьих.

Мы не знаем, как выглядят люди вблизи
С их живыми мирами. Так длится годами.
То Природа мешает, то Космос грозит,
То нагрянет пожар. Мы — летаем, летаем...

Разлетаются страны одна от другой,
Разлетаются люди галактик быстрее.
Мир озлоблен, кипит. Мир беремен войной.
Неизвестный Стратег чертит страшные стрелы.

7 февраля 2011 года

* * *

Внутри Земли скребнулись «плиты» —
И треть Японии снесло цунами.
Тут мы бессильны. Нет арбитра —
Стихия властвует над нами.

Огромной ненасытной пастью
Чудовищного крокодила
Она, жестоко и бесстрастно,
Всё, что хотела, проглотила...

Понять бы в этот миг ужасный,
Как мы слабы и как ничтожны,
Воззвать друг к другу: «Жизнь прекрасна!
Покончим с войнами и ложью!»

Но на Земле свои «гамбиты»
И рукотворные потопы:
Столкнулись человечьи «плиты» —
Восток с Америкой, Европой.

Кровит Восток, бунтует, стонет,
Свои зализывая раны...
А за морями «Кто-то» строит
Самоубийственные планы.

13 марта 2011 года

11 марта в Японии произошло два сильных землетрясения силой около 9 баллов. В начале января в Тунисе, а затем в Египте и других странах Ближнего Востока произошли одно за другим выступления сил «оппозиции», которые потрясли арабский мир. Как отмечают СМИ, за этими «цветными революциями» без труда просматриваются планы и поддержка США.

* * *

Вот говорят: «В богатстве — человек;
Кто добр, но беден, тот убог, ничтожен».
И так ведётся уж из века в век.
Я утверждаю: этот тезис ложен.

Вещать такую мысль — тяжёлый грех.
Пора понять — будь царь ты иль калика —
Что самый бедный в мире человек
Был самым человеческим человеком.

Ты можешь оплатить трильонный чек —
Река времён сотрёт все краски лица.
А этот самый нищий человек
На все века останется великим.

Когда в святые дни в Ерусалем
Спешат жирующие миллионы,
Я говорю: «Вот истины момент!
Вот торжество Идеи над мамоной!»

Богатство добывается с трудом.
Внезапно никогда не богатеют.
И едут богачи, бредут пешком,
Чтоб отмолить преступные затеи.

Ложатся ниц, ползут, как червяки,
Целуя на камнях следы бродяги,
Скулят от страха злые мужики,
Как битые хозяином дворняги.

И, может, в миг позора и скорбей,
Хоть кто-то вспоминает про Пилата,
А кто-то обещает стать добрей,
А кто-то отречётся от разврата.

Быть может... кто-то... где-то... как-нибудь...
Ползут — Нули, ворюги, скупердяи.
А встанут — дружно платье отряхнут —
И с воем друг на друга, негодяи...

Богач, вполне возможно, человек.
Павлины тоже птицею зовутся.
Но оба не летают. В чём секрет?
Бескрылы и душою ввысь не рвутся.

Не восславляю бедность я ничуть,
Богатство приунизить не желаю.
Я об одном, страдая, знать хочу:
Зачем веками длится жизнь такая?

* * *

Вы слышали? Вот это чудеса!
Я даже молвить весть боюсь такую...
Христос покинул наши небеса
И улетел в галактику другую...

Остались люди бедные одни.
Но страшно веселятся богатеи:
Исчез с Небес Вселенский Господин,
Забрав с собой все светлые Идеи.

Вот потому-то Хаос и Абсурд
Вновь воцарились, как и в дни Начала.
Всё больше тварей на Планете жрут,
Всё меньше «Человека» на Скрижали...

* * *

Ах ты, Русь — без конца и без краю...
Что ж творишь ты, глумясь над собой?
Ну а я-то — зачем я рыдаю
Над твоей непутевой судьбой?

Все-то грусть и мечта тебя манят
В неизвестность и светлую даль...
Поутру отыскал я в тумане
Твою темно-вишневую шаль...

И откуда в тебе эта «жаба»,
Словно злая болезнь завелась?
И опять ты, как пьяная баба,
Не тому мужику поддалась.

И пьяна-то была ты не шибко,
Ну а он был паскуда и враль...
...Небывалая в мире ошибка.
Небывалая в сердце печаль...

8 февраля 2006 года

* * *

Надену белую рубашку
И всё исподнее сменю,
Пойду лихой и бесшабашный,
Я на всесветную войну.

Прими, Святая Русь, солдата
В свои нестройные ряды —
Мне надоели супостаты
Всей мерзопакостной орды.

Грешно живём и небогато,
Но в страшном штыковом бою
Как боги — умираем свято! —
Все в белом! — за страну свою.

5 декабря 2010 года

НЕ МОЛЧИ!

«Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои»...*
В совете этом есть резон,
Коль дипломат ты иль шпион.

Молчание — великий дар,
Коль никакой талант не дан:
Сойдёт за умного дурак
В молчании большой мастак.

Я знал завзятых «тихарей» —
Хитрее змей и злей зверей.
В молчаньи, скрытно, затаясь,
Они людей вминали в грязь.

Но как таиться и — любить?
Не чувствуя — поэтом быть?
Молчать, когда ты — депутат?
Скрываться, если — демократ?

Вот перестанем мы мечтать...
Исход? На четвереньки встать?
А что поделать с добротой?
А с совестью и красотой?

Зачем тебе твой «целый мир»,
Когда лишь для себя кумир?
Зачем Господь создал тебя,
Когда ты только для себя?

* Начальные строки стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium».

К чему нам этакий кураж?
Будь человек, а не мираж.
Сорви с души своей замки:
Откройся, сердце отомкни,
И выбрось ржавые ключи.
И не таись. И — не молчи!..

6 февраля 2011 года



ПРОРВЁМСЯ, БРАТЦЫ!..

Над всей Россией
Гремит гроза —
Ни зги, ни сини
В мои глаза.
Лишь отблеск молний,
Шакалов вой,
И вражья сабля
Над головой.

Припев:
Прорвемся, братцы,
Не страшен чёрт!
Не время клясться —
Чёрт у ворот.
Собьемся дружно
В один кулак —
Пусть нашу силу
Узнает враг.

Не будет счастья
Тебе и мне,
Пока несчастье
Во всей стране,
Пока иуды
Нас в Храм ведут,
Пока святыни
На части рвут.

Припев:
Прорвемся, братцы,
Не страшен чёрт!
Не станем клясться —
Чёрт у ворот.

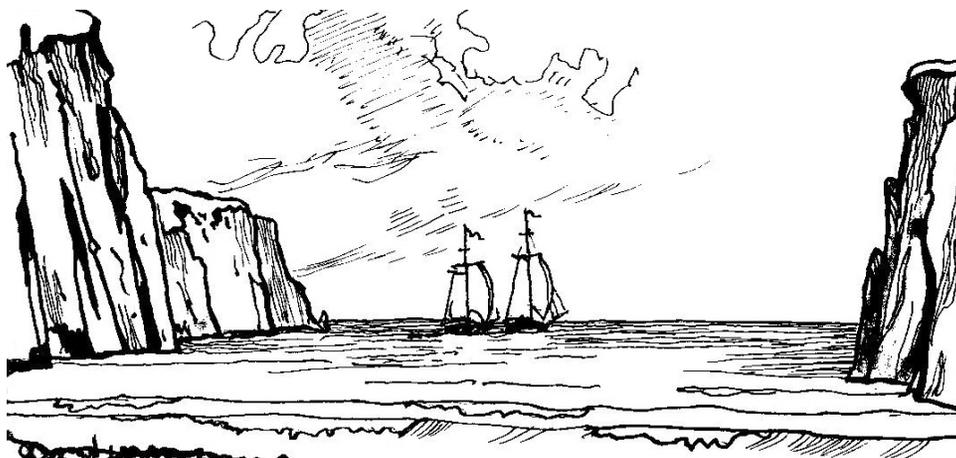
Собьемся дружно
В один кулак —
Пусть нашу силу
Узнает враг.

Прорвемся, братцы!
Не страшен чёрт!
Ведь с нами — Святцы
И с нами — Бог.

Ноябрь 1995 года



ДВОЕ



ЭТО БЫЛО ТАК НЕДАВНО...

*Моей Светлане
в день «золотой» свадьбы*

Летний вечер. Танцплощадка.
Духовой оркестр.
За железною оградкой —
Ярмарка невест.

Ты стоишь на видном месте,
Впереди других.
Ты — ещё ничья невеста,
Я — ничей жених.

Косы чёрны. Очи кари.
Тальниковый стан.
Вот такую в разных далях
Я давно искал.

Без сомнения — в атаку:
«Разрешите?..» — «Да»...
Закружились на три такта —
Кругом голова.

Танцевали вальс за вальсом —
На ветру костёр.
Обнялись и не расстались
С тех и до сих пор.

Вспомню лишь тот вечер томный —
Сердце задрожит:
Мы с тобой в аллее тёмной,
Впереди — вся жизнь.

И ещё об очень главном...
Не понять умом:
Это было так недавно —
В Пятьдесят Седьмом...

4 сентября 2008 года

О ТЕБЕ

О тебе стихи не получают,
Словно места в них тебе
не значит.я.
О тебе лишь думы не
кончаются,
Лишь поётся о тебе да плачется.

Лишь смотрю, смотрю в глаза
бедовые,
Глажу смерч волос твоих
каштановых,
Вижу на лице морщинки
новые,
Открываю свое счастье
заново...

1960 год

В ПОЕЗДЕ

Так-так, так-так, так-так, так-так...
Лечу к тебе на
встречу —
И губы выпью, и глаза,
В объятьях изувечу!

А ты меня, подружка, ждёшь?
Тоскуешь в ожиданьи?
К тебе спешу, а ты уйдёшь
К другому на свиданье...

Душа горит... А поезд мчит!..
Я пью холодный ветер —
Быть может, душу охладит,
На стон её ответит.

И он кричит под стук колёс:
«Чего грустишь, дружище?
Не нужно слёз
И — выше нос!
Таких я видел тыщи.

Тоска вам червем душу ест,
И ночью спится скверно.
Любовь — небесный дар и крест,
И пытка в клетке “Ревность”».

Так-так, так-так, так-так, так-так...
Лечу к тебе на
встречу!
И губы выпью, и глаза,
В объятьях изувечу...

1965 год

* * *

Я приду избитый,
Гадами израненный,
Злой и беззащитный,
Затаив страдание.

Разом боль умолкнет,
Пропадёт досада,
Если голос дрогнет,
Если будешь рада,

Если захлестнутся
Руки на плечах,
Огоньки зажгутся
В ласковых очах.

Стану самым сильным,
Стану очень гордым,
И почти красивым,
И совсем покорным...

1966 год

* * *

Скажи, куда мы мчим? Куда, скажи, несёмся?
Ах жизнь, ну что за жизнь — жестокий водевиль!
А помнишь вечер тот? Давай в него вернёмся.
О чём молчали мы, ты помнишь? О любви.

Ты помнишь, над землёй, над нами — небо низко.
И звёзды, как салют над нашей головой.
И первый раз глаза, твои глаза так близко.
А в них все небо вдруг. И я ещё не твой...

И мой немой озноб... Твоя оцепенелость...
И где-то «Венский вальс» сложится норовил...
Хотелось гимны петь, да звуков не хотелось.
О чём молчали мы, ты помнишь? О любви.

Хотелось слить в одно-единственное слово
И счастье, и восторг — все чувства в слово свить.
Хотелось умереть и возродиться снова.
А я дрожал и пел всем телом. О любви.

Как много разных слов — весёлых, бестолковых,
Сказали мы с тобой за десять прошлых лет.
А я всё помню то несказанное слово,
Которого пока на свете, может, нет.

Ищу его всю жизнь, грущу порою серой,
Что мне его уж найти не суждено:
Так просто говорить, когда пустое сердце,
И как немеешь ты, когда полно оно.

Август 1968 года

* * *

Ещё я жив. И даже очень.
Мечтаю. Жду. Держусь. Люблю.
Но почему же среди ночи
Проснусь и до зари не сплю?

До злых трамвайных перезвонов,
До острых утренних лучей
Мне не унять тревоги. Снова
Мне кажется, что я — ничей...

И вдруг... — ну как ты услышала
Тревожный зов моей души? —
Очнулась, тронув одеяло,
И тихо прошептала: «Ш-ш-ш...»

Но мне пора уже к работе
Вставать. И трудный день обещан.
Усни, прекрасная в дремоте
Из всех кустодиевских женщин...

1971 год

* * *

Мы проживаем жизнь спеша,
А надо нам так мало —
Одна любовь, одна душа,
Чтоб нас не предавала.

Мы ищем не других, себя —
Потерянных, забытых...
И я люблю, люблю тебя —
Живой и неубитый.

Ты мне нужна, лишь ты одна,
На целом белом свете.
Ты мне нужна, моя жена,
Всю жизнь. И после смерти.

Прошу тебя: переживи
Меня, беду, сомненья.
И разбери, и сохрани
Мои стихотворенья...

1976 год

* * *

Я говорю: «Ревнуй меня, ревнуй!»
Твой гнев недолог, если вправду любишь.
Не может чувство птицей упорхнуть —
Пока ревнуешь, то не позабудешь.

Ревнуй меня, ревнивая моя!
Но лишь любви от слёз твоих прибудет.
Никто так не болел тобой, как я,
Никто, как я, страдать тобой не будет.

«Проходит всё», — твердят мои друзья.
Забудет ум, но сердце не забудет.
Никто так не любил тебя, как я,
Никто, как я, тебя любить не будет.

Октябрь 2006 года

ЛЮБОВЬ — ЭТО...

Любовь — это факел в тумане.
Любовь — это свет царства звёзд.
Любовь — это вера в обмане.
Любовь — пепелище из грёз.

Любовь — это жажда пустыни,
Песок, поглощающий страсть.
Любовь — это наша рабыня,
Таящая высшую власть.

Любовь — это чёрная туча,
Несущая молний лучи.
Любовь — редкий жизненный случай,
Дарующий счастья ключи...

5 февраля 2011 года

* * *

Умирает любовь, бьёт крылом о траву...
Помоги же любви умереть!
Неужели не видишь ты, как в синеву
Хочет белая лебедь взлететь?

Отвернись и добей ты, не глядя, её
Честным выстрелом, острым мечом.
Родила ты любовь на несчастье моё,
Будь же ты и её палачом.

1980 год

* * *

Как это трудно — быть живым
И притворяться незабытым,
Любить, казаться молодым...
И думать, будто жизнь отжита.

Как это грустно понимать —
Тебя забудут. И заменят.
Придёт другой, чтобы играть
Всё ту же роль на той же сцене.

Сотрутся в памяти черты
Лица, когда-то дорогого...
И так же честно будешь ты
Ласкать его... того... другого.

Не я, а он споёт тебе
Про рощу, что отговорила,
И, внемля трепетной струне,
Ты назовёшь его «мой милый»...

Но синий ветер! Он смелей,
Он всё запомнил. Жарким летом
Он принесёт тебе с полей
Мои забытые приметы.

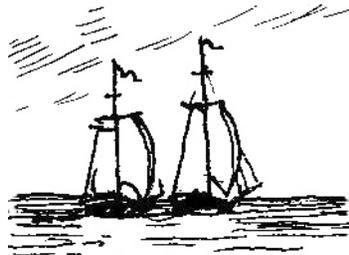
Цветами память всколыхнет,
Рекой тебе меня расскажет,
В луга хмельные позовёт,
Молчаньем тайным губы свяжет.

И я — неслышим, невидим —
Приду в тебя. И мы сольёмся,
Как облака, как горький дым,
И вновь любовью назовёмся.

Мы помечтаем о былом,
О будущем повспоминаем,
Я расскажу тебе о том,
Чего и сам ещё не знаю.

И, может быть, постигнешь ты
Тревожность истины избитой:
Как это больно — быть живым...
Ещё — живым, уже — забытым.

1975 год



* * *

Я уйду не из трусости,
Я сбегу от сомнений.
За окном осень грустная,
За окном ветер северный...

А лицо твоё мокрое
Не от горьких рыданий, —
От дождя, что за окнами,
И пустых обещаний.

Может, всё же отложим
Этот Вечер отчаянья?
Обними, если можешь,
Ну хотя б на прощание...

* * *

Пустозвонно стонет душа —
Ты ушла,
Хоть мы вместе.
Вдаль прощально рукой машу —
Распрощаться спешу,
Хоть мы вместе.
Расставанья нужны для любви.
Знаем мы:
Нам они не помогут.
Расстояния нам не страшны.
Страшны сны
О любви утерянной.

1963 год

* * *

Ну вот и стихла боль.
Унялись ветры.
Но где-то в глубине души
Болят занозой безответность.
И ум свой строгий суд вершит...

Всё было, как и быть должно.
Но, Боже мой, мой Боже:
Всё прошлое оскоплено,
А я побит, низложен...



* * *

Прощай!.. Не будем лицемерить:
Теперь и мне понять дано —
Любовь печалью не измерить,
А радости не суждено.

Прощай!.. Быть гордым обещаю.
Забывать тебя даю обет.
А всё-таки мои печали
Все о тебе, все о тебе...



* * *

Ты скажешь мне: «Прости-прощай».
Я усмехнусь: «Чего же боле?»
Ты сквозь любовь мою шагнёшь,
Как сквозь туман на поле.

И я поникну, тих и нем,
Бедой моей сражённый.
Звезда горит своим огнём,
Планета — отражённым.



* * *

Ваше Кареглазие!
Будьте
Милосердны.
Не велите мучить, а велите
Жить.
Я люблю быть нежным,
Я могу быть верным,
Я хочу Вас вечно, преданно
Любить.
Ваше Кареглазие!
Смилуйтесь,
Простите:
От моей гибели ну какой Вам
Прок?
Как угодно много от меня
Просите,
Только разрешите быть
У Ваших ног.
Ваше Кареглазие!
Не судите
Строго:
Я ли не люблю Вас,
Я ли не храню?
Повелите плыть мне
В дальнюю
Дорогу,
В злую и чужую,
В грозную
Страну.
Я вернусь с победой,
Боль презрев и горе,
Все преодолею
На своём пути.

Только Ваше море,
Только это море
Никаким стараньем мне
Не перейти.
Ваше море Грусти,
Море Одиночеств,
Море Обольщений,
Море Красоты,
Море Обещаний,
Море Злых Пророчеств,
Море Подозрений,
Море Пустоты...
Ваше Кареглазие! Полноте,
Не плачьте...
Ваше Большеглазие!
Стоит ли тужить
О своей жестокости?
Экие напасти!
Коль отняли сердце —
Заберите жизнь.

1978 год

О ЛЮБОВЬ!..

(песня)

Легким ветром, нежной сенью,
Тихо, словно Бог,
Прилетела с гор весенних
К нам с тобой Любовь.

Две души соединила,
Нежа и губя.
Ты сказала мне: «Мой милый,
Я люблю тебя...»

Мир исчез для нас с тобою —
Только я и ты,
Только смех и грех любовный,
Клятвы и мечты.

Мы тогда ещё не знали,
Что Любовь — беда,
И — безумные — шептали:
«Вместе — навсегда».

Припев:

О Любовь!.. Ты даёшь нашей жизни смысл.
О Любовь!.. Без тебя — будто листья мы:
Ветром гонимые,
Грустью томимые,
Ждём лишь конца своего.

О Любовь!.. Ты уносишь на небеса.
О Любовь!.. Ты творишь с нами чудеса.
Светом являешься —
Мрак растворяется,
Весел и счастлив я!..

Дни и годы пролетали
В неге и мечтах...
Как же эти годы стали
Каторгой в цветах?..

Мы тогда ещё не знали,
Что Любовь — как сон:
Средь заботы и печалей
Вдруг проходит он.

Не сумели жить иначе,
Не смогли понять,
Что Любовь, как детский мячик,
Можно потерять.

Припев:

О Любовь!.. Ты была как цветущий сад.
О Любовь!.. Ты таишь в себе рай и ад.
Страсти безумные,
Клятвы бездумные...
Рядом всё, да не взять.

О Любовь!.. Я теперь — одинокий волк.
Ненавижу тебя — Одиночество!
Всё прошло... Жизнь без снов...
Где же ты, о Любовь?..

* * *

Прости мои обиды,
Забудь свои печали.
Давай в дорогу выйдем
И радость повстречаем.

Давай, как прежде, верить,
Что счастье суждено нам
И что плакучей вербе
Над нами плакать рано.

Давай поверим в сказку
О том, что дни седые
Имеют те же краски,
Что годы молодые.

И будем жить отважно,
Невзгоды презирая.
Но всё-таки однажды —
Прости меня, родная.

Март 1988 года

* * *

Виноват... Во всём. Навсегда.
По вине. Без вины. По догадке.
Виноват, что уносятся наши года.
Что люблю тебя без оглядки.

Что сбылось не так, как мечталось.
Что болезни пришли раньше срока.
Что любить мне тебя осталось
Так недолго, совсем недалёко...

Виноват и винюсь. Ты прости.
Ах, как хочется жить, боже правый!..
Улетают мои журавли,
Улетают в закат кровавый.

Виноват...

Март 1990 года

* * *

Как божий дар храню тебя.
Друзья удивлены, не скрою:
Что ты нашла во мне? А я —
Зачем ищу цветы зимою?..

А просто я тебя люблю
Как жизнь. Ты для меня что воздух.
Мне без тебя, как кораблю
В пустыне иль в реке безводной.

Ты рядом — и я быстр, светел.
Противен злу, открыт добру,
Любой печали безответен.
Исчезни ты — и я умру.

2006 год

* * *

Родная, не тужи о времени бегущем,
Не отягчай души ни сущим, ни грядущим.
Я — рядом до конца, всегда и всюду.
Был. Есть. И хочешь иль не хочешь — буду.

В чём смысл тужить? «Мир — вечен, жизнь — мгновенна» ...
«Добро и Красота владеют лишь Вселенной» ...
«Бог дал — Бог взял» ... Скажу его устами:
«Из ветра появились — ветром станем» ...

Давай смиримся... Но я знаю, знаю, знаю —
Два Ветра в космосе опять сольются в пламя!
И будет вновь Любовь... И вновь ответно
На свет родятся маленькие Ветры...

И сохранится в мире имя где-то,
В котором столько доброты и Света.

Август 1999 года

* * *

Что — жизнь? Игра! И все в ней клоуны.
И роль у каждого проста:
Пройти по жизни, как по проволоке,
От дня рожденья до креста.

Пройти короткий путь над пропастью
Из Ниоткуда в Никуда
И не сорваться, не упасть в неё,
Пройти без крика и стыда.

И на пути таком опасном том,
Где каждый шаг — твой лютый враг,
Случилось — встретились два клоуна
И им не разойтись никак.

Играют, словно дети, клоуны,
Игрой разогревая кровь,
Играют нежно и взволнованно
В игру с названием «Любовь».

Играют чувствами и судьбами,
Смешат себя, смешат других.
К концу спектакль... И всё понятно им.
Но не унять себя самих.

Так и живут, игрою скованы, —
Красавица из дивных снов
И грустный клоун очарованный
С букетом вянущих цветов...

ПЕЧАЛЬНЫЙ МАРТ
(песня)

Прости, но я не виноват,
Что в нашей жизни мало света,
Как не виновен месяц март
В том, что весна моложе лета.

Не виноват, что в наш уют
Ворвался ветер злой и вредный,
Не виноват, что предают
Меня мои друзья и время.

Припев:
Пусть предадут,
Пусть сети вьют...
Я погрущу — и всех прощу.

Не виноват, что не постиг,
Зачем громим родные ульи,
Зачем рождаться, чтоб уйти,
Зачем живём среди безумья.

Не виноват, что в этот март
Я на год старше стал и хуже.
Я не устал ещё мечтать,
А горизонт всё уже, уже...

Припев:
Поверь, что в том не виноват
Никто — ни я,
Ни месяц март.

Поверь, любимая, поверь,
Что мы пройдем сквозь все ненастья,
Пройдем без страха и потерь,
И не угаснет наше счастье.

Лишь ты, прошу, не уставай:
Нелегко путь и мало света.
К закату март, и скоро май.
А там, глядишь, и снова лето!..

Припев:
Поверь, прошу!
Не уставай!
К закату март,
И скоро май!..

15 апреля 2006 года



ТЫ ПОМНИШЬ?..

Ты помнишь тот осенний сад,
Где мы последний раз встречались?
Я был в печали, ты — в слезах...
Мы оба об одном молчали...

Любовь не лечится травой,
Любовь кладет запрет на речи.
И я с поникшей головой
Ушёл судьбе своей навстречу.

Теперь уже года прошли...
Любовь не требует расплаты.
А всё же в тайниках души,
Мне кажется, я жду возврата.

А всё же в ночь — когда гроза,
Мне чудится, что всё — в начале...
Есть наслаждение в слезах
И утешение — в печали.

1 ноября 2006 года

ХРАНИТЕЛИ МОИ

Хранители мои — Свят Серафим и Ты.
Вы смотрите в глаза мои и душу,
Когда мне не хватает высоты
Не лгать, не брать не своего, быть лучше.

Когда перед бедой теряю разум я,
Когда я боль терпеть уже не в силах,
Когда обида жжёт страшней огня, —
Тогда вы охраняете меня
От зависти,
От гнева и безверья,
От ран, от ненависти и от мести...
Я бы почёл за благо смерть не раз,
Когда б не взгляд ваш и не ваша честность.

Хранители мои! За всё спасибо вам!
Тебя молю, который ближе к Богу:
Похлопочи про рай. Но дай мне сил сперва
Собраться в невозвратную дорогу.

Тебя же, ангел мой, смирительно прошу:
(Не удивляйся этой просьбе странной):
Переживи меня. Тогда — печальный шут —
Твоим Хранителем на небесах я стану.

26 марта 2002 года

* * *

Твое предназначение — любить.
Ты — песнь и торжество ликующего света.
Ты можешь оправдать или казнить,
Возвысить, бросить ниц — и не нести ответа.

Ты — жрица тьмы, хозяйка тайников,
Где кроется Любви божественная сила.
Ты без меча и стрел, без хитрых слов
Меня околдовала и заполонила.



НЕ СПРАШИВАЙТЕ ЖЕНЩИН О ГОДАХ
(песня)

Не спрашивайте женщин о годах —
Они в цвету, как сад, когда любимы.
Любите больше жизни — и тогда
Их беды и года обходят мимо.

Припев:

Костры любви пожарами горят,
То полыхают, то как угли тлеют.
И счастливы, кто много лет подряд
Огонь любви вдвоём хранить умеют.

Не обижайте женщин никогда —
Они нежны, как розы в час рассветный,
И веселы, и радостны всегда,
Пока их душу греет взгляд приветный.

Припев:

Костры любви пожарами горят,
То полыхают, то как угли тлеют.
И счастливы, кто много лет подряд
Огонь любви вдвоём хранить умеют.

Не спрашивайте женщин о годах —
Года не властны над Добром и Честью.
А женщина вовеки молода,
Как музыка, поэзия и песня.

Припев:

Костры любви пожарами горят,
То полыхают, то как угли тлеют.
И счастливы, кто много лет подряд
Огонь любви вдвоём хранить умеют.

Март 2006 года

ЛЮБИМЫЕ — СМЕРТНЫ...

Поймите: любимые — смертны.
Бессмертна лишь Смерть, и она
Стоит в карауле бессменном
У каждой двери и окна.

От мыслей таких не бегите:
Куда убежишь от себя?
Любимых своих берегите.
А вдруг... Уходите любя.

Любимых любить торопитесь!
А вдруг, если с ними... Молю:
Вы им потихоньку шепните
Сакральное слово «Люблю».

И Смерть задрожит и отступит —
У ней есть своя слабина:
«Люблю» — это крест в ваши руки;
Креста же боится Она.

У Смерти беда: нелюбима,
Страшна, одинока она.
У Смерти судьба пилигрима —
Средь мрачных надгробий стенать.

Любовь же весельем грохочет,
Над Миром и Смертью парит,
Лукавит, ревнит, хохочет,
Хранит, плодоносит — царит.

Поймите: любимые — смертны.
Пусть страх не хладит вашу кровь:
У Смерти победы несметны,
Но Смерти сильнее — Любовь.

6 ноября 2006 года

ДОЧЕРИ

(в день шестнадцатилетия Наташи)

Не знаю отчего, но грустно мне теперь...
Не потому ли грусть меня снедает,
Что угасает жар души моей,
А племя новое всё громче запекает?..

Не знаю отчего, но весел я сейчас!..
Наверное, с того смеюсь и хулиганю,
Что в искрах тех, что к небесам летят,
Я не исчезну, нет, и не растаю...

Мой друг, мой юный друг! В преддверии Судьбы,
Когда всё так возможно, но тревожно,
Когда томит тебя предчувствие борьбы, —
Молю: не обманись любовью ложной,

Не растворишься, прошу, в неискренних друзьях,
Не разуверься в Доблести и Чести,
Не затеряйся в сонных берегах,
Не попадись в ловушки хитрой лести.

Будь верной Истине, Добру и Красоте,
Служи стране и чистым идеалам.
Во всём храни себя, храни везде,
Храни себя в себе в большом и малом.

Лети в далёкий путь, прекрасный наш птенец!..
Пурга и ветры пусть тебя минуют.
А мы в своём родительском окне
Огонь приветный для тебя раздуем.

19 марта 1984 года

* * *

Всегда люби! Жену, детей,
Друзей — люби... Не огорчайся,
Когда однажды в судный день
Они отмстят тебе за счастье.

Благое воздаётся злом:
Не любят руку подающих!
Чтят тех, кому не повезло,
Слепых, безногих, нищих, пьющих.

Непостижим ты, человек —
Скотина, зверь, святой и гений,
Не осознающий жизни толк
Аристократ живых растений.

Из века в век ты бьёшь и жрёшь
Себе подобных, хищник страшный.
И как палач, ты жертву ждёшь
С мечом в одежде чёрно-красной...

Жить для себя — не значит жить.
Дарить (не брать!) — куда достойней,
Не быть любимым, а любить —
Вот ради этого жить стоит.

20 ноября 2010 года

МОЛИТВА

Ах, как годы летят! Будто в тройке несусь я...
Ах, как версты мелькают! Как кони несут!
Скоро встреча с тобою, о Боже Иисусе,
Скоро суд твой — всевышний и праведный суд.

Каюсь — грешен. Во всем. Жить спешил неумело.
Да и как на земле не спешить, не грешить?
Ты мне скажешь: где правда, где ложь, а где смелость?
Вся земля, Бог, из грязи. Стерильность — не жизнь.

Суета? Суетился. Гордыня? Гордился.
Я ж сказал тебе: «Грешен». И будет о том.
Ты спроси меня, Боже, на что ж я сгодился.
И давай, Бог, о главном, да — о суетном.

О делах, Бог, давай, и о детях о наших.
Тут я раб, тут я инок, Сизифу сродни...
Вот по грешной земле ходит ДЕВА НАТАША —
Возлюби ее, Боже, молю — охрани.

Сбереги мою дочь от недобрых напастей,
Упаси ее, Боже, от злых языков.
Дай ей счастья — негромкого долгого счастья.
Хоть никто не был счастлив во веки веков...

Счастье — миг, разделяющий беды. И счастье —
В ожиданьи удач, в отхожденьи от бед.
Надели ее, Господи, счастьем участия
И прими непорочности сердца обет.

Я прошу не о том, чтоб жила без страданий:
Кто страданий не знал — тот и вовсе не жил.
Дай побольше ей счастья от долгих свиданий
После кратких разлук с дорогими людьми.

Осчастливь мою дочь чудом неувяданья
Детских чувств и девичьей ее красоты,
Обложи ее данью извечных желаний —
Красоты доброты, доброты суеты...

Да, желаю, чтоб дочь, как и я, суетилась!
Да, хочу, чтобы стремилась, гордилась, рвалась!
А иначе зачем наша жизнь приключилась?
И к чему нам Твоя всемогущая власть?

Будь всемилостив, Господи мой Иисусе!
Не себе ведь прошу — за рабыню твою...
...Ах, как годы летят! Будто в тройке несусь я
И, в слезах умываясь, молитву творю...

1980 год

* * *

То печально суровы,
То прощально тихи,
Умирают любви.
Остаются стихи.

И они нам — как воздух,
И они — как вода,
Как уставшему отдых,
Как заблудшим звезда.

И дерутся до крови —
Беззаветно лихи, —
Защищая любви,
Умирают стихи.

ОДИН



ПРОЩАЛЬНОЕ

Я скоро растворюсь во мгле...
Прошу — хоть в этот час не лгите,
Что вы печалитесь по мне,
И нити лжи смелее рвите.

Пусть ясный день загородит
Мой белый парус уходящий:
Душа у нас не так болит,
Когда в разлуке мы незрячи.

И с первым проблеском зари
Подальше спрячьте души ваши.
Ах, люди! Вы — как глухари,
Самозабвенно пляшущие.

Скажите: «Жил, страдал, любил».
Чего ж ещё? На том спасибо.
Я ж среди вас «не-нашим» слыл.
А то, боюсь, ещё спасли бы...

А мне не в радость жизнь моя.
А вы — живите полной чашей,
Которая по-за-края
Слезой наполнена... не вашей.

И пойте песни — не свои.
А хоронить все ж приходите.
Но в эти тягостные дни
Меня жестоко не судите.

Я жил, как мог. И дай вам бог
Уйти из жизни с тихой песней,
В которой очень мало слов,
Но много Музыки и Чести...

Не видя дна — допьём вино!
Беды не ведая — пригубим
Чужую жизнь! Не всё ль равно,
Когда себя — и то не любим?

Пусть будет музыка! Вино
Пусть вас пьянит, как ваши речи.
Не лозунги и не венок
Пусть будут в комнате, а свечи.

И пусть их запах медовой
Напомнит вам, что вы — живые.
И над собой — не надо мной —
Склонитесь вы. «Аве, Мари-и-я!»...

Октябрь 1976 года

МЕЧТА

Есть у меня высокая мечта —
Упасть с земли Икаром в поднебесье,
Чтоб, заглянув в далекие лета,
Увидеть моих будущих ровесников.

И я ищу работу потрудней,
Иду туда, где бой, где боль, где вьюга,
Туда, где я сегодня всех нужней,
Где я найду себе любовь и друга.

Есть у меня нелёгкая мечта —
В лихом бою закрыть от пули друга
И с ним пройти сквозь адские врата.
И жизнь моя пусть будет в том порукой.

Есть у меня заветная мечта —
Суметь любить нежнее, чем Ромео.
Любовь моя, да будешь ты чиста!
А я клянусь отважным быть и смелым.

1960 год

* * *

Как ненавижу «плесень» я!
Так ненавижу — жуть!
Люблю я смех и песенё,
Люблю неровный путь.

Мне б: «Шашки вон!», оскал зубов
И звонкое «Ура!»,
Изломанную гневом бровь
И битву до утра.

Скакать, скакать, скакать, скакать
Вдогонку по врагу.
Всю жизнь искать, искать, искать —
Иначе не могу.

1961 год

* * *

Бреду задумчивый, мечтаю...
В мечтах никак не разберусь.
А в сердце тихая, святая,
Легла непрошенная грусть.

Осенний лес листвой пылает,
И в нём особенный уют,
А вдалеке гармонь рыдает,
И где-то девушки поют...

И я иду, не спотыкаясь,
Травинку горькую жую...
Нет, никогда я не покаюсь,
Что так люблю и так живу!

Хоть не был я ещё любимым
И сам пока что не любил,
А молодость проходит мимо,
А я гнезда себе не свил.

Мне по ночам (как будто в старость)
Приходят тягостные сны,
И в сердце горькая усталость,
В висках налёты седины.

И грустно я перебираю
Историю прошедших лет...
И чудится, что умираю,
И никакой отрады нет.

1956 год

ОСЕНЬ

Люблю я осень — лес печальный,
Тоску нескошенных полей,
Перед своим полетом дальним
Прощальный танец журавлей.

Люблю осенний воздух пряный,
Богатство красок и цветов,
Когда в восторге, словно пьяный,
Всех встречных я обнять готов.

Люблю, когда в листве шуршащей,
В тени берез, осин и лип
Увидишь вдруг такой дразнящий,
Задиристый, веселый гриб.

Люблю бродить с ружьем устало,
В лесу пугливо ночевать,
На зорьку встать с рассветом алым
И... никого не убивать.

1958 год

А ВДРУГ?..

А земля покуда так же крутится,
Хоть тебе и тридцать, милый друг...
Всё, что было, нет, не позабудется.
Ну а вдруг забудется? А вдруг?

Ты, любовь моя неугасимая,
Мне спасеньем верность твоих рук.
Не обманешь? Не уйдёшь, любимая?
Ну а вдруг обманешь? Ну а вдруг?

Вы, мои хулители отважные,
Поимённо помню вас, подлюг.
Но прощаю, злобных и продажных.
Вдруг вы стали добрыми? Ну — вдруг?

Те, кто мной зазря обижен, брошен был,
Встаньте вместе в неширокий круг,
Вспомните не злое, а хорошее...
Вдруг простите вы меня? А вдруг?..

Июнь 1966 года

НА СОБСТВЕННОЕ СОРОКАЛЕТИЕ

«Еще не вечер, нет — не вечер!» —
Твержу заветные слова.
А плечи... Тяжелеют плечи,
И серебрится голова.

Еще я не утратил пыла,
Живу как мот, пирую всласть,
Еще надежда не остыла,
Еще во мне бушует страсть...

А все же, все же — ах, как горько,
Как это больно замечать,
Что хочется порой под горку,
А не за ветром побежать.

Еще закат далеко рдеет,
Еще неведом мой предел...
Но круг моих друзей редет,
Уже заметно поредел.

Еще мой взгляд кого-то ранит,
И песня душу бередит.
Еще не вечер — слишком рано,
Но — полдень все же позади...

Июнь 1976 года

* * *

Опять по лесу Осень рыщет,
Срывает листья, травы мнёт.
Тебя ли ждёт, меня ли ищет,
Чтоб взять в свой общий хоровод?

Зажгла костры осин и манит
В свой круг, в свой грустный карнавал,
Где незаметно увядают
Те, кто своё оттанцевал.

Им, отмечтавшим, отлюбившим,
Отпевшим — так непросто жить.
О эта злая должность — «бывший»! —
Трудней ее не может быть.

Но я в твой круг не встану, Осень, —
Ещё я молод и хорош.
Пускай в висках густая проседь,
В душе — Весна и всходит рожь.

Не уроню свои колосья
Навстречу твоему жнивью.
Меня ты окружаешь, Осень,
Но не тобой, Весной живу.

Я разом упаду, стеною,
Зерно своё земле отдам,
И, может, дальнею порою
Оно проклюнет сквозь года...

Уж если я умру — так сильным,
Не жёлтым, а зелёным в дым.
Запомните меня красивым.
И невозможно молодым!..

1980 год

* * *

Ничего не могу,
Ничего не хочу,
Почему-то не лгу
И куда-то лечу.

Ни себя не понять,
Ни других отгадать.
С этих — нечего взять,
Этим — нечего дать.

Всё, что мог, — отлюбил,
Что имел — растерял.
Кем-то, помнится, был,
Что-то, кажется, знал.

Пламень мыслей и чувств
Не вернётся уже.
И от этого грусть
И смятение в душе.

МАМИНА СЛЕЗА

В моем саду печаль и снег...
Таких метелей не бывало сроду —
Кусты запуржены поверх,
Растерянно глядят из-под сугробов.

Метель метёт и день и ночь.
Я заперт в доме холодом и ветром.
Но мысль меня уносит прочь —
Назад, в былую даль и безответность.

Хочу спросить, кто был мой дед,
Каких кровей я и какого рода —
Молчанье... Никого уж нет.
И сам я у последнего порога.

Давно ли мать была жива...
Поговорить бы... Нет, как бес носился!..
Спросить бы: «Мама, как жила?»
Хотел, хотел спросить,
да не спросилось.

Да, этот снег — её слеза.
Оттуда, из небесного далёко
Мне душу жгут её глаза,
Её глаза — два горя одиноких...

Март 2006 года

* * *

Ужель была ты, молодость моя?
Лавины чувств и океаны страсти,
Мечтаний и наивности моря —
Ужель вы были — милые напасти?..

Я холодно смотрю вокруг себя —
Мне суть вещей доступна и понятна:
Всё — суета, живут и не любя.
Но понимать всё это мне отвратно.

Зачем мне знать, что мы — рабы судьбы?
Что, как ни тщись, не избежать могилы?
Что неизменен мир? Абсурд мольбы?
Всё станет прахом — серым и бескрылым...

Зачем мне знать, что мир непостижим?
Что от рожденья до прощальной тризны
Вся наша жизнь — болезненный режим?
А смерть есть исцеление от жизни?

А счастлив тот, кто верой ослеплён,
Кто опьянён любовью и в новинку
Проматывает жизнь, как патефон
Прокручивает старую пластинку...

Март 2006 года

Моему предателю

ПРО ИУДУ

В ту ночь все спали. Даже Бог.
А я томился в страшном гневе —
Понять не в силах, кто же мог
Меня предать, кто эта стерва?

И я взмолился и воззвал:
«В чем согрешил я, Боже правый?»
И Бог проснулся и сказал:
«Уймись! В предательстве нет правды.

У каждого в сей жизни есть
Свои мечты, обиды, злости:
Один несет к Голгофе крест,
Другие — молотки и гвозди...

Чужой не может изменить:
Где тайны нет, там нет и нерва.
Сдают свои. Им есть что мстить.
Ищи измену в круге первом.

Христы приходят в тыщи лет.
Иудам несть числа и края.
Христос — Мессия и Обет,
Иуда — должность меновая.

И знай: иудин поцелуй —
Тебе награда за мытарства.
Им был и будет тот холуй,
Кому ты подарил полцарства.

Спаситель — первый кандидат
На казнь. Неси свой Крест! В день Судный
Узнаешь ты: в раю — свой ад,
А средь апостолов — Иуды.

И душу ты себе не рви:
Ноль не предать; сдают великих.
Как жизнь прошел, так и живи.
Иуда ж проклят мной навеки».

Господь умолк. И я уснул.
Мне снились детство, мама, нивы,
Веселый деревенский гул...
Я, маленький, — такой счастливый.

Июль 2007 года

* * *

Не жалею, не зову, не плачу...
С. Есенин

И жалею, и зову, и плачу.
Все прошло. Я стал немолодым.
Увядаю. Жар души растрочен.
Жизнь скучна. Вокруг лишь тлен и дым.

Мою душу все больней и туже
Давит одиночества петля:
Средь людей я никому не нужен,
А собаки нету у меня.

Мое сердце холодно и пусто,
Словно космос из потухших звёзд.
Не взбудривть угаснувшие чувства —
Нету в них ни радости, ни грёз.

Всё теперь покорно я приемлю.
Вдаль меня не манят поезда.
Падаю, как падает на землю
В небе отгоревшая звезда.

4 марта 2006 года

* * *

Одинокость ума — беда,
Одинокость души — другая.
Я бегу от себя в хоть-куда,
И к себе самому прибегаю.

Надоел себе — просто жуть.
В одиночестве жить — не почесть.
Я кружу как по лесу: «А-у!..»
Из кустов ко мне — Одиночество...



* * *

Один встречаю дни и годы,
Один в дорогу выхожу,
Один вражду с непогодой,
Один в сырую даль гляжу.

Один — среди толпы бесплодной,
Один — и в ночь, и поутру,
Один — с подушкой холодной,
Один — засну, один — умру...



* * *

Мне не нужны заморские края,
Хоромы, золото, текущее рекою.
Мне дороги лишь родина моя,
Да сад, возвращённый милою рукою.

Ах, если было мне дано велеть,
Чтоб саду вечно цвести и вечно плодоносить,
Чтоб в гуще сада птицам вечно петь
И чтоб в наш сад не приходила Осень!..

Увы, всему на свете свой черёд,
Свой день и час всему на свете, всякой вещи.
Приходит, чуть пожив, уходит род...
И только смерть и перемены вечны.

Вот потому-то в сердце маята,
Вот отчего душа моя болит натужно,
Вот почему — всё тлен и суета,
Вот почему — мне ничего не нужно.

«Мне ничего не нужно!» — говорю.
А только б ясно видеть в просвет тучи узкий,
Как стая журавлей летит в зарю,
Уходит вдаль, курлыкая по-русски...

3 ноября 2007 года

* * *

Улетаю... Куда? Не пытайте:
Я не верю ни в рай и ни в ад.
Улетаю... Когда? Не знаю.
Улетают всегда невпопад.

Но однажды, когда крематорий
Небеса станет дымом коптить,
Вы не слушайте страшных историй —
Это друг мой мне дал закурить.

Затянулся я слишком, пожалуй,
Так, что вспыхнула грешная плоть,
Запылала последним пожаром,
Тем, который не надо бороться.

Всё, что было когда-то живое, —
Голос мой и взгляд мой, улыбка, —
Всё сгорает без криков и воя,
Превращается в пепел зыбкий.

Да и был на земле я и жил ли?
Вот какой очень страшный вопрос.
Что останется? Здесь — горстка пыли,
В небесах — Дух, парящий меж звёзд.

В беспредельных холодных пространствах
Станет он, бесприютный, блуждать,
Тосковать и стенать беспрестанно,
И тебя, невозможную, ждать.

Улетаю... А вы оставайтесь.
Не прощаюсь — и вам улечать.
Для утехи моей всё ж признайтесь,
Что вам будет меня не хватать...

Ноябрь 2010 года

* * *

А между нами километры,
А между нами злые ветры.
И хрупкий, как надежда, мост
Из напрасных пылких грёз...

И горы, горы, горы, горы...
Захлёбываюсь в гордом горе!
Я выбился совсем из сил.
Любимая, молю — спаси...



ДРУЗЬЯМ-ТОВАРИЩАМ



ДРУГУ

А я люблю, когда дожди,
Когда гроза и ветер с юга...
Когда ты знаешь — жди не жди,
А не дождёшься в гости
друга.

Ах, дождь! — небесная вода,
Ах, тучи! — божье покрывало...
Мой друг исчезнул в никуда,
А ведь заезживал бывало...

И были мы одной душой,
Лишь поделённой на две части.
Иль возгордился друже мой?
Иль у него так много счастья?

Вода небес, омой мой лик,
Пади потоком очищенья!..
С дерев в саду слетает лист,
Как с уст моих слова прощенья.

17 ноября 2007 года



Г. Кузнецову

* * *

Мы слов о дружбе много произносим.
Чего уж проще — словом наградить?
Но правду наших чувств мы глубже носим —
На самом доньшке своей груди.

Мне дружба не нужней, чем всем:
Прохлабать жизнь и в одиночку можно.
Но чем неотвратимей Осень,
Тем сердцу всё больней, тревожней.

Успех... Успех... Ещё успех...
А в сущности-то — что успел?
Уйдёшь — кто помянет тебя?
Жена и дети. Да друзья.

Жрут дружбу зависть, слава, злоба.
А честь, а совесть — где-то, где-то...
Посмотришь на иного жлоба —
Что дружба для него? Монета!

Мелкоразменный грош — копейка
Для купли званий и доверья.
Такой тебя тотчас предаст
Тому, кто малость больше даст.

...И я не раз был продан-предан.
Но в дружбу верую, как прежде...

Июнь 1975 года

Ю. Поройкову

* * *

Пересоздаться мы не сможем,
Нам жить, какими рождены.
А то, что мир наш косо сложен,
Так в этом нашей нет вины.

Условно бьём по вражьи́м точкам —
То перелёт, то недалёт.
И днём ненайденная строчка
Ночами спать нам не даёт.

Венками славы не увиты —
То не беда. Ведь знаешь ты:
Стихи, как тихая молитва,
Они не терпят суеты.

Пересоздаться мы не сможем.
Зачем? Мы крепко сложены.
Мы человеки лишь — не боги.
И в этом нашей нет вины.

1977 год

МОИМ СОРАТНИКАМ
(к 60-летию Московского гуманитарного университета)

Мы всё смогли!.. Не поступились Честью,
Не струсил, Отцов не позабыли.
И просто потому, что были ВМЕСТЕ,
Работали, надеялись, любили.

Мы — Пахари. И Сеятели тоже.
Мы — Кузнецы, Строители, Поэты.
Мы — Правдолюбы. Мы в конфликте с Ложью,
В союзе с Жизнью и в бою со Смертью.

Мы сможем всё, коль Клятвы не нарушим.
Мы все невзгоды вновь преодолеем,
Когда трудиться будут наши Души,
И станем мы не злее, а умнее.

Вперёд, друзья! Наш путь тернист и долог.
Веди, Звезда, дорогой светлой Нови!
Да охранит нас Божьей воли полог
В сени Надежды, Веры и Любви...

17 октября 2004 года

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПЕСНЯ

Нам жизнь на срок дана
Для подвигов и счастья.
Лихие времена
На нас в атаку мчатся.

Навстречу им вразнос
Летит моя Россия.
А есть ещё вопрос —
Как жизнь прожить красиво?

Припев:

Мой родной Институт,
Ты — мой первый редут.
Научи меня жить,
Петь,
любить
и дружить.
Ты — мой остров Мечты
И оплот Красоты,
Остров
Веры,
Любви
И Надежды.

Наш мрак — не на века,
Уже видна зарница,
И только дураки
Вновь могут заблудиться.

Чтоб заслужить Почёт,
Найти свое Призванье,
Пойдём к плечу плечо
В нелёгкий путь за знаньем.

Припев:
Мой родной Институт,
Ты — мой первый редут.
Научи меня жить,
Петь,
любить
и дружить.
Ты — мой остров Мечты
И оплот Красоты,
Остров
Веры,
Любви
И Надежды.

Бывает — веры нет,
Надежда уплывает...
В семнадцать наши лет
Чего лишь не бывает!..

Вода хоть и мутна,
А всё же чистой станет.
И ночь — как ни темна, —
А всё же день настанет!

Припев:
Мой родной Институт,
Ты — мой первый редут.
Научи меня жить,
Петь,
любить
и дружить.
Ты — мой остров Мечты
И оплот Красоты,
Остров
Веры,
Любви
И Надежды.

Июнь 1995 года

Ю. Поройкову

РАЗГОВОР С ДРУГОМ
(романс)

Мой друг, мы постарели навсегда с тобой,
И наши жёны не помолодели...
Но не погибли нежность и любовь,
И полон счастья наш семейный кров.

Припев:

Не торопи, мой друг, свои года —
Старее тот, кто перестал любить.
Не повторится молодость ничья,
Но не угаснет Верности свеча.

Мой друг, нам не к лицу с тобой гневить судьбу.
Уже большими стали наши дети.
Дай Боже им подняться в высоту,
Увидеть мир и жизни красоту.

Припев:

Не торопи, мой друг, свои года —
Старее тот, кто перестал любить.
Не повторится молодость ничья,
Но повторимся в детях ты и я.

Мой друг, мы молоды, хоть голова седа,
Хоть день за днём слабеют наши силы.
Беда не в том, что старость подошла,
А просто жаль, что молодость прошла.

Припев:

Не торопи, мой друг, свои года —
Старее тот, кто перестал дружить.
Не повторится молодость ничья,
Но вечно не стареют верные друзья.

Май 2006 года

НАША ЗВЕЗДА*

Наши судьбы в связке крепкой сплелись,
С Верой и Надеждой мы смотрим ввысь:
Здесь, над Вешняками, — звёзд череда,
И одна восходит — наша Звезда!

Припев:

Между будущим и прошлым,
Между подлостью и ложью
Восходит светлая Звезда!

Не прожить без дружбы в мире разлук.
Где б ни оказался мой лучший друг,
Путь ему укажет верный всегда
Наш маяк небесный — наша Звезда!

Припев:

Между будущим и прошлым,
Между подлостью и ложью
Укажет светлая Звезда!

Отгрохочут грозы, годы пройдут,
Но со мной навечно мой Институт.
Через расстояния и сквозь года
Пусть над ним сияет наша Звезда!

Припев:

Между будущим и прошлым,
Между подлостью и ложью
Сияет светлая Звезда!

* Гимн Московского гуманитарного университета. Музыка Марка Минкова.

Финал:
Знаком вечного союза
Пусть горит над нашим вузом,
Сияет светлая Звезда!

1996 год



ПАМЯТИ ДРУГА*

Когда бы урну с твоим прахом
Я не держал в своих руках,
Когда б душа не сжалась страхом
В тот миг в лефортовских лесах,

Я б не поверил (и не верю!),
Что ты ушёл и навсегда...
Но вот опять в твой день рожденья —
Опять горит твоя звезда.

Горит, горит и не погаснет —
Нетленной памятью горит.
Давай, как будто бы присядем,
Как будто бы — поговорим...

Мой друг, ну как там — в мире мёртвых
Твоей мятущейся душе?
Наш мир земной — тупой и чёрствый —
Не стал добрей и хорошей.

В стране всё та же непогода.
Столицей правит новый мэр —
Ларьки убрал из переходов.
Лужков? Простой миллиардер.

Опять названия меняем —
И так уж длится двадцать лет!..
Был «мент» — назвали полицаем.
Порядка не было и нет.

* Стихотворение посвящено памяти Владимира Борисовича Ломейко, моего старинного друга — блестящего учёного и публициста, выдающегося дипломата. В последние годы работал Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР, а затем Российской Федерации в Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), а также около восьми лет — Специальным помощником Генерального директора ЮНЕСКО Федерико Майора.

«ДАМ» путешествует по свету,
А «ВВП» — по городам.
И каждый вечер льют дуэтом
Елей на души дуракам.

«Жить станет лучше, веселее
В модернизирванной стране!»
И ждёт народ в убогих кельях...
Очнётся — как всегда в дерьме.

Но хватит о земном концерте!
Земные страсти — на десерт.
Теперь ты знаешь всё о смерти.
Скажи мне — что такое «смерть»?

Уход от болей и страданий?
От суеты и маяты?
От неизбежных увяданий?
От грёз бесцельных пустоты?

Что — вправду впереди блаженство?
Что — есть «тот свет», а в нём есть рай?
Молчи. Проверю непременно:
У жизни у моей — свой край...

Ты был мыслителем от Бога,
Всесветным человеком слыл,
Романтиком повыше Блока.
Господь грехи твои простил?

Ты жил и уходил красиво —
Загадкой гордой, как аскет.
Не звал на помощь, не фальшивил,
Не клял врагов и белый свет.

В загадке твоего ухода
Упрёк невысказанный есть.
Что сотворить тебе в угоду?
Ну, исхитрись, подай мне весть...

19 ноября 2010 года

МИНИАТЮРЫ



* * *

Жизнь моя!.. Бессонные ночи...
Жаркий пламень борьбы... И побед предвкушение...
Я люблю тебя вот такую — очень,
Благодарен тебе за возможность горения.

* * *

«В своём отечестве пророков не бывает».
Поверье эту истину хранит.
А на Руси пророков убивают.
И славят, не успев похоронить.

* * *

Смешон, кто размахался кулаками
В кромешной тьме, не видя свой кулак.
Не станешь умным, если дураками
Ты обзовёшь весь мир. Ты сам дурак.

* * *

В поднебесье парит орёл.
Я давно в высоте и рано.
Но ведь есть и другой ореол —
У подножия стадо баранов.

Там пастух, собаки и хлыст —
Ни ума, ни души не надо:
Попасут и спасут, будешь сыт.
А награда тебе — чувство стада...

* * *

Я снова побит. Что за жизнь?
Но так уж от века ведётся,
Что падает тот, кто бежит,
А тот, кто ползёт, не споткнётся.

* * *

Из истин, доступных издревле,
Не все и не сразу видны:
Лишь зависть не спит и не дремлет,
У зависти нет выходных.

* * *

Не обещай Великого — твори.
Нет малых дел. Есть маленькие люди,
Кто собирается лишь жить. Живи!
И трать себя! И результат прибудет.

* * *

Пониманье — начало согласия.
Мало — знать. Надо суть понимать.
Коль творишь, формулируй фантазии
Так, чтоб было **нельзя** не понять.

* * *

Кому Россию не понять?
Толпе безграмотной? Не диво,
Толпе неможно понимать,
Она — безумец коллективный.

* * *

Всё миру ведомо уже:
Кто познаёт, тот понимает,
В его испуганной душе
Надежды огонёк мерцает.

* * *

Бывают дни, когда в толпе безмозглой
Я лишь одним желанием горю —
Уединиться. В тишине промозглой
Я наконец свободен: я творю!

* * *

Я стараюсь смотреть веселей:
Всё ж лечу! Только вверх или вниз?..
На душе на гитарной моей
Струны лучшие оборвались.

* * *

Я — тень души. Мне нет преград во времени.
Я — сон и явь. Я всюду и нигде.
Я, словно бы по щучьему велению,
Из Осени лечу назад — к Весне.

* * *

Достоинство и честь храни
И не впадай в отчаянье,
С несправедливостью родни
Не спорь — храни молчание.

* * *

Орёл летает у вершин.
Один. Один! Всегда один!
Там холодно, и он голоден.
Но — в высоте! И он — свободен.

* * *

Я понял это не вчера...
Не говорите: «Нет добра
И добрых фей на свете
не бывает».
В момент такой
убавилось добра,
А где-то фея умирает.

* * *

И опять в декабре непогодится —
Слякоть, дождь, а мороза всё нет,
Но на то несмотря — новогодится,
К Рождеству всё ж уляжется снег.

* * *

Ах, где вы, годы молодые,
Моя наивность удалая?
Вчера грустил: «Виски седые»...
Сегодня — вся душа седая.

* * *

Огонь и вихрь, вода и прах —
Вот чем мы были и чем станем.
И всё же вера, а не страх,
Ведёт по жизни нас и манит.

* * *

Изначальной всего в этом мире — любовь.
Лишь любовь зачинает, творит, утешает.
Утихает любовь, разгорается вновь.
Плодоносит любовь и пределов не знает.

* * *

О любовь! Это вечный природы зов.
О любовь! Это сказка из дивных снов.
О любовь! Опьяненье души!
О любовь! Это капля небесной тиши.

* * *

Твое предназначение — любить.
Ты — песнь и торжество ликующего света.
Ты можешь оправдать или казнить,
Возвысить, бросить ниц — и не нести ответа.

Ты — жрица тьмы, хозяйка тайников,
Где кроется Любви божественная сила.
Ты без меча и стрел, без хитрых слов
Меня околдовала и заполонила.

* * *

Имена выражают природу вещей.
Христос сказал: «Я — Свет», «Я — сущий».
Твоё имя — из света хрустальный ручей.
Ты — мой ангел-хранитель, наш дом берегущий.

* * *

Усталый и измотанный
К тебе в Москву приеду я...
Приеду, не приеду ли,
Но я тебе поведаю

Про те дороги трудные,
Где километр длиною в день.
На сотни верст — ни хутора,
Ни деревень.
Лишь ночь и день.
Так — ночь и день...

Здесь, мною потревожена,
Ворчит тайга недобрая.
Здесь тропок не проложено
И хныкать не положено.

* * *

Здесь каждый день,
Как будто вечность.
И никаких надежд на встречу...
А ночью рык звериный будит...
Здесь звери злые, словно люди...

1965 год

* * *

И ливнями иссеченный,
Как саблями в бою,
Паду однажды вечером
Я в ржавую хвою...

* * *

Ужели вправду это было?
Ужели ты меня любила?
Не знаю, был ли я любим,
Но счастлив тем, что я любил.

* * *

Ну вот и стихла боль.
Унялись ветры.
Но где-то в глубине души
Болит занозой безответность.
И ум свой строгий суд вершит...

Всё было, как и быть должно.
Но, Боже мой, мой Боже:
Всё прошлое ископлено,
А я побит, низложен...

* * *

Нас разлучить уже ничто не сможет,
Но страх утраты надо мной витает:
Идём с тобой во тьме, по бездорожью,
А всё-таки, мне кажется, светает...

1966 год

* * *

Минувшего волшебное значенье
Я день за днём переживаю вновь —
И первый вальс, и первое влеченье,
И первый поцелуй, и первую любовь.

И буйной юности моей порывы,
Мечты и планы, пенившие кровь...
Но где они, прекрасные наивы?
О Жизнь! О Юность! О Надежды!
О Любовь!

* * *

То было прошлою зимою
При свете стеариновых свечей...
Благодарю, что Вы гордились мною.
Простите, если Вас обидел чем.

* * *

Ночь была морозной, небо было сине,
А луна меж облак чересчур светла.
Ноги твои белы, как снега России.
И любовь смущённо стороной прошла.

Замерла на лавке — голова в колени,
Затаилась молча и глядит на нас...
Разгорался в печке уголёк измены.
Ветер стукнул ставнем. Луч луны погас...

* * *

Прекрасный год.
Проклятый год
Испит одним коротким вздохом.
Всё шире перечень невзгод,
Всё уже горизонт восходов.

Но верь —
земная канитель
Затянется ещё надолго.
Об этом мне шепнула ель
У нашего порога

31 декабря 2005 года

* * *

И с кем, и где бы ни был я,
В краях чужих, далёких,
Укором мне глаза твои —
Два моря одиноких.

* * *

Любовь — неведомое «что-то»
Приходит к нам из «ниоткуда»
В союзе с богом или чёртом
Пустой подделкой в виде Чуда.

* * *

Он был мужчина ого-го,
Но доказать не мог того,
Не потому, что ум был птичий.
Как вам сказать? Из-за приличий.

* * *

Порою дар богов бывает карой...
Он был от счастья на десятом небе.
Их все считали идеальной парой.
Друзья мечтали: «Вот такую мне бы!..»

Она впадала в шок при виде мыши,
Увидев таракана, тихо выла.
И вдруг недавно (от кого я слышал?)
Она взяла и мужа отравила.

* * *

Бывает, говорящий лжёт,
Но чаще всё ж наоборот:
Молчат из подлости. И что ж?
Мысль утаённая есть ложь.

* * *

Мы наивный народ, а «верхи» — лицедеи...
Нас дурачат веками. Нам всё нипочём!
Не умеем мы жить, как никто не умеет.
Как никто терпеливы. Понять бы — зачем?

* * *

На Руси две беды: дураки и дороги.
Но главней всех беда — дураки «наверху».
Олигархи, министры и «слуги народа» —
Те, чьё рыло в пуху, имена — на слуху.

* * *

Очнись, народ! Встань на дыбы!
Куда бредёшь, пути не зная?
Пройди по краешку судьбы
У пропасти, о Русь Святая!

* * *

Все говорят, что жизнь — мгновенье:
Хватай своё и будь таков.
Но жизнь — она твоё творенье.
Мгновение — для дураков.
Ведь прожитые с вдохновеньем
Творений чудные мгновенья
Сложилась в череду веков.

* * *

О чём грущу я в День Победы,
Себя за слабость не кляня?..
В тот день, как в океан, все беды
Ручьями плачутся в меня.

* * *

О вечности учитесь размышлять,
Соотносить себя с огромным миром.
Старайтесь необъятное объять,
Хоть для себя, но стать кумиром.

Иначе не понять, зачем живёшь,
Иначе не постичь извечных истин:
Лишь только отдавая — обретёшь,
Лишь то нельзя найти, чего не ищешь.

* * *

За высотой — высота,
Но всё не та, но всё не та...
А та, к которой я стремлюсь,
Лежит за облаками.
Дойду ли?
Я ещё креплюсь —
Ведь я Мечтою ранен...
За высотой — высота...
О счастье! — всё ещё не та.

* * *

Вперёд, вперёд! Веди, Мечта!
Вперёд, упрямец страстный!
И снова странствий маета,
И — бой, и — день ненастный.

1967 год

* * *

Чужого горя не бывает —
Мир неделим.
Одно нас небо укрывает,
Когда мы спим,
Когда работаем, мечтаем,
Когда грустим,
Когда однажды понимаем —
Мир неделим.

Мир беззащитен и прекрасен,
Как детский смех...
Беда приходит вдруг и сразу
Одна на всех...

* * *

Пихты до неба доросшие,
Домик у самой реки.
Где-то мой брат на погосте там,
Где-то друзья — старики...

Вьюги, морозы крещенские,
Запах овчинный избы...
Пристань моя деревенская,
Я никого не забыл.

* * *

Без клятв, но с верою
Отправимся в дорогу,
Без слёз, но с нежностью
Покинем Отчий дом...

Всего лишь шаг один
С родимого порога —
И мы с тобой
Уже на Берегу другом...

* * *

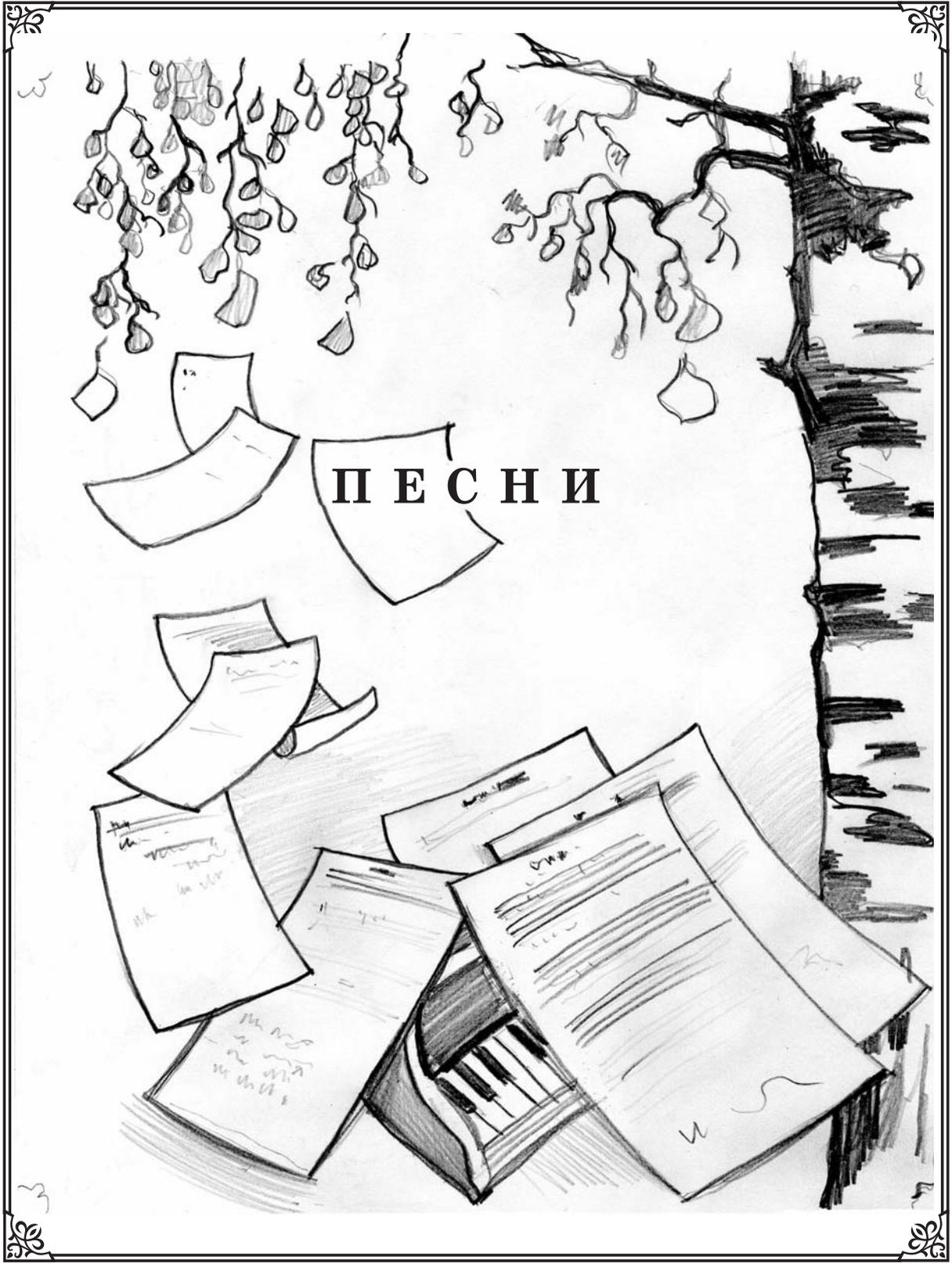
Да, я в челне.
Меня вода не тронет.
Как быть счастливым мне,
Когда народ мой тонет?

* * *

Уходящим в пучину «Варягом»
Сам себе иногда кажусь —
Задыхаюсь, хриплю от напряжения,
Погибаю, но не сдаюсь...

Высока волна, глубока вода,
И сильнее меня лютый враг.
Эх, пожить бы!.. Слышите?! — Никогда
Не спущу я свой гордый стяг.

30 сентября 2010 года



П Е С Н И



МУЗЫКУ НА СТИХИ И. ИЛЬИНСКОГО НАПИСАЛИ

— *Крылатов Евгений Павлович* — выдающийся российский композитор, народный артист РФ, лауреат Государственной премии, автор множества всенародно известных песен, в частности «Крылатые качели», «Прекрасное далёко», «Ольховая серёжка», «Лесной олень», «Три белых коня» и др.

— *Минков Марк Анатольевич* — выдающийся российский композитор, народный артист РФ, президент Российской гильдии композиторов кино, автор множества знаменитых песен, среди которых «Не отрекаются любя», «Ты на свете есть», «Летние дожди», «А знаешь, всё ещё будет», «Мой милый, если б не было войны» и др.

— *Шаинский Владимир Яковлевич* — выдающийся российский композитор, народный артист РФ, автор множества хитов, в том числе таких, как «Дрозды», «Берёза белая», «Уголок России», «Багульник», «Не плачь, девчонка», «Родительский дом», «Травы, травы» и др.

— *Мовсесян Георгий Викторович* — выдающийся российский композитор, народный артист РФ, автор множества шлягеров, среди которых «Проводы любви», «Мои года», «Мне доверена песня», «Родимая земля», «Ретро», «Останься, молодость» и др.

— *Иванов Олег Борисович* — выдающийся российский композитор, народный артист РФ, автор сотен песен, среди которых широко известные «Олеся», «Товарищ», «Талая вода», «А я лягу-прилягу» и др.

— *Юлия Подопригора (Юлиана Донская)*, чьи песни входят в репертуар Ф. Киркорова, К. Орбакайте, А. Малинина, И. Аллегровой.

— Композиторы *Станислав Коренблит, Игорь Евард*.

* * *

Читателям стоит знать, как получилось, что на одни и те же мои стихи музыку написали два композитора — Е. Крылатов и В. Шаинский.

Первым, кому я предложил текст «Не спрашивайте женщин о годах», был В. Шаинский. Но сочинённая им музыка показалась мне не совсем удачной для исполнения выдающейся русской эстрадной певицей Валентиной Толкуновой, с которой мы были дружны долгие годы и которой понравились эти мои стихи. Тогда я предложил их Е. Крылатову. Буквально через два дня он позвонил: «Я написал романс» и передал мне диск. Музыка понравилась В. Толкуновой и мне. Через несколько дней была готова фонограмма, и Валентина записала песню, на одной из телепередач сказала, что включает её в свой репертуар.

Но тут В. Шаинский прислал мне новый вариант мелодии, и он был, несомненно, хорош. Мы назвали эту песню «Костры любви», и её исполняет женский ансамбль «Бабье лето».

Буквально за несколько дней до того, как В. Толкунова ушла из жизни, я позвонил ей в больницу по «секретному» телефону. Мне казалось, она была полна энергии. Договорились, что как только она поправится, мы перезапишем песню в новой аранжировке с оркестром, и она станет её исполнять. Увы, нашим планам было не суждено сбыться, но диск с её ангельским голосом я храню как сокровище.

НЕ СПРАШИВАЙТЕ ЖЕНЩИН О ГОДАХ

Музыка Е. Крылатова

Agitato
mf Cm

Не спра - ши - вай - те жен - щин о - го -
дах о - ни в цве - ту, как сад, ког - да лю -
би - мы Лю - би - те боль - ше жиз - ни — и тог -
да их бе - ды и го - да об - хо - дят
ми - мо Кос - тры люб - ви по - жа - ра - ми го -
рят, то по - лы - ха - ют, то уг - ля - ми
тле - ют. И счаст - ли - вы, кто мно - го лет под -
ряд о - гонь люб - ви вдво - ем хра - нить у -
ме - ют Не

Проигрыш:

ме - ют

счаст - ли - вы, кто мно - го лет под - ряд о -

- гонь люб - ви вдво - ем хра - нить у - ме - ют. Не

спра - ши - вай - те жен - щин о - го - дах.

Chords: Cm, Fm7, Bb6/9, E6+7/9, A6+7, Fm6, A6/9, Cm/G, D7, G7, Cm, D7, G5+7, Cm.

КОСТРЫ ЛЮБВИ

Музыка В. Шаинского

Allegro moderato

Voce

Piano

mf

The first system of music consists of a vocal line and piano accompaniment. The vocal line is a single staff with a treble clef, a key signature of two flats (B-flat and E-flat), and a common time signature (C). It contains four measures of whole rests. The piano accompaniment is written for two staves (treble and bass clefs) and begins with a dynamic marking of *mf*. It features a rhythmic pattern of eighth notes in the right hand and chords in the left hand.

The second system continues the piano accompaniment from the first system. It consists of two staves (treble and bass clefs) and contains four measures of music. The right hand continues with eighth notes, while the left hand plays chords. The system concludes with a double bar line and a *Fine* marking.

Fine

mf

Не спра_ши_вай_те женщин о го_дах — о —

The third system introduces the vocal line with the lyrics "Не спра_ши_вай_те женщин о го_дах — о —". The vocal line is on a single staff with a treble clef. The piano accompaniment continues on two staves (treble and bass clefs) with a dynamic marking of *mf*. The piano part features a steady eighth-note accompaniment in the right hand and chords in the left hand.

— ни в цвегу как сад по_ка лю би_мы... Лю_би_те боль_ше жиз_ни — и тог_

The fourth system continues the vocal line with the lyrics "— ни в цвегу как сад по_ка лю би_мы... Лю_би_те боль_ше жиз_ни — и тог_". The vocal line is on a single staff with a treble clef. The piano accompaniment continues on two staves (treble and bass clefs). The system concludes with a double bar line.

- да их бе-ды и го-да об-хо-дят ми-мо. Кост -

- ры люб-ви по-жа-ра-ми го - рят. То по-лы - ха - ют, то уг-ля-ми

тле-ют... И сча-стли-вы, кто мно-го лет под - ряд о - гонь люб-

- ви вдво-ем хра - нить у - ме - ют.

Не спрашивайте женщин о годах —
Они в цвету, как сад, когда любимы.
Любите больше жизни — и тогда
Их беды и года обходят мимо.

Припев:

Костры любви пожарами горят,
То полыхают, то как угли тлеют.
И счастливы, кто много лет подряд
Огонь любви вдвоём хранить умеют.

Не обижайте женщин никогда —
Они нежны, как розы в час рассветный,
И веселы, и радостны всегда,
Пока их душу греет взгляд приветный.

Припев:

Костры любви пожарами горят,
То полыхают, то как угли тлеют.
И счастливы, кто много лет подряд
Огонь любви вдвоём хранить умеют.

Не спрашивайте женщин о годах —
Года не властны над Добром и Честью.
А женщина вовеки молода,
Как музыка, поэзия и песня.

Припев:

Костры любви пожарами горят,
То полыхают, то как угли тлеют.
И счастливы, кто много лет подряд
Огонь любви вдвоём хранить умеют.

ПЕЧАЛЬНЫЙ МАРТ

Музыка М. Минкова

Не скоро
Em *tr*

прос-ти, но я не ви-но - ват, что в на-шей жиз-ни ма - ло

све - та, как не ви - но - вен ме-сяц март в том,

что вес-на мо-ло-же ле - та. Не ви - но - ват, что в наш у -

ют вор - вал - ся ве - тер злой и вред - ный,

не ви - но - ват, что пре-да - ют ме - ня мо - и друзь - я и

вре - мя... Пусть пре-да - ют, пусть се - ти

вьют... Я по-гру - шу и всех про - шу.

Chords: C, Am7, Am6, H7/9, E4, Em, C, C/H, Am, Em/G, Em/F#, F#7, Am/H, H7, Em, Am7, C/D, D7, G4, G, Am, F#m7, C, C/H, A#7dim, F#7/A#, F#7, Am/H, H7, Am7, H7/A, E#7/G#, A, Am/F#, Em/H, H4, H7, Em

Прости, но я не виноват,
Что в нашей жизни мало света,
Как не виновен месяц март
В том, что весна моложе лета.

Не виноват, что в наш уют
Ворвался ветер злой и вредный,
Не виноват, что предают
Меня мои друзья и время.

Припев:

Пусть предадут,
Пусть сети вьют...
Я погрущу — и всех прощу.

Не виноват, что не постиг,
Зачем громим родные ульи,
Зачем рождаться, чтоб уйти,
Зачем живём среди безумья.

Не виноват, что в этот март
Я на год старше стал и хуже.
Я не устал ещё мечтать,
А горизонт всё уже, уже...

Припев:

Поверь, что в том не виноват
Никто — ни я,
Ни месяц март.

Поверь, любимая, поверь,
Что мы пройдем сквозь все ненастья,
Пройдем без страха и потерь,
И не угаснет наше счастье.
Лишь ты, прошу, не уставай:
Нелегко путь и мало света.
К закату март, и скоро май.
А там, глядишь, и снова лето!..

Припев:

Поверь, прошу!
Не уставай!
К закату март,
И скоро май!..

НАША ЗВЕЗДА

Музыка М. Минкова

Довольно скоро

Dm
mf



Наши судьбы в связке крепкой сплелись,
С Верой и Надеждой мы смотрим ввысь:
Здесь, над Вешняками, — звёзд череда,
И одна восходит — наша Звезда!

Припев:

Между будущим и прошлым,
Между подлостью и ложью
Восходит светлая Звезда!

Не прожить без дружбы в мире разлук.
Где б ни оказался мой лучший друг,
Путь ему укажет верный всегда
Наш маяк небесный — наша Звезда!

Припев:

Между будущим и прошлым,
Между подлостью и ложью
Укажет светлая Звезда!

Отгрохочут грозы, годы пройдут,
Но со мной навечно мой Институт.
Через расстояния и сквозь года
Пусть над ним сияет наша Звезда!

Припев:

Между будущим и прошлым,
Между подлостью и ложью
Сияет светлая Звезда!

Финал:

Знаком вечного союза
Пусть горит над нашим вузом,
Сияет светлая Звезда!

ПРОРВЁМСЯ, БРАТЦЫ!

Музыка Г. Мовсисяна

Подвижно

mf Cm G7

Над всей Рос - си - ей гре - мит гро - за -

Cm

ни зги, ни си - ни в мо - и гла - за.

C7 Fm

Лишь от - блеск мол - ний, ша - ка - лов вой

B⁷ E^b

и вра - жья саб - ля над го - ло - вой.

G7 Cm C7 Fm

Про - рвем - ся, брат - цы, не стра - шен черт!

B⁷ E^b

Не вре - мя клясться — черт у во - рот.

G7 C^b G9 C7 Fm

Со - бьем - ся друж - но в о - дин ку - лак —

Cm A^b7 G7

1. 2. 3.
Cm

пусть на - шу си - лу уз - на - ет враг.

G7 4. Cm

Не бу - дет враг.

Над всей Россией
Гремит гроза —
Ни зги, ни сини
В мои глаза.
Лишь отблеск молний,
Шакалов вой,
И вражья сабля
Над головой.

Припев:
Прорвемся, братцы,
Не страшен чёрт!
Не время клясться —
Чёрт у ворот.
Собьемся дружно
В один кулак —
Пусть нашу силу
Узнает враг.

Не будет счастья
Тебе и мне,
Пока несчастье
Во всей стране,
Пока иуды
Нас в Храм ведут,
Пока святыни
На части рвут.

Припев:
Прорвемся, братцы,
Не страшен чёрт!
Не станем клясться —
Чёрт у ворот.
Собьемся дружно
В один кулак —
Пусть нашу силу
Узнает враг.

Прорвемся, братцы!
Не страшен чёрт!
Ведь с нами — Святцы
И с нами — Бог.

ПРО ВОЙНУ

О. Иванов

Голос

Ф-п

mf

Что_бы взять вин_тов - ку,
Не у_бит, не ра - нен,

был я сли_шком мал. Что вой_на — во_ров_ка, я не по_ни_мал.
но бо_лит во мне, но - ет бес_пре_стан_но па_мять о вой_не.

%%

Что вой_на у_ро_ди_на, кро_шк_о_ю свин_ца пер_вым в нашем ро_де
Да_ли б мне винтов - ку, хо_ть и мал я был я б те_бя вой_на во_ровка

%%

ук_ра_дет от_ца. Я то_го не ве_дал... И не знал то_го
все_рав_но у_бил. В мерзлом Ле_нингра_де е_ла ле_бе_ду,

то, что э - та ведь - ма бра - та мо - е - го у - не - сят в моги - лу
 вы - жи - ла в бло - ка - де, о - до - лев бе - ду. Ста - ла вся се - да - я -

сле - дом за от - цом Вспом - нить не - ту си - лы ма - ми - но ли - цо
 дво - е на ру - ках. Как смог - ла — не зна - ю

1.

вы - ра - сти - ла нас... Был тог - да я кро - ха — что я сде - лать мог.

2.

Слышать пу_шек гро_хот, да сна_ря_дов вой. Было — и пу_гал — ся,

есть про_сил — не ныл. Был я ле_нин_град_цем, я в бло_ка_де жил.

(соло инструмент)

(соло инструмент)

Все бо-лит во мне па-мять о вой-не. Все бо-лит во мне

па - мять о вой - не

*) ноты в коде для соло инструмента

Чтобы взять винтовку,
Был я слишком мал,
Что война — воровка,
Я не понимал.

Что война-уродина
Крошкой свинца
Первым в нашем роде
Украдёт отца,

Я тогда не ведал...
И не знал того,
Что лихая ведьма
Брата моего

Унесёт в могилу
Следом за отцом.
Вспоминать нет силы
Мамино лицо...

В мёрзлом Ленинграде
Ела лебеду,
Выжила в блокаде,
Одолев беду.

Стала вся седая —
Трое на руках...
Как смогла, не знаю,
Вырастила птах.

Был тогда я кроха.
Что я сделать мог?
Слышать пушек грохот,
Да снарядов вой.

Плакал и пугался,
Есть просил и ныл.
Был я ленинградцем,
Я в блокаде жил.

Не убит, не ранен,
Но болит во мне,
Поет беспрестанно
Память о войне.

Дали б мне винтовку —
Хоть и мал я был —
Я б войну-воровку
Всё равно убил.

МОЛИТВА

Музыка С. Коренблита

Andante

P

Ах, как го - ды ле - тят! Буд - то в трой - ке не - сусь я...

Ах, как вер - сты мель - ка - ют Как ко - ни не - сунт!..

Ско - ро встре - ча с то - бо - ю, о Бо - же Ии - су - се,

ско - ро суд твой — все - выш - ний и пра - вед - ный суд.

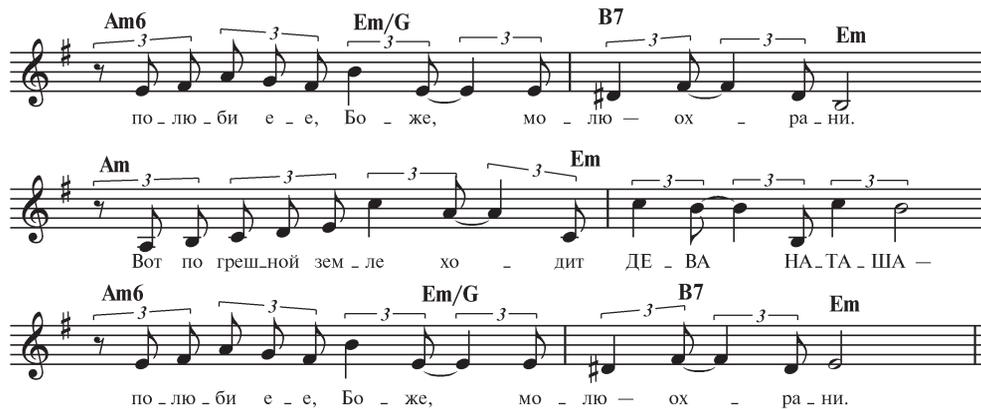
Ско - ро встре - ча с то - бо - ю, о Бо - же Ии - су - се,

ско - ро суд твой все - выш - ний и пра - вед - ный суд.

Ты поз - воль го - во - рить мне о де - тях о на - ших.

Тут я раб, тут я и - нок, Си - зи - фу сродни...

Вот по греш - ной зем - ле хо - дит ДЕ - ВА НА - ТА - ША —



по-лю-би-е-е, Бо-же, мо-лю-ох-ра-ни.

Вот по греш-ной зем-ле хо-дит ДЕ-ВА НА-ТА-ША —

по-лю-би-е-е, Бо-же, мо-лю-ох-ра-ни.

Ах, как годы летят! Будто в тройке несусь я...
 Ах, как версты мелькают! Как кони несут!
 Скоро встреча с тобою, о Боже Иисусе,
 Скоро суд твой — всевышний и праведный суд.

Каюсь — грешен. Во всем. Жить спешил неумело.
 Да и как на земле не спешить, не грешить?
 Ты мне скажешь: где правда, где ложь, а где смелость?
 Вся земля, Бог, из грязи. Стерильность — не жизнь.

Суета? Суетился. Гордыня? Гордился.
 Я ж сказал тебе: «Грешен». И будет о том.
 Ты спроси меня, Боже, на что ж я сгодился.
 И давай, Бог, о главном, да — о суетном.

О делах, Бог, давай, и о детях о наших.
 Тут я раб, тут я инок, Сизифу сродни...
 Вот по грешной земле ходит ДЕВА НАТАША —
 Возлюби ее, Боже, молю — охрани.

Сбереги мою дочь от недобрых напастей,
 Упаси ее, Боже, от злых языков.
 Дай ей счастья — негромкого долгого счастья.
 Хоть никто не был счастлив во веки веков...

Счастье — миг, разделяющий беды. И счастье —
В ожиданьи удач, в отхожденьи от бед.
Надели ее, Господи, счастьем участия
И прими непорочности сердца обет.

Я прошу не о том, чтоб жила без страданий:
Кто страданий не знал — тот и вовсе не жил.
Дай побольше ей счастья от долгих свиданий
После кратких разлук с дорогими людьми.

Будь всемилостив, Господи мой Иисусе!
Не себе ведь прошу — за рабыню твою...
...Ах, как годы летят! Будто в тройке несусь я
И, в слезах умываясь, молитву творю...

ВИНОВАТ

Музыка С. Коренблита

Moderato

mp Dm



Ви - но - ват... Во всем. На - всег - да По ви -

Dm

Gm



- не. Без - ви - ны. По до - гад - ке. Ви - но - ват, что у - но - сят - ся

Gm6

A7



на - ши го - да. Что люб - лю те - бя без ог - ляд - ки. Ви - но -

Gm

Gm6

A7



- ват, что у - но - сят - ся на - ши го - да, что лю - блю те - бя без ог -

D7



- ляд - ки. Что сбы - лось не так, как меч - та - лось. Что бо -

G

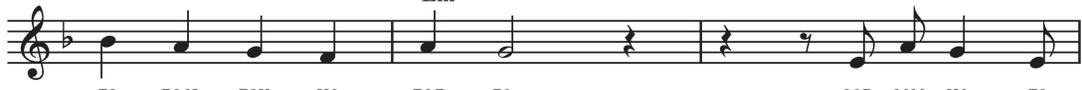
Gm

Dm/F



- лез - ни приш - ли рань - ше сро - ка Что лю - бить мне те - бя ос -

Em



- та - лось так не - дол - го, сов - сем не - да -

A7

Dm



- ле - ко... Ви - но - ват и ви - нюсь. Ты прос -

Dm



- ти. Ах, как хо - чет - ся жить, Бо - же пра - вый! У - ле -

- та - ют мо - и жу - рав - ли, у - ле - та - ют в за - кат кро -
 - ва - вый. У - ле - та - ют мо - и жу - рав - ли, у - ле -
 - та - ют в за - кат кро - ва - вый. Что сбы - лось не так, как меч -
 - та - лось. Что бо - лез - ни приш - ли рань - ше сро - ка. Что лю -
 - бить мне те - бя ос - та - лось не так дол - го, сов - сем не да - ле - ко...
 Ви - но - ваг...

Виноват... Во всём. Навсегда.
 По вине. Без вины. По догадке.
 Виноват, что уносятся наши года.
 Что люблю тебя без оглядки.

Что сбылось не так, как мечталось.
 Что болезни пришли раньше срока.
 Что любить мне тебя осталось
 Так недолго, совсем недалёко...

Виноват и винюсь. Ты прости.
 Ах, как хочется жить, боже правый!..
 Улетают мои журавли,
 Улетают в закат кровавый.

Виноват...

РАЗГОВОР С ДРУГОМ (романс)

Музыка Ю. Подопригоры

Moderato

tr Em
Мой друг, мы по - ста - ре - ли на - всег -

F#7 Am H7
- да с то - бой, и на - ши же - ны

Em E Am
не по - мо - ло - де - ли... Но не по -

H Em C Am
- гиб - ли неж - ность и лю - бовь, и по - лон счасть - я

A#ум H
наш се - мей - ный кров. Не то - ро -

Am H7 Em
- пи, мой друг сво - и го - да - ста - ре - ет

Am H7 Em E
тот, кто пе - ре - стал лю - бить Не пов - то

Am H7 Em
рить - ся мо - ло - дость ни - чья, но не у -

Am H7 Em
- гас - нет Вер - нос - ти све - ча.

Мой друг, мы постарели навсегда с тобой,
И наши жёны не помолодели...
Но не погибли нежность и любовь,
И полон счастья наш семейный кров.

Привет:

Не торопи, мой друг, свои года —
Стареет тот, кто перестал любить.
Не повторится молодость ничья,
Но не угаснет Верности свеча.

Мой друг, нам не к лицу с тобой гневить судьбу.
Уже большими стали наши дети.
Дай Боже им подняться в высоту,
Увидеть мир и жизни красоту.

Привет:

Не торопи, мой друг, свои года —
Стареет тот, кто перестал любить.
Не повторится молодость ничья,
Но повторимся в детях ты и я.

Мой друг, мы молоды, хоть голова седа,
Хоть день за днём слабеют наши силы.
Беда не в том, что старость подошла,
А просто жаль, что молодость прошла.

Привет:

Не торопи, мой друг, свои года —
Стареет тот, кто перестал дружить.
Не повторится молодость ничья,
Но вечно не стареют верные друзья.

МАМИНА СЛЕЗА

Музыка И. Еварда

Voce $\text{♩} = 64$

Violin *p*

Oboe *p*

Piano *p*

p 1

В мо - ем са - ду пе -

tr

- чаль и снег Та - ких ме - те - лей

p

не бы_ло сре_ду. Ку_сты расте_рян_но гля_дят из_под су_гро_бов,

2 *mf* Ме_тель ме_тет и день и

mp

mf

ночь. Я за_перт в до_ме хо_ло_дом и вет_ром. Но

мысль ме-ня у - но - сит прочь - на - зад, в бы-лу-ю даль и без-от -

- вет - ность. Хо - чу спро - сить, кто

mf 3

был мой - лед, ка - ких кро - вей и

и ка - ко - го ро - да — мол - чань - е... Ни - ко - го уж нет. И сам я у пос -

- лед - не - го по - ро - га. Дав - но - ли мать

бы - ла жи - ва... По - го - во - рить бы...

4

Нет, как бес но_сил_ся!.. Спро_сить бы: «Ма_ма, как жи_ла?» Хо_

- тел спро_сить, да не спро_си_лось.

5

The musical score is presented in three systems, each containing a vocal line and piano accompaniment. The first system begins with a dynamic marking of *f* and a measure number of 6. The second system continues the vocal line with the lyrics "снег ва - лит, ме - тель кру - жит, кус -" and includes a measure number of 7. The third system concludes the vocal line with the lyrics "- ты и дом мой с кры - шей за сы - па - ет... Да что там дом -" and features dynamic markings of *mf* and *f*. The piano accompaniment consists of chords and melodic lines in both hands, with a grand staff format. The score is enclosed in a decorative border with floral motifs in the corners.

всю мою жизнь из под небес я белым закрыва-

- ет.

8

9

f

Ах, снег, ты —

ма — ми — на сле — за. От — ту — да из не — бес — но — го вы —

10

ff

— со — ко мне ду — шу жгут е — е гла —

f *ff* *ff*

3 3 3 3 3 3 3 3

Музыкальный фрагмент с вокальной линией и фортепиано. Вокальная линия имеет текст: «за е - е гла_за - два го_ря о_ди - но - ких...». Музыкальная система включает вокальную партию, две партии фортепиано (верхнюю и нижнюю) и аккомпанемент. В аккомпанементе используются триоли.

11

Музыкальный фрагмент с фортепиано. Музыкальная система включает две партии фортепиано (верхнюю и нижнюю) и аккомпанемент. В аккомпанементе используются триоли. Динамика *ff*.

Музыкальный фрагмент с фортепиано. Музыкальная система включает две партии фортепиано (верхнюю и нижнюю) и аккомпанемент. В аккомпанементе используются триоли. Динамика *ff*.

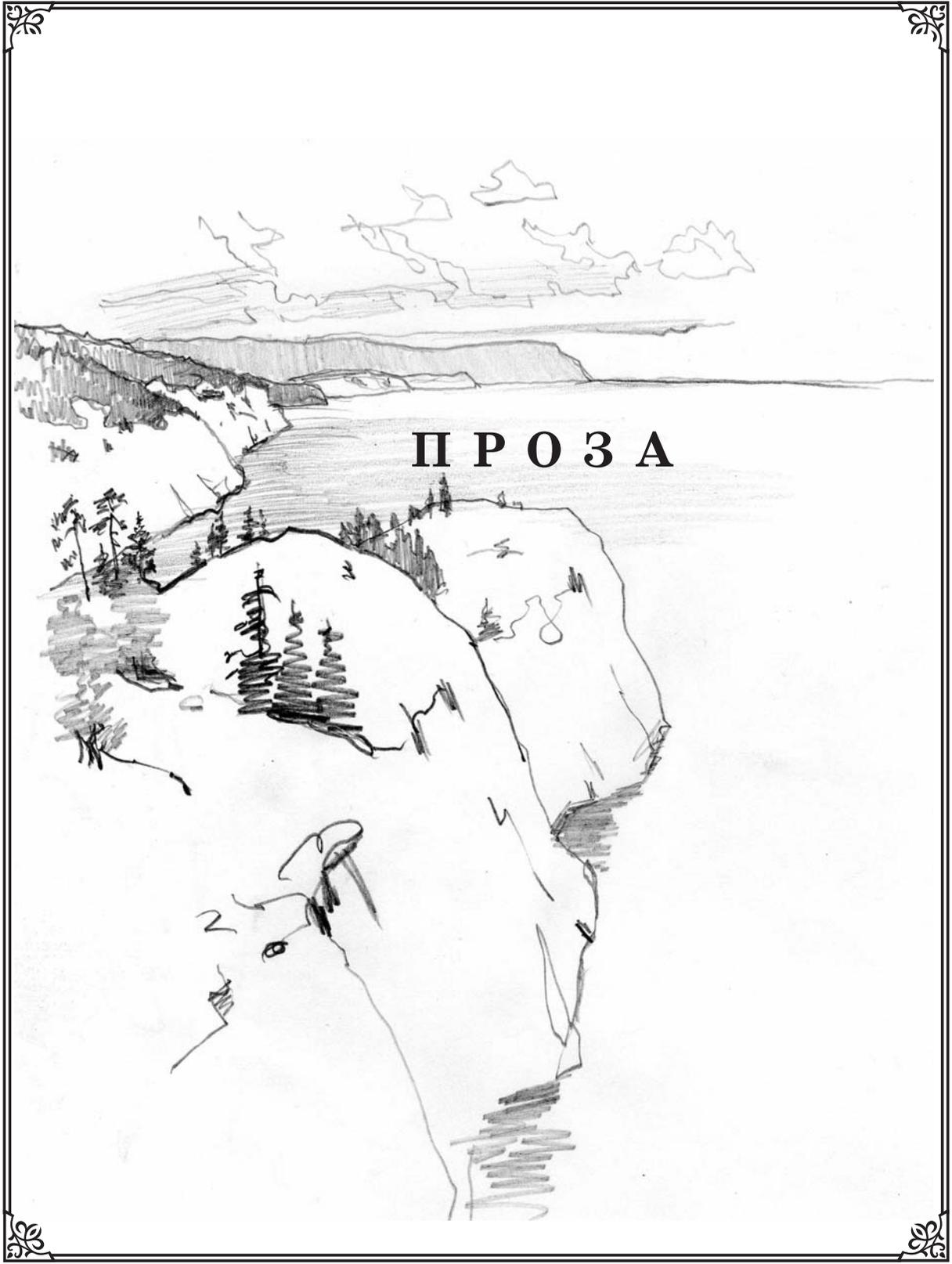
В моем саду печаль и снег...
Таких метелей не бывало сроду —
Кусты запуржены поверх,
Растерянно глядят из-под сугробов.

Метель метёт и день и ночь.
Я заперт в доме холодом и ветром.
Но мысль меня уносит прочь —
Назад, в былую даль и безответность.

Хочу спросить, кто был мой дед,
Каких кровей я и какого рода —
Молчанье... Никого уж нет.
И сам я у последнего порога.

Давно ли мать была жива...
Поговорить бы... Нет, как бес носился!..
Спросить бы: «Мама, как жила?»
Хотел, хотел спросить,
да не спросилось.

Да, этот снег — её слеза.
Оттуда, из небесного далёко
Мне душу жгут её глаза,
Её глаза — два горя одиноких...



ПРОЗА

ПРОШЛОЕ В НАСТОЯЩЕМ



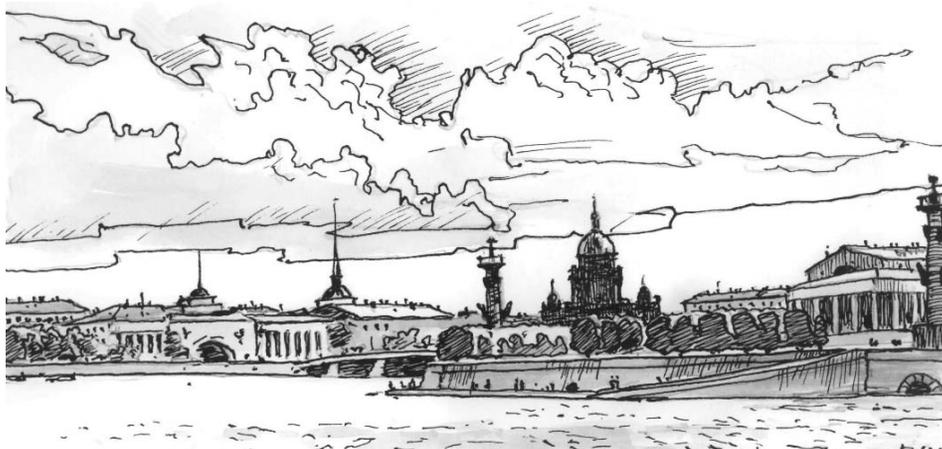
В этом разделе представлены два прозаических текста — главы из книги — о Василии Алексееве, одном из организаторов и руководителей комсомола первых лет советской власти (серия «Жизнь замечательных людей»), и повесть «Смятение» — прототипом главного героя которой стал секретарь Нижнеудинского горкома комсомола Иркутской области Василий Капустин (Илья Качанов), о нем я опубликовал очерк.

О Василии Алексееве я писал, опираясь на архивные источники и многочисленные публикации в центральной печати первых лет советской власти. С Василием Капустиным был знаком лично, и в этом смысле он, несомненно, факт-событие моей биографии. Скажу больше — оба они, мечтатели, идеалисты, подвижники, в той или иной мере оказали влияние на моё видение и понимание мира в пору собственного становления и определения своей жизненной позиции. Так уж сошлось, что эти два ярких человека с трагическими судьбами — и вошедший в летопись начальной истории страны, и скромный паренек из глухого сибирского захолустья в канун ее распада — оказались как бы на двух полюсах времени, а значит, и моей жизни тоже.

Сравни, читатель, то, о чем думали, о чем мечтали и за что боролись они, с тем, о чем думаешь и о чем мечтаешь сегодня ты сам, и ты многое узнаешь о самом себе и о своем настоящем.

Как бы строго мы сегодня ни оценивали прошлое — это была наша страна, и люди, строившие и защищавшие её, не должны быть забыты. В конечном счете и тогда, и сегодня высшей ценностью были и остаются духовная, нравственная сущность личности, ее способность противостоять обстоятельствам, ставить перед собой и достигать высокие цели. Спрос на таких людей был и будет всегда, ибо, как заметил А. Чехов, «подвижники нужны как солнце».

ЛЮБОВЬ И РЕВОЛЮЦИЯ (отрывки из историко-документальной повести)¹



Подвижники нужны как солнце. Составляя самый поэтический и жизнерадостный элемент общества, они возбуждают, утешают и облагораживают. Их личности — это живые документы, указывающие обществу, что кроме людей, ведущих спор об оптимизме и пессимизме, пишущих от скуки неважные повести, ненужные проекты и дешевые диссертации... есть еще люди иного порядка, люди подвига, веры и ясно осознанной цели.

А. П. Чехов

I.

Человек лежал на матрасе без движения. На нем были серые брюки, серого же цвета куртка с черными рукавами, серого сукна шапка с черным крестом наверху, огромного размера полусапоги. Был он смертельно бледен, дышал тяжело. Лоб, глаза, нос, щеки усыпаны крупными каплями пота.

¹ Ильинский И. Василий Алексеев / Игорь Ильинский. М. : Молодая гвардия, 1986. 350 с. (Серия биографий «Жизнь замечательных людей»).

Его привели под руки два солдата. Надзиратель бросил на пол матрац, одеяло, другие принадлежности, положенные арестанту.

— Потеснись, — сказал он Алексееву. — Свободных камер нету. А до карцера он тут сидел.

Солдаты уложили человека на матрац, и все трое ушли.

Куртка, брюки, сапоги и даже руки арестованного были испачканы испражнениями и оттого в камере установился тяжелый смрад.

Алексеев намочил под краном свою шапку и обмыл сначала лицо и руки лежащего, потом принялся за одежду.

Арестант открыл глаза и наблюдал за движениями Алексеева.

— Кто вы? — голос его был неожиданно силен.

— Василий Алексеев, рабочий.

— Политический?

— Да.

— Сколько сидите?

— Восьмой день.

— Новичок.

— Да не совсем. В прошлом году в «Крестах» три с лишним месяца отсидел. В общей камере.

— А я старый сиделец, — вдруг упавшим, тихим голосом проговорил арестант. — Двенадцать лет по тюрьмам кочую. Четыре уже сменил. Теперь вот в Питер попал. Гнали в «Кресты», да в «Предварилровку» угодил отчего-то.

Он изучающе посмотрел на Алексеева.

— Давно в партии?

— С двенадцатого года.

— Пять лет, значит. Для ваших лет это стаж. Годков-то сколько?

— Двадцать.

— А мне за сорок перевалило... Ну, давайте познакомимся. — Человек тяжело сел, протянул руку. — Усачев моя фамилия, Иван Петрович. Спасибо за уход. Тут карцер похлеще всех, какие в других тюрьмах. Везде холодище, а тут — рядом с машинной топкой находится. Жара жуткая. Это бы и хорошо, да параши нет, на двор не выводят. Все делаешь прямо на пол. Отсюда смрад и духота невыносимые, дышать невозможно. И темень кромешная, полнейшая. Чуть в сторону двинул — и в дерьме. Девять дней отбухал... Ничего, через пару деньков очухаюсь.

Но уже через час Усачев встал, сдвинул матрац под кровать к Алексееву и начал вышагивать по камере. Пять шагов вперед, пять назад, пять — вперед, пять — назад...

У Алексеева зарябило в глазах от его движений, он закрыл их. Усачев заметил это.

— Что — устал смотреть? И у меня колени дрожат. — Он кряхтя сел в ногах у Алексеева. Пот градом лил с его лица. — Вы запомните, юноша: в тюрьму сажают не для того, чтобы ты жил. Тюрьма убивает. Холод, голод, побои, карцер — все для этого. Но страшны не только они, а бездействие. Смерть начинается, когда дряхлеют мышцы, тело. Потом приходят всякие болезни — и конец. Вот потому и вышагиваю. Но болезнь тела — еще полбеда...

Усачев вдруг прервал мысль.

— А где сосед из тридцать восьмой? — спросил он у Алексеева.

— Это который справа? Вчера еще кашлял...

Усачев застучал в стену над Алексеевым, в тридцать шестую камеру. Ему тотчас ответили. Через некоторое время Усачев перестал стучать, умыл под краном лицо, руки. Снова сел в ногах у Алексеева.

— Знаете, кто в тридцать восьмой? Орлов. Был максималист, бомбы в генералов бросал, на эшафот шел, не дрогнув. И что же? Переродился в шапкоснимателя, в тихого и кроткого скота. На своих стал доносить, в «сучью камеру» поместили, где вместе с уголовниками и часть политических. Теперь вот от туберкулеза умирает, говорят, лежит без сознания. Идею потерял, а может, и не имел...

Усачев внимательно посмотрел на Алексеева.

— Вам интересно, что я говорю?.. Впрочем, я еще ничего не сказал. Хотите знать, что я думаю о жизни, о борьбе?

— Конечно. Только скажите, кто вы по убеждениям: большевик, кадет, эсер, меньшевик?..

Усачев устало улыбнулся. В черной его бороде сверкнули два ряда ослепительно белых зубов.

— Труднее вопроса быть не может. По природе — романтик и оптимист. По образованию — историк. По убеждениям — революционер. Знаю точно, что самодержавие надо свергнуть. Это главное. С какой партией идти? Это вопрос. Начинал, в общем-то, с ерунды — с романтики. Было просто жутко приятной жутью знать, что делаешь что-то опасное, хорошее для людей... Уже в тюрьмах стал понимать суть политических проблем. Нахватался от всех понемногу. Но все-таки сегодня я меньше меньшевик, скорее — большевик и уж никак не эсер и не кадет. Я последнее время Ленина изучал. «Материализм и эмпириокритицизм» одолели? Нет? Напрасно. Впрочем, все это не главное.

Я сказал: тюрьма убивает. Про народовольцев слышали? Знаете, кто они? То-то. Могучие были люди. Но Шлиссельбург убил большинство из них. Умерли Малавский, Исаев, Буцевич, Иванов, Варынский, Долгушин и еще несколько человек, всех не помню... Расстреляны за протест Минаков и Мышкин. Повесился Клименко. Сжег себя Грачевский. Сошли с ума Ювачев, Щедрин, Конашевич. Зарезалась Софья Гинзбург...

Так вот, выживают в тюрьме те, кто пришел в революцию по идее. И эта идея должна сидеть в сердце и в голове так глубоко, чтобы вышибить ее из головы, только отрубив голову. Человек, у которого есть идея, невероятно живуч...

Алексеев слушал Усачева и радовался тому, что кончилось его одиночество. Уже поутихли боли в животе — кормили не сытно, однако каждый день трижды открывалась «форточка» и подавали еду. Никто не заходил и никуда его не звал. Об Алексееве словно забыли. И вот приятное неудобство — теперь в одиночке их двое.

— Иван Петрович, а за что вас в карцер упекли? — прервал он Усачева невпопад.

— В карцер? Смешно говорить, решил защитить Орлова. Ведь мы когда-то по одному «делу» проходили, были знакомы. Жалко стало, хоть и не виделись с процесса. Стал требовать, чтобы перевели в больницу, надерзил начальнику тюрьмы...

— Вы же сказали — Орлов предатель.

— Верно. Но человек. И имеет право на человеческое обращение. Тем более, будучи больным. Наговорил я тогда всякого... Зря, наверное. Но ведь свобода не только за тюремной стеной. За свободу и в тюрьме бороться надо. И что труднее всего — борьба внутри самого себя. Я там, в карцере, когда дышал этой вонью, тоже думал: зачем полез? Но ведь я не только Орлова, и себя, и других защищал. К тому же, забыл сказать, Орлов вскоре проклял себя за малодушие, на инспектора однажды бросился с кулаками. Человек имеет право на ошибку, а если понял ее, то и на прощение...

— Не согласен, — возразил Алексеев. — Так рассуждать, так любую подлость оправдать можно. Должно быть так: хороший человек — так хороший, а гадина — так гадина. И, стало быть, получай, что заслужил.

— Сердечный мой друг по камере, вот это тоже максимализм. Я этой болезнью уже переболел. С годами и вы от нее избавитесь. Особенно, если годик-другой в тюрьме отсидеть придется. Тут ведь каждый день встаешь и думаешь не о том, *что* будешь делать ты — у тебя дела нет, а *что* с тобой будут делать. Дадут по морде, обзовут, бросят в карцер или еще что... Тут каждый день есть поводы размышлять о том, зачем жить, надо ли жить, а если жить, то как жить...

Усачев тяжело вздохнул, помолчал. Продолжал, закрыв глаза:

— Жизнь тюремная — дело страшное. Здесь пропадают цели-действия и остаются по сути дела лишь цели-ожидания, цели-мечты. Ожидание, когда разрешат написать родным, и ожидание известия от них... Да, конечно, мы читаем книги, изучаем языки, даже в шахматы играем, если они есть, а нет — так по тюремной азбуке. Но если б вы знали, друг мой, как это непросто, как убийственно трудно — читать только то, что

дадут из того, что есть в тюремной библиотеке; читать без цели, без ясного понимания, зачем читаешь, без надежды к чему-нибудь приложить свои знания. И все же читаешь, пишешь. А душа просит действия, а мысли крутятся все по одному кругу, а мечты все об одном и том же. Годами скорбеть одними и теми же скорбями, думать одними и теми же думами, вызывать из глубин памяти смутные образы родных, друзей и товарищей по борьбе...

Выжить — вот первая цель узника. И тут так легко потерять личность, если сделать выживание смыслом жизни. Конец, тогда совсем конец!.. Ты помимо воли начинаешь размениваться на мелочи. Выспался — радость. Поел — радость. Выкурил папироску — радость. Без труда оправился — радость. И так без конца и каждый день, и годы...

А где взять мотивы заниматься ежедневно физическими упражнениями по системе Мюллера? Ежедневно читать, ежедневно писать, думать. Где? Вне тебя нет ничего, что бы заставляло делать это. Здесь все задумано так, чтобы убить в тебе эти свойства. Так где же этот стимул? И я опять оговорю: он в тебе самом, внутри тебя. Этот стимул — идея, которой ты служишь. Она должна жить постоянно в твоём уме, в твоей душе, в твоём сердце. Идея — мотор и топливо жизни человеческой. Есть идея — есть цель, а есть цель — значит, есть и смысл жизни, есть ради чего жить.

Теперь скажите мне, разве все, что я говорил, справедливо лишь для жизни тюремной? Разве не являются узниками миллионы темных, неграмотных людей, которые могут идти, куда хотят, делать, что хотят, но которые ничего не желают, кроме как получше поесть, да получить побольше удовольствий преимущественно животного порядка? Вот и выходит, что тюрьмой может стать целая страна, если в ней нет свободы, простора передовым идеям, если люди, несущие эти идеи, подвергаются осмеянию, гноятся в казематах, если их казнят.

И выходит, мой молодой друг, что именно нам, тем, кто хранит и раздувает огонь революции, выпала труднейшая доля. Святая доля: вспыхнуть — и погаснуть, осветить великую идею Революции. Вот почему все топоры, отточенные самодержавием, — для наших шей, все пули отлиты для нас. Мы — первые. Это прекрасно.

И если ты вступил на общественное поприще, на путь служения Революции, ты не можешь быть просто человеком. Страдания, боль? Подави, убей их — ты больше, чем человек, ты Революционер, ты господин своего «я». Смерть ради Революции, ради других? Умри, не задумываясь: ты меньше, чем человек, ты слуга этих «других», и смерть ради них для тебя не горе, не потеря, не беда, а радость, счастье, победа! Ты служишь народу... Твое «я» просто невидимо, растворяется в массе, сливается с ней.

Усачев снова встал, взволнованно ходил по камере, размахивая руками. Лицо его покраснелось и сияло, голос рокотал с перекатами от самых высоких до самых низких нот, когда он порой уже и не говорил, а шептал. Он был прекрасен — огромного роста, с черными взлохмаченными волосами и ослепительной улыбкой. И трудно было даже представить, что два, ну, может, три часа назад именно этот человек лежал полумертвый.

— Вам приходилось нырять в море, видеть морское дно? Из чего оно состоит? Из камня. А камни из чего? Из бесчисленного множества неразличимых невооруженным глазом организмов, которые содержатся в воде и которые, оседая, образуют могучие пласты, целые горы, составляющие то, что мы именуем морским дном. Что делать — нам суждено осесть на дно и составить его невидимо малую часть. Когда-то, может, через десять или двадцать лет случится революция...

— Что, что вы сказали? Через двадцать лет? — перебил Алексеев Усачева. — Что вы! Гораздо раньше. Через два, ну, может, через три года. И мы еще встретимся при новом общественном строе, это точно.

Усачев рассмеялся добродушно.

— Когда я попал в тюрьму, мне тоже казалось, что вот-вот грянет революция. И мы радостные пойдем с народом в светлое завтра. Увы... Скоро состарюсь, а революция что-то задерживается. Впрочем, времена сейчас иные. Я не утомил вас? Говорю и говорю. Намолчался. Было время, в юности, я все слушал. Теперь хочется говорить. Значит, в самом деле, старею... Иногда я даже побаиваюсь того дня, когда меня освободят. Не верите? Сам удивляюсь, но факт.

У человека, двенадцать лет кочующего по тюрьмам, живущего оторванной от общества жизнью, мыслями и волей преодолевшего страх перед земными муками и даже смертью, рождается... Что вы думали? Ну? Не догадаться. Страх перед жизнью. Перед той огромной, бурлящей и уже неведомой жизнью, где кипят страсти настоящие, всего общества. Понимаете? Всего, а не кучки отвергнутых и забытых, хоть и сильных душой людей. Перед новыми идеями, которые мы еще плохо усвоили. Перед новыми, молодыми, как вы, людьми. Сохранили ли вы наш дух? Кто мы для вас — отцы или... Понимаете? Кто вы для нас — сыны или?.. Примете нас, когда выйдем на волю? Нужны мы вам, нужны революции, есть для нас дело? Иначе: стоит ли выходить на волю, бороться здесь за то, чтобы жить, или лучше умереть? Вот, по-моему, главное сейчас...

Усачев замолчал. Алексеев почувствовал, что не все еще сказано. Все лицо Усачева дышало волнением. Пальцы своих больших рук он сжимал в кулаки и разжимал, стараясь овладеть собой. Заговорил:

— Вот брось сейчас меня посреди реки — и я могу утонуть: двенадцать лет не плавал. Наверное, разучился? А плыть — хочешь не хочешь — надо, если знаешь, что стоит. Через год мой срок кончится. Предстоит

жить, но на какую почву встать? Ведь двенадцать лет день за днем и год за годом она уходила из-под ног, а вместо нее появлялась новая — почва тюремной жизни, в которой я все умею. Когда ты исключен из жизни, она становится загадочной, сложной, пугающе-таинственной. Хочется заглянуть вперед — и страшно, все — туман...

Усачев говорил, а Алексеев слушал, размышлял, многому удивлялся, и хотя порой у него появлялось желание возразить, ибо не все, что говорил Усачев, он принимал, но молчал.

Несколько раз заглядывал то в «волчок», то в «форточку» надзиратель, но Усачев и Алексеев даже не замечали его.

Иван Усачев философствовал, мечтал, объяснял себе, примеривался к будущему: ему было трудно вспоминать — слишком долго убивал он в себе прошлое, все, что вызывало боль — думы о матери, теперь уже умершей, о жене, вышедшей замуж за другого, о друзьях, ставших по преимуществу добропорядочными слугами властвующего монарха. Он долго убивал в себе память, убивал и убил. Осталось настоящее, которое было похоже на жизнь, но было ли жизнью, он и сам не знал. Остались идеи, мечты, надежды... Из такого настоящего было трудно, порой просто невозможно представить будущее в картинах живых и реальных, оно виделось сплошь из слов и теорий, плакатно-лубочным, но невозможно красивым, именно таким, ради которого стоило бороться и страдать.

Алексеев, не остывший еще от митингов и забастовок, от речей и дружеских объятий, был здесь, в камере, в мыслях и бедах Усачева, и в то же время — там, на улицах Петрограда, в классовых схватках, в борьбе. Он не по рассказам, книгам и газетам знал, что сейчас творится в городе, знал, что вот-вот рванет пламя до самых небес и разнесет в куски все ненавистное, что возводилось кирпич к кирпичу сотни лет: и эту тюрьму, и эту камеру. Тогда он приведет Усачева к своим друзьям...

Но тут за стеной, где лежал Орлов и где целые сутки стояла тишина, снова раздался глухой, приглушенный стеною кашель. Нет, не кашель, а долгий и жуткий стон, скорее — крик... Тишина — и снова крик. Так пять минут, больше... Усачев с Алексеевым замерли. Было ясно: человек расстается с жизнью, расстается трудно...

Вскоре крики оборвались.

А еще через несколько минут ни с того ни с сего вошел надзиратель и равнодушно сказал:

— Помёр тридцать восьмой. Беркулез...

И вышел.

Все остальное произошло, казалось, в одно мгновение...

Усачев некоторое время сидел оцепенело, молча. Потом сказал:

— Нет, так нельзя... Он был революционер. Его убили. Люди должны знать... Прошу вас, — обратился он к Алексееву, — поддержите меня

минутку, я скажу речь... Встаньте вот так... — Усачев прислонился к стене, уперся руками в свои колени. — А я на спину...

Несколько секунд — и он взгромоздился па Алексеева, ухватился за решетку оконца под потолком, ударом кулака вышиб матовое стекло, закричал:

— Товарищи! Друзья! Слушайте!.. В тридцать восьмой камере только что умер политический Орлов... Он страдал в тюрьмах двенадцать лет. Его мучили — и он был сломлен. Но лишь на момент. Он снова встал в ряды борцов, и тогда его заморили, заморозили... Его убили!.. В этот час...

Но Алексеев уже не слышал, что говорил Усачев. В камеру влетели три надзирателя. Один из них выдернул Алексеева из-под ног Усачева, и тот всем весом своего громадного тела закинулся навзничь со всей высоты, на которой находился, грохнулся головой о каменный пол, несколько раз дернулся и затих. Из его ушей, из носа, изо рта побежали струйки крови...

Надзиратели заколготились около тела Усачева, зашептались. Потом один куда-то убежал, вернулся с рогожей. Усачева завернули в нее и тихо, по-воровски унесли.

Алексеев же сидел на полу в углу и никак не мог понять, что случившееся — правда, а не сон. Ивана Усачева больше нет!.. Человека, который еще несколько минут назад говорил, мечтал, смеялся, думал о будущем, — нет... Осталась только лужица крови посреди камеры. Сейчас вернется надзиратель, замочит ее, мокрое пятно высохнет, и никто не узнает о том, какая трагедия разыгралась в этой тесной камерке...

Стучат слева, сверху... Хотят спросить о чем-то... Но как ответить? Был шанс в прошлом феврале, в «Крестах» обучиться тюремной азбуке, да прошляпил.

Алексеев встал на раковину умывальника, подпрыгнул, ухватился за металлический переплет оконца, подтянулся к нему по скошенному подоконнику и выглянул. Перед ним прямо, слева, справа и вверх было видно одно и то же — серые стены со множеством, будто пчелиные соты, крошечных окошек, тускло блестевших в угасавшем вечернем свете своими матовыми бельмами. Внизу, в квадратном дворе, на его середине, стояла толпа арестантов, которых куда-то пытались угнать несколько надзирателей, но узники сопротивлялись. Их лица были обращены в сторону Алексеева. И тогда он закричал:

— Товарищи! С вами только что говорил большевик Иван Петрович Усачев... Его уже нет, он убит... Убит надзирателями!.. Так не может больше продолжаться! Мы должны бороться, протестовать. Призываю...

Снова вбежали те же надзиратели и с ними толстый офицер, легко, будто налипший осенний лист, оторвали Алексеева от решетки, зажали рот.

— В карцер! — скомандовал офицер.

Алексеева снова повели вниз по знакомым балконам, лестницам, коридорам. Надзиратель, напрягаясь, открыл тяжелую, будто в банковском сейфе, дверь карцера. Алексеев получил несильный подзатыльник, широко шагнул в темноту — и дверь затворилась.

Вот это и была темнота, о которой рассказывал Усачев — полная, крошечная. Что впереди, что справа, слева? Не видно. Смрад стоял, будто в выгребной яме. В животе начались спазмы... Алексеева стошнило, потом еще, еще, выворачивало наизнанку. Обессиленный, он прислонился к двери, не решаясь присесть. Жарко, душно... Он чувствовал, что ему не хватает воздуха, что он начинает задыхаться...

Алексеев стоял час, другой, третий... Деревенели ноги, мутилось сознание. Тревога, беспокойство вдруг начали овладевать им, вытесняя и те смутные мысли, которые еще роились в голове, о только что происшедшем там, наверху. Отчего? Что случилось? Но дело как раз было в том, что здесь ничего не случилось, не происходило ничего, здесь была абсолютная тишина, полное беззвучие. Алексееву вдруг показалось, что он слышит, как металлически постукивают одна о другую мысли в его голове, что он слышит, как думает. Тишина молчала, таила, внушала, грозила, пугала, заставляла чего-то ждать, прислушиваться к прерывающим ее почти неслышным полужвукам, читать их...

Что-то едва слышимо зашипело справа. Змея? Алексеев вздрогнул, напрягся. Но нет, это чуть прошуршала вода в отопительной трубе.

Вот прошелестел потусторонний, подавленный звук. Стон? Кого-то душат? Кто-то просит о помощи? Кто? Где?.. Да нет же, нет, это он сам, Алексеев, вздохнул, а может, хотел вздохнуть.

Тишина... Тишина проникала в душу, в тело, прикасалась к нервам, и нервы болели, ныли. То была не та тишина, в которой отдыхают живые, то была казнящая, мертвящая тишина...

Алексеев не вынес, загрохотал кулаком, потом ногой в дверь. Стучать пришлось долго. И грохот, который он сам создал, успокоил его. Когда пришел наконец надзиратель, Алексеев сказал, что он объявляет голодовку.

II.

Не верилось, что в сером, замызганном, заплеванном, сплошь состоящем из несчастий здании «Предварилочки» может быть такой роскошный кабинет. Вся его обстановка находилась в вопиющем контрасте с грубыми стенами коридоров и камер, уродливыми решетками на окнах, гремучими металлическими лестницами, намазанными, чтоб не

ржавели, какой-то вонючей смазкой; с мрачными, заросшими бородами и щетиной лицами надзирателей, их заношенной солдатской одеждой, пропахшей махоркой и потом. Здесь, в просторном кабинете, все: от стен, обитых шелком, от орехового дерева стола, кресел и дивана с желтыми атласными спинками, от золотистых персидских ковров на полу, от огромных картин, полных солнца и света, от широких, в две степы окон — от всей обстановки до самого хозяина, — высокого, седовласого, лет сорока пяти ротмистра, одетого с иголки, при орденских лентах, с сигарой, — все здесь словно должно было сказать вошедшему, что в мире есть не только боли, страдания и серое тюремное бытие, но и жизнь совсем иная, иных форм, другой внешности, других запахов...

Ротмистр держал в руках дело Алексева, лениво листал страницы и неожиданно подумал: «С какой стати я собрался «потрошить» этого сопляка? Не того полета птица, не для меня. И вообще: зачем я приехал сюда? Странно, очень странно».

В самом деле, сегодня никаких забот у инспектора Петроградского охранного отделения Министерства внутренних дел России Владимира Григорьевича Иванова в «Предварилровке» не было, хотя в связи с различными политическими делами бывал он здесь частенько. Просто вдруг решил поехать — и поехал. Почему «вдруг»? И не куда-нибудь, а в тюрьму — веселенькое место! От срочных дел уехал — почему? Впрочем, что за тайна от самого себя?..

Стала рушиться вера... Не в бога, нет — в него Иванов никогда не верил, хоть был крещен и в церковь хаживал регулярно. Но царь, но Отечество... И вот царь-то, именно царь, о котором ему было также известно много такого, чего лучше бы и не знать, царь, которому присягал на верность, этот царь стал мало-помалу испаряться из души и на месте, которое он прежде занимал, — свое и богово — образовалась пустота. Там поселилось и все росло сосущее душу беспокойство...

Всю свою жизнь Иванов отдал политическому сыску, по служебной надобности, из любопытства и интереса, с которым нес свои обязанности, изучал историю политической мысли в России и в Европе, историю бунтов и революций. О Разине, Пугачеве, декабристах, нечаевцах, петрашевцах, долгушинцах, народовольцах, о социалистах и анархистах знал не по слухам, а по архивам Третьего отделения, по доверительным рассказам прокуроров и судей, по документам, на которых монаршей рукой означенные, стояли надписи, ставящие точки в судьбах и жизнях.

Иванов слыл одним из наиболее способных жандармских офицеров, в феврале 1914 года из московской охранки был переведен в петербургскую и получил сверхсекретное задание: «вести» Романа Малиновского — члена ЦК партии большевиков, депутата IV Государственной думы от рабочей курии Московской губернии, куда он был избран с помо-

щью... охраны. Да, Роман Малиновский был провокатором, дьявольским «изобретением» московской охраны и одного из руководителей департамента полиции С. П. Белецкого, которые с января 1912 года создавали «специальные условия» для продвижения Малиновского в руководство большевистской партии. Рискованный, отчаянный план, но — удался. Малиновский свою ежемесячную зарплату в 500 рублей «отрабатывал» добросовестно: предавал, предавал, предавал. Ах, если бы не этот сверхлиберал Джунковский!.. И кто бы мог подумать: товарищ (заместитель) министра внутренних дел и шеф жандармов, генерал-майор жандармерии — и на тебе! — этакий чистоплюй. Его, видите ли, коробит, ему, понимаете ли, кажется, что нельзя работать такими «грязными» методами, содержать платного агента в Думе. И вот итог: они с полковником Поповым, начальником Петроградского охранного отделения, на секретной квартире вручили Малиновскому «выходное пособие» (шесть тысяч рублей) и выпихнули куда подальше с рассерженных глаз высокого покровителя искусств. Куда? Да хотя бы в Австро-Венгрию. Такое дело сорвалось, прямо-таки гениальное... А уж как по карьере ударило неожиданно-негаданно, хоть плачь. Что тут поделать? Надо было стараться служить.

И ротмистр Иванов старался... Ставил сети большевистским и разным другим революционным организациям, засылал в них провокаторов, следил, ловил... Но чем больше следил, ловил, чем больше читал и думал, тем яснее становилась бесполезность его работы. Не хватало агентов, тюрем, ума не хватало, что делать с этими революционерами, которых не становилось меньше, сколько он ни старался.

Не сразу, а постепенно, но тем основательней, Иванову открылась реальность близкой революции. И это поразило, парализовало его еще сильнее, чем пошатнувшаяся вера в царя.

Оно еще не наступило, это неведомое новое время, и было еще не ясно до конца, наступит ли оно и когда, а у ротмистра уже возникла почти физическая потребность «вписаться» в него, понять его, приспособиться к новым обстоятельствам. Любимая им жизнь, его настоящее не стали еще прошлым, а он уже испытывал по ним щемящую тоску и оттого еще более люто ненавидел грядущие перемены. Надо было делать выбор между старым и новым, и это был выбор между жизнью и смертью. И он метался между «или — или», хотя всем своим умом понимал: от прошлого, от старого не оторваться. А это значит — смерть. В сорок с «копейками», в званиях, в сытости и любви — умирать?.. Нонсенс!

Временами неотвратимость наступавших перемен была столь ощутимой, почти осязаемой, что Иванов начинал рваться на приемы в высокие кабинеты, убеждал, тревожил, стращал их хозяев, а они кивали головами и просили не паниковать.

Видя их великосветское спокойствие, Иванов порой начинал сомневаться в своих предчувствиях. В конце концов в истории все уж бывало — бунты, восстания, революции, а что изменилось, в сущности? Господа остались господами, рабы — рабами, разве что по-иному стали называться. Так было, так будет, ибо вечно среди людей неравенство материальное и, что еще более важно, думал он, неравенство умственное и нравственное. Дураки всегда будут подчиняться умным, образованное меньшинство будет править темной массой.

И легче становилось на душе, и даже неумолимая логика цифр, говоривших, хочешь того или нет, о нарастании размаха забастовок на заводах, бунтов и волнений среди крестьянства, начинала терять свой повелительный и неотвратимый характер. Пусть погалдят, пошумят, потешатся, пусть. Конец будет такой же, как всегда — на колах, в петлях, у тюремной стены.

Все чаще просыпался ротмистр среди ночи от неведомого страха и долго лежал, ворочался, пытаясь понять его природу; все жесточе ненавидел всех мастей социалистов, анархистов, эсеров, просто всех, желавших перемен, посягавших на вековое.

Себе самому Иванов мог сказать, ради чего он бросил дела и приехал в тюрьму: хотелось убедиться в слабости всей этой революционной шушеры. Вот и все...

Вместе с начальником тюрьмы, давним знакомым, прошелся по камерам, посмотрел на этих грязных, замызганных людишек с грубыми лицами и потухшими глазами, и настроение у него — вот ведь какое дело! — стало подниматься. Нет, эти люди ничего не смогут изменить. И все их идеи, все социальные прожекты — химера и глупость, какие бы умники за них ни брались.

Рассказали ротмистру об Усачеве, об Алексееве, о том, что он объявил голодовку и пятый день не принимает в карцере пищи, что три дня без сна стоял, не присев, на ногах, а на четвертый упал без сознания. «Любопытный экземпляр, — подумал ротмистр. — Двадцать лет от роду — будущее большевизма. Стоит посмотреть, что он собой представляет». Приказал освободить Алексеева из карцера, привести в порядок, накормить и доставить к нему в кабинет, который содержался на случай появления высокого начальства и которым Иванов пользовался, когда бывал в тюрьме.

Начальник тюрьмы капитан Ванаг — толстый, грузный — присев на диван, почтительно наблюдал погруженного в чтение Иванова. Никогда он не видел его мужественное лицо таким потерянным, смятым, а ведь они знали друг друга уже давно. Иванов тоже приложил руку к тому, чтобы он стал начальником тюрьмы. Чего и говорить, радости великой должность эта не могла доставить, но две тысячи четыреста рублей

в год — денежки немалые, на другой работе по его званию больше нигде не дадут.

Иванов дочитал «Дело», задумался.

— Хорошее лицо, умное. Фигура, судя по всему, заметная, а вот улики у вас... у нас... Борис Викентьевич, маловато, пшик. Кто родители?

— Отец — путиловец, уроженец Псковской губернии, мать не работает. Трое братьев и сестра, вполне благонадежные. Ротмистр Калимов — он занимается у нас Путиловским заводом — считает его одной из самых опасных в политическом отношении личностей. Начитан, хоть образование всего четыре класса. Убежденный марксист-ленинец. Ходит в ведущих агитаторах. Разрешите пригласить?

Дежурный унтер ввел Алексеева.

— Садитесь, — буркнул Иванов голосом ровным, обыденным. И продолжал листать «Дело».

— Ничего, я постою. Так привычней, — угрюмо ответил Алексейев.

Уловив в голосе злость и напряжение, ротмистр посмотрел на него изучающим взглядом, в котором, впрочем, не было заметного любопытства. Это был взгляд профессионала, привыкшего оценивать людей в один обхват, за те несколько секунд, которые требовались человеку, чтобы преодолеть расстояние от порога кабинета до приставленного к рабочему столу стула.

Перед ним стоял среднего роста, исхудалый — кожа да кости — заморыш, бледный, с темными кругами вокруг глаз, со следами синяков на лице. Темно-русые волосы спутались, откинута назад, открывают лоб высокий и чистый. «Жилист, — отметил ротмистр. — В чем душа держится, а смотрит дерзко, ненавидяще, растопырился, будто еж. Выглядит на все тридцать, а ему, между тем, только двадцать...» Еще раз заглянул в «Дело» — не ошибка ли? Все верно: двадцать...

Ротмистр подобрался внутренне, как всегда бывало с ним на допросах.

— Отчего же ты злишься, братец? Голоден? От пищи сам отказался. Стоять столбом три дня тебя никто не заставлял, — добродушно начал Иванов.

— Будто не знаете, что там ни лечь, ни сесть нельзя. Хуже, чем в хлеву. — Злость в голосе Алексеева стала заметней.

— Знаю, а как же. На то и тюрьма. Есть места похуже. О Петропавловке, о «Крестах» слышал? Хотя да, ты уж второй раз в тюрьме. Однако любопытно: три дня на ногах без сна и еды — это трудно? Сильно отекли ноги, а?

Алексеев взвился.

— Не ваше дело! И прошу называть меня на «вы»...

Ротмистр усмехнулся.

— Скажите на милость, среди вашего брата отчего-то все желают, чтоб с ними непременно на «вы» обращались. Будто у вас это так и принято. Ну, буду величать тебя на «вы», а ты — это ты... А насчет ног — это профессиональный вопрос. У высоких и толстых они на второй день отказывают... Садись... садитесь, все-таки.

Наверное, если бы ротмистр и не предложил сесть во второй раз, Алексеев сделал это сам или упал: сил стоять у него не было. Опять кружилась голова.

Алексеев сел.

Ротмистр порылся в кармане, достал какую-то коробочку, вынул из нее пакетик, запрокинул голову и высыпал себе в рот порошок. Морщась, запил водой.

— Печень разыгралась... Вот ваше «Дело», Алексеев, — сказал он, хлопав ладонью по папке. — Я должен снять с вас допрос. Хочу спросить...

Алексеев перебил ротмистра голосом усталым, тихим, но задиристым: — А я хочу сначала получить разъяснения по двум пунктам...

Иванов проглотил свою незаконченную фразу, пожевал губами.

— Ну что же, слушаю...

— Я хочу знать, наказаны ли те, кто убил политического Усачева?

— Убийство Усачева? Кто такой? Ах да, мне рассказывали. Убийства не было, просто несчастный случай. Какие ж тут наказания, разве что замечание, чтоб службу лучше несли. И сбавьте-ка тон, братец, здесь вас допрашивают, а не вы следствие ведете. Пункт второй?..

— Я требую сказать, почему меня без всяких обвинений бросили в тюрьму, избивают. Я требую...

— Молчать, мерзавец!.. — неожиданно выкрикнул с дивана капитан и дернулся шеей, так забавно скривил нос. — Он требует!.. Тебя бы к стенке в самый раз!..

Повелительным жестом Иванов остановил Алексеева, укоризненно глянул на Ванюгу.

— Запомните: требовать здесь вы ничего не можете.

— Нет, могу. Я пока не осужден, я пока российский гражданин и стало быть...

— Вот именно — «пока»...

— ...и стало быть, имею право...

— Право имеешь, — согласно качнул головой ротмистр.

— ...и стало быть, могу...

— Нет, не можешь, — снова перебил Иванов жестко. — Право имеешь, но ничего не можешь. Тем более требовать. И кончим с этим.

— Я требую обращаться на «вы»!..

— Не «требую», а «прошу», ясно? Наша служба, Алексеев, держит вас под наблюдением уже три года. Я изучил ваше дело. Хочу задать не-

сколько вопросов, так, личного свойства, философского, в известном смысле, значения. Этаким полудопрос, полубеседа. Согласны на такое?.. Заметьте, я не требую, а прошу. Поговорим просто так.

— Смешно звучит — «просто так», — хмыкнул Алексеев. — Это как? Без кулаков, без пинкарей сапогами, без карцера, без голода? Без этого фонаря, хотя бы? Я ведь даже не вижу, с кем говорю, как же мне «просто так» с вами беседовать?

— Да, конечно, это нелепость, — ротмистр погасил фонарь и снова с укоризной посмотрел на Ванага, направившего сноп света прямо в лицо Алексева. — Уберите! В «Деле» написано, что Алексеев Василий Петрович с восьми лет учился в церковноприходской школе, с двенадцати — в ремесленном училище Путиловского завода, с четырнадцати — работал в пушечной мастерской означенного завода. Так? Так. Учился хорошо. Все это похвально. А дальше — скандал: с тринадцати лет распространитель противозаконных воззваний и листовок, большевистской «Правды». В четырнадцать — это просто нелепость! — забастовщик, в шестнадцать — член большевистской партии... Ребенок, мальчишка — и бунтовщик!.. Как это возможно?

— Очень даже возможно, господин офицер. Вы такой умный да старый, сами знаете — возможно. Не стану я говорить, а?

— Нет, уж скажи. Голод?

— Я ж говорю: сами знаете. Голод, а что же еще? Нищета. Троих сынов, братьев моих, маманя схоронила — отчего? От голода. Трое других выжили, мыкаются, едва живы. Сестра с ними. А я? Отчего из школы выгнали? Из-за Фукса. Мало молитвы петь до одури заставлял, так и бил жестоко. А мы — забастовку. Вот тебе и «до-ре-ми»... А на заводе — мастер был Тетявка... Тетявкин. У него поговорочка любимая была: «У меня с голоду не сдохнешь, но и досыта не поешь». Чуть чего — штраф, чуть чего — подзатыльник, а то пинок под зад — и вон с завода. Вот так, господин ротмистр. Вас годик-другой голодом поморить, так и вы революционером стали бы...

Иванов хмыкнул, покраснел: «Хамит, сопляк». Но промолчал.

— Выходит так: чтоб с голоду не сдохнуть — грабь богатых. Разбой это, а не революция, братец.

— Упрощаете, господин офицер. Вы Маркса, Ленина почитайте. Там сказано...

— Читал я вашего Маркса. И Энгельса, и Плеханова, и Бакунина, и Ленина читал. Головастые люди, право же. Но фантазеры. Вы словно с ума походили с их фантазиями, а ваш Ленин посиживает то в Париже, то в Швейцарии, статейки пописывает, а вас — в тюрьмы... Что имеет этот человек по имени Ленин, призывая вас на борьбу с само-дер-жави-ем, а? Ничего, кроме чернильницы, пера и тридцати пяти букв рус-

ского алфавита. Ведь вас, большевиков, единицы. Сколько вас на два миллиона жителей в Петрограде, а? Молчите. Знаю — несколько сотен. А рабочий люд, которого десятки тысяч, спит. На что тут можно рассчитывать? Против вас полиция, армия, пулеметы, пушки, миноносцы... Золото и бриллианты — казна... Царь, князья, дворянство, связанные кровными узами. Кровными, братец, то есть кровью, понимаешь? Это сила необоримая.

Алексеев слушал Иванова и помог понять, куда он клонит, зачем весь этот разговор. Допрос есть допрос, тут выспрашивают, выпытывают, а не проповедают.

— Если самодержавие необоримо, так стоит ли нервничать, господин ротмистр? Рабочие объединяются не по голосу крови, а по голосу идей, которые обещают нам счастливую жизнь, и этот голос все же сильнее. Идеи большевиков разлетелись по России, народ просыпается.

Ротмистр дернулся.

— Идеи!.. Народ!.. Оставьте глупости! Одним заткнем рот хлебом, других купим, третьих пристрацаем, четвертых — в тюрьму, а пятых — к стенке. Вот и весь ваш народ с вашими идеями.

Посмотрел на Алексеева с прищуром, столкнулся с упорным взглядом.

— В 1912 году, как написано в «Деле», ты имел от своей партии задание вступить в общество «Образование» и прибрать его к своим рукам, так сказать «обольшевичить». Где сейчас работают активисты этого общества? Скажешь?

«Ну, вот и начался допрос. Сейчас кликнет кого-нибудь», — подумал Алексеев. Встал. Ротмистр смотрел, не отрываясь, куда-то в переносицу, ждал. Не дождавшись ответа, заговорил снова.

— Ты один из организаторов забастовки на заводе «Треугольник», пишешь заметки в «Правду», распространяешь нелегальную литературу, работаешь в подпольной типографии. Где находится типография? Скажешь?

Алексеев молчал.

— В пятнадцатом году на Путиловском заводе тобой организованы подпольные партийные группы и революционные кружки молодежи. Сколько людей в кружках? Состав? Вожаки? Ну? Год назад тебя избрали членом бюро подпольного Нарвско-Петергофского райкома РСДРП большевиков. Назови фамилии членов райкома... Молчишь? Дурак. Ты же видишь — мы все знаем. Понимаешь, что сгноишь свою жизнь на ка-торге, а то закончишь на виселице, а? Ты о смысле жизни когда-нибудь задумывался? О том, чему и кому служишь, размышлял?

— Народу служим. — Алексеев удивился тому, как глухо прозвучал его голос. Прокашлялся, повторил громче: — Народу служим.

— Нар-роду! — хохотнул ротмистр. — Темень беспросветная, холопы, дворня, городская протерь — это народ? Им служишь?

— Ну, конечно, господин ротмистр, вы привыкли считать, что применительно к России слово «народ» и употреблять нельзя. Народ — это в Европах и Америках, куда еще ни шло... Но вот я, все мои предки, друзья — и есть те самые холопы, смерды, тот самый работный люд, который вы ненавидите. Им и служу.

— Народ... Что он тебе даст, твой народ? Богатства? Чины? Награды? Да он хоть знает ли, что ты ему служишь? Не знает и не ведает о том твой народ. А государь великодушен. Людей, которые верно служат ему, одаряет щедро. Стоит тебе оказать некоторые услуги и, честное слово, уже завтра ты будешь на воле и жизнь твоя пойдет совсем по-иному. Честное слово!

«Э-э, вон куда клонит господин офицер!.. В провокаторы вербует. Ну, давай...» Алексеев усмехнулся остро, ланцетно.

— Честное слово жандарма!.. Смешно слышать. Знаем мы вашу службу и вашу жандармскую честь. Вон стены камеры, где сижу, они прямо кричат о вашей чести, кровью и слезами прекрасных людей кричат. Честь убийц...

Ротмистр взбесился.

— Ты что позволяешь себе, мерзавец!.. Жандарм — слуга Отечества. Скромный труд наш святым делом называется. «Святое дело сыска» — это слова самого государя Николая. «Святое»! Вот так. Не в игрушки играем — безопасность престола охраняем — что может быть выше? Да, порем, да, казним. А ты как хотел? И ты свое получишь, если дурака валять будешь. Видывал я всяких, не тебе ровня. Ломали. Теперь служат нам, да еще как. Ты думаешь, мы заговоры раскрываем, организации обезвреживаем колдовством, что ли? Нет, браток. Есть люди, которые долгие годы работают в ваших организациях. Они не только выдают таких, как ты, вредных для государства работников. Они пишут историю революционного движения, изучают его, так сказать, изнутри... А как же иначе? Ты Козлова и Кириллина помнишь? То-то...

Ротмистр гикнул грубо, торжествуя.

Алексеев помнил этих молодых совсем парней. В пятнадцатом году они пришли в его подпольный кружок и так активничали, так старались... Потом родилось подозрение, что кто-то из них провокатор. Пытались разобраться — кто, но риск был слишком велик, и из кружка вывели обоих. Потом они и вовсе куда-то пропали с завода. Значит...

— Да, да!.. — кивал Иванов. — Именно то, что ты думаешь. И не один из них, а оба... Козлов у вас, а у нас Шацкий, у вас Кириллин, а у нас Афанасьев. Так-то. Ваш брат о сыске по дуракам и держимордам судит.

А сыск — это наука. Наука слежки, наука ловли, наука судейства и тюремного содержания, допроса, казни... Да-с, и казни тоже. А вершина этой науки — политический сыск, которому я служу. И смею уверить тебя, мерзавец, что и ума, и чести у меня одного хватит на всю вашу партию вместе с ее вождями, не то что у всего офицерства жандармского корпуса. И если у нас есть ремесленники, то это не значит, что в нашем деле нет своих гениев.

Подойдя к столу, ротмистр позвонил в колокольчик.

«Ну, вот теперь и начинается допрос», — мелькнуло в голове у Алексеева.

Вошел унтер, вытянулся у дверей. Встал с дивана капитан.

Ротмистр вышагивал по кабинету, наблюдал за Алексеевым, молчал. Заговорил:

— Значит, прочитал прощальные надписи на стенах своей камеры? Ну, как? Действует? А ты говоришь, что мы дураки. Говорю же: сыск — наука! Психология.

Снова, замолчал и шагал мерно туда-сюда, туда-сюда... Сапоги скрип-скрип-скрип...

— Да ты никак побледнел, братец? Испугался? Ай-ай-ай... Такой говорливый, такой смелый — и нате — бледный. Вот что, голубчик, — обратился ротмистр к унтеру, — принеси-ка...

И скрип-скрип-скрип...

— ...Принеси-ка...

Взгляд на Алексеева, пауза.

— ...Принеси-ка стаканчик чаю. С лимончиком. Быстренько. Усмехнулся, и к Алексееву:

— Страшно умирать? А еще страшнее жить уродом. Но мы допрос с пристрастием, как говорится, редко применяем. Уж если очень нужно. — Ротмистр улыбнулся капитану. Тот щелкнул каблуками. — Так что не бойся. Просто мизансцена, именуемая «Допрос». Действует?

— Действует, — ответил Алексейев и опять удивился тому, как сел его голос. — Действует, — повторил он тверже. — Только это ничего не значит. Ничего вы от меня и под пыткой не добьетесь. И правда все равно на нашей стороне, а не на вашей.

Станным взглядом глянул ротмистр на Алексеева. Были в этом взгляде все те же ненависть и злоба, но к ним добавились, кажется, грусть, а может, сожаление, обида. Или страх? Он усмехнулся уже знакомой усмешкой, рот двинулся вправо-вверх, у глаз собрались морщины, сказал негромко, задумчиво:

— Сейчас я велю, чтобы вас отпустили, Алексейев. Честное слово.

— Господин ротмистр?.. — вопросительно перебил Иванова капитан и опять дернул шеей, скривил нос.

— Отставить! — скомандовал ему ротмистр. — Да, отпущу. А вы подготовьте документы на выписку. — И к Алексееву: — Но прежде о трех вещах. О правде. Нет правды вашей и нашей, есть одна правда. Ты слишком молод, парень, чтобы понять это, понять, что нет и не может быть правды в идее. Идея может быть красивой, зажигательной, привлекательной. Но она — из слов. А правда — это жизнь. Твой дом, твой труд, твоя семья, твоя любовь — вот единственная правда. Правду можно поделить пополам и получить две полуправды; от правды можно отнять две трети и оставить одну треть или четверть, а из них вывести какую-нибудь идеологию. Но не было, нет и не будет идеологии, которая в полной мере отражала бы всю правду жизни. Так что не стоит говорить: «Правда за нами». Своя правда есть и у нас, и мы за нее постоим, ой, как постоим...

Часы над камином отбили два часа дня. Иванов достал свою «луковицу» из кармана.

— Да-с, пора обедать, опаздываю. И все же... О революции. Бесчисленную череду смертей, всеобщего разрушения, бесполезное мученичество для множества людей — вот все, что принесет ваша революция народу, о котором вы так печетесь и к которому, хотите того или нет, принадлежу и я, ротмистр Иванов, тысячи других офицеров, разных служащих, чиновников, прочих интеллигентов.

Алексеев собрался возразить.

— Помолчите. Я знаю, что вы скажете: дескать, вы — не народ, вы — эксплуататоры, кровопийцы. Читали, слышали. В известном смысле вы правы. Но я не об этом. О жизни. Жизнь моя рушится. Все, что я имею, все мое счастье — под угрозой. Я ненавижу всю вашу революцию и особенно большевиков, но уже поздно. Только чудо может изменить ход событий. Я бессилён. И от того ненавижу вас вдесятеро сильнее. Но если б я мог, если б я мог...

Иванов скрипнул зубами, скулы его побелели.

— Теперь вы свободны. Флягин! — крикнул он.

Вошел унтер.

— Уведите.

У порога Алексеев остановился.

— Я все-таки скажу, господин офицер. О правде, о революции, о жизни. Сразу и коротко. Не в любви или ненависти, не в словах и аргументах дело. Вы говорите лучше, я хуже. Ну и что? Словами правду не создашь, это верно. Проповедовать проще, чем быть святым... Жизнью своей мы правду и умножаем, и убиваем. Собственной жизнью общую жизнь и правду творим. А жизнь моя — революция. И тем, как я проживу ее, как вы свою жизнь проживете — тем и решим мы наш спор. Есть у меня такое чувство — встретимся мы еще...

Едва Алексеева вывели, капитан Ванаг вскочил с дивана.

— Господин ротмистр, я вас не понимаю — зачем вы его отпускаете? Ведь это опасная фигура.

Ванаг был еще почтителен, но напорист.

— Опасный человек, согласен. Нет, не только тем, что смел, фанатичен. Умный — вот беда.

Ванаг возразил:

— Ума я не заметил как-то...

Иванов подошел к столу, порылся в «Деле» Алексеева, достал несколько листков.

— Знаешь, что он стихи пишет?

— Это не новость. В тюрьме многие начинают стихоплетничать.

— Не скажи, дорогой. Уголовники стихов не пишут. Политические — да. И тут есть объяснение. Революционеры — они по преимуществу романтики, если хочешь, идеалисты, даже если именуют себя материалистами. А потому — поэты. И вот что странно: все стоящие поэты — революционеры, по крайней мере — бунтари. Возьми Байрона, Пушкина, Лермонтова... Поэтичность — признак ума и революционности. Я это вывел из моих наблюдений и размышлений. Он пишет стихи — а вы можете, господин капитан?

Ванаг криво усмехался:

— Я другое могу...

Иванов забулькал внутренним смехом:

— Другое... Ловить, пытаться, писать доносы, надувать щеки от сознания собственного величия. А думать вы умеете? А слово чувствовать? Не разрушить, а созидать можете? Правду говорить можете? Ну, хотя бы самому себе, а? А он — эта городская протерь — он знает правду о нас, про свой век. Вы о своем веке задумывались?

Ванаг смотрел на Иванова с удивлением, хотя на лице его застыла маска внимания. Что происходит с ротмистром? Он не узнавал его. Какие стихи? Какая правда? Какое ханжество? Пороть, стрелять и вешать эту мразь — вот поэзия. Но вслух сказал иное:

— Любопытно, любопытно...

Иванов вглядывался в глаза Ванага, кажется, что-то понял.

— Что — «любопытно»? Этот парень думает о будущем, а вы, а я? Вы ждете не дождетесь, когда, наконец, умрет ваша матушка и передаст свое наследство... Ах, оставьте ваши оправдания!.. — раздраженно выставил Иванов ладони в сторону Ванага, открывшего было рот, чтобы возразить ему. — Оставьте, знаю я вас — и предостаточно. Заметьте — не осуждаю. А вот этому Алексееву удивляюсь. Он, сам сопляк, мальчишка, о чем он думает? Вот я читал его стихотворения... творения, черт побери... По мысли... просто оч-чень прилично. Умен, умен этот парень, вот в чем наша беда, вот что меня расстраивает. Когда

умные люди отходят от государства — это ведет к катастрофе. Рано или поздно...

— Ну-у, Владимир Григорьевич, — шутливо-укоризненно, с деланой обидой протянул Ванаг. — Мы ведь тоже не дураки, ей-богу...

Иванов снова уперся взглядом в глаза Ванагу, и тот не выдержал, опустил их.

— Не дураки, не дураки, точно.

Иванов нервно закурил и зашагал по кабинету.

— Зачем я отпустил его, спрашиваешь? Может, о будущем своем пекусь. Молох революции занес над нами свою длань. Скоро — чувствую это, понимаешь, чувствую! — вот эти Алексеевы, вот этот токарь или какой-нибудь другой пекарь будут решать вопрос о том, жить тебе, мне, всем нам или помирать.

Иванов вдруг поймал себя на том, что он опасно откровенен, и замолчал. Ванаг ждал. Не выдержал.

— Ну продолжайте же, Владимир Григорьевич, интересно...

«Интересно, — хмыкнул про себя Иванов, — конечно, интересно знать, что думает один из работников охранного отделения, тем более что думы его крамолой пахнут. Интересно потому, что об этом можно доложить начальству, ублажить его и свои верноподданнические чувства».

— Да будет. Не хотелось бы говорить об этом.

— Вот тебе и на... поговорили... излили душу... спасибо за доверие. — Ванаг смотрел обиженно.

Они стояли друг против друга — люди одного круга, одних убеждений и одних привычек, оба хорошо знающие правду политической жизни России, но у одного она уже вызрела настолько, что он мог сформулировать ее и высказать вслух, другой, бездумный и слепой, с удивлением слушал то, что говорил только что, да испугался договорить человек, которого он считал отчаянной храбрости смельчаком.

«А, скажу, черт с ним!» — махнул рукой Иванов.

— Ты говоришь вот: «К стенке бы этого большевичка». Поздно! Это надо было душить еще в семенах. Теперь это расстрелять нельзя. Что такое «это»? Социал-демократия, большевизм. Это факт, что в России есть уже политическая партия, которая состоит из таких вот фанатиков, вроде Алексеева, и которая ведет за собой — именно ведет! — огромные толпы. Алексеев и ему подобные — продукт ее работы, а теперь и движущая сила. Мы упустили эту партию, как ни стыдно это сказать. У них одна простенькая задачка, — Иванов хмыкнул. — Уничтожить царизм, монархию, а значит, прежде всего покончить с нами, ее охранниками. Большевики! Не отдельные подстрекатели, как было еще с десятков лет назад, в старые добрые времена, а хорошо организованная партия с очень сильным, талантливым вождем во главе... Это уже не факт, а явление.

Знаешь, почему я отпустил этого сопляка? Потому что он прав. Да, да, да! — он прав. Мне горько, мне кричать и плакать от тоски хочется, но он прав. В чем? Идею нельзя подстрелить, как утку, она бестелесна и всепроникающа. Идею может победить только другая, более сильная идея. А ее у нас нет. Религия? Она для самых темных и убогих. Ни один умный человек в России в бога уже не верит. Я не верю. Ты веришь? Врешь!.. Монархия? Сама себя со свету сжила. Кто верит в царя, в его мудрость и справедливость? Я? Ты? Наши сиятельные начальники? Наши бессловесные подчиненные? Черта с два! Уж кто-кто, а мы-то знаем: все насквозь прогнило. А ведь мы — хранители престола.

Мы куплены сами, покупаем других. Что продаем, что покупаем? Души, веру. Там, где деньги, там нет веры. А что человек без души и веры? Дерьмо. Большевики же дают веру и надежду. На мир. На хлеб. На землю. На справедливость. И говорят при этом: «Не ждите, когда вам дадут их, возьмите сами. Ведь вас огромное большинство». Заманчиво до одури! «Заберите богатства у кучки богачей — ведь это ваши богатства!» Чертовски прекрасно — вмиг стать богатым. Умная и крайне опасная программа. Да что большевизм! Анархия и та более привлекательна, чем монархия. «Ах, Распутин, ах, распутинщина, они погубили трон!» Чушь. Что — Распутин? Эпизод истории. Вот нет его уж год с лишним, а что изменилось? Ничего.

Глубинное в другом. Забастовки, демонстрации, листовки. Пораженческие настроения, усталость солдат, дезертирство с фронта. Очереди за хлебом. Суть здесь. Молох революции просыпается. Поклонись ему, Борис Викентьевич, встань на колени и моли, чтобы оставил тебе жизнь. Что стрелять этого шпенделя с Путиловского? Он посланец революции и только. Убей Алексеева — на его месте возникнут другие. Не счесть числа голов, ног и рук у этой злой гидры, и потому она всеильна... С тем, что было, покончено. «Царь, царь!» «Боже, царя храни!».. К черту! Нам бы не царя, а правительство с царем в голове, нам бы идею, ну, хоть одну стоящую идейку!

Иванов был словно в припадке, он кричал, шипел, рубил ладонью воздух, бегал по кабинету и вдруг, взглянув на Ванага, осекся. Тот стоял бледный, и рука его шарилась в кобуре.

— Ты что, идиот? Стрелять? В меня?! — Иванов взвизгнул, подскочил к Ванагу и влепил ему пощечину.

Ванаг опустил безвольно руки и замер, будто оглушенный. Ротмистр бросился в кресло. Потом вскочил, налил себе воды, залпом выпил стакан.

— Извини. Ты просил — я сказал. И будто легче стало. Что раскис? Отставить!

И, блеснув зубами в бешеной улыбке, не прощаясь, хлопнул дверью и поехал к себе, в охранку.

III.

В свою совесть Алексеев верил.

Так и появился над столом, за которым сидел суд, плакат: «Здесь судят именем народной революции по законам пролетарской совести и классового чутья». Это не вымысел, это — факт исторический. Такие же плакаты висели и в других судах Петрограда.

Совесть, чутье — эфемерные понятия, а вопрос шел о судьбе, а нередко и о жизни человека, которую легко «по нечаянности» отнять, но ни при каком старании нельзя вернуть ему обратно. Какой же чуткой должна была быть совесть Алексеева и каким совестливым — его классовое чутье! Иногда он чувствовал — ошибается, но решение — хочешь не хочешь — надо было принимать, а значит, приходилось ошибаться... Иногда хотелось спрятаться за расхожую в то время фразу: «Юридически, может, и неправильно, зато революционно», но его совесть, в которой сконцентрировалось, казалось, все яростное стремление многомиллионного рабочего класса к правде, честности и справедливости, эта совесть, от которой он страдал еще в школе и много раз в жизни вообще, теперь, в новых условиях, стала его богатством и критерием, по которому именно его, Алексеева, а не кого-нибудь другого из многих честнейших и преданных делу революции большевиков отобрали на эту работу, и та же самая совесть — этот беспощадный инквизитор — не давала ему покоя и сна, заставляла мучиться...

Каждый день Алексеев шел в суд с таким чувством, будто судит не он, а его судят. Он терзался, когда слушал показания — ну, как же так могло случиться, почему? Мучился, когда определял меру наказания — прав ли, не ошибся ли? Переживал после вынесения приговора — что скажут люди о твоей справедливости, Алексеев? Страдал за тех, кто осужден, хотя многие не стоили этого. Уже... Но они были люди, они могли стать прекрасными людьми, но кто-то изуродовал их, и вот теперь не кто-нибудь, а он, Алексеев, должен засвидетельствовать печальный факт, что их единственная и — увы! — неповторимая жизнь не удалась, не состоялась...

Алексеев был совестливым, он старался быть совестливым, и она, эта его совесть, заменяла ему порой тысячи свидетелей. Но почему именно он должен был решать это?.. Оказалось, что он имел и немало другого, кроме совести, что так необходимо судьбе... Еще совсем недавно он ругал себя, что его чтение книг беспорядочно. Теперь вдруг эта беспорядочность обернулась достоинством — ведь жизнь-то, поступки людей, они бесконечно хаотичны! И, казалось, совсем ненужные знания теперь прикладывались к самым неожиданным ситуациям, помогая объяснить и понять их. А это нередко значило — и оправдать поведение или реше-

ние человека. Подполье научило быть наблюдательным и осторожным, замечать мелочи, не спешить с выводами и в то же время принимать мгновенные решения. А допрос, а суд — это дуэль, это схватка... Пропандистская работа в массах научила мыслить логично, говорить доказательно и конкретно... Дарованные природой задушевность, жестокая честность, поэтичность и страстность натуры — все теперь сгодилось в этом новом, судебском деле.

О судьбе Алексееве летела добрая слава, его принимали за большого грамотея и профессионала. И только сам Алексеев, все потому же, что был безмерно совестлив, знал, что новую работу ему надо постигать всерьез. Кто знает, может, это и есть его призвание, его судьба?

Тогда он и зарылся в книги, чтоб найти в них ответ на один вопрос: «Что это такое — юриспруденция?» Их были сотни, учебников, монографий и статей, он находил в них немало полезного, а все ж это были книги вчерашнего дня, и он был должен переосмыслить прочитанное, чтоб применить его к новым обстоятельствам...

С каждым днем он чувствовал себя все уверенней. Больших провалов не случалось, хотя многое зависело от того, кто присутствовал на процессе в зале. Если свои, рабочие — не страшно. Эти, если что не так, тут же поправят, подскажут, а ошибешься — простят. Страшны были другие, «бывшие» — мировые судьи, присяжные заседатели, адвокаты и прокуроры. Они едва ль не каждый день бывали в этом зале среди рабочих, солдат и домохозяек, злорадничали, ехидничали, а в общем-то хотели убедиться в единственном и самом главном — без них, без «бывших», новой власти не устоять, что отлаженное веками судопроизводство рухнет — и было б слава богу! — ибо под его обломками, в хаосе и беспорядке погибнут «новые порядки».

Иногда в роли защитников здесь появлялись знаменитые адвокаты. И начиналась юридическая казуистика... То требование медицинской экспертизы для здорового «больного», доказательства «невменяемости» подсудимого. Метод защиты в таких случаях был один — запутать суд в процедурных вопросах. Истеричные дамочки и студенты-белоподкладочники бросались на суд и охрану, самочинно пытались закрыть заседание... А ты — судья, ты — совесть новой власти, но действуешь, говоришь от ее имени голосом твоей собственной совести...

Да, в этот маленький зальчик на двести мест, где теперь каждый день с утра до вечера заседал Алексеев, была перенесена вся борьба, что кипела на улицах города и фронтах войны, здесь продолжалась революция и уже шла еще не объявленная гражданская война. Здесь в непримиримой схватке сходились старые нравы и принципы только нарождающейся новой морали нового общества. Здесь бурлили кипятковые страсти...

Нет, Алексеев не мог позволить, чтобы «эти» порадовались. Тут речь уж не о нем и его чести, это было делом чести всей новой власти — судить справедливо.

В тот первый день своего судейства он только и понял, что за ношу взвалили на его плечи...

Алексеев готовился к судебному заседанию, как ни к какому другому событию ранее. Купил белую рубашку, взял напрокат у друзей пиджак поновей. Речь для вступления написал и выучил наизусть.

Встал из-за стола торжественный и говорить начал торжественно:

— Граждане революционного Петрограда! Сегодня в нашем Нарвско-Петергофском районе, где сотни лет по рабочим спинам «ходили» нагайки казаков, где нас били в морду «фараоны» за самый малый пустяк или за ради собственного удовольствия, сегодня радостный и удивительный день. Вместо мировых судей и Правительствующего Сената начинает действовать суд народный... Начинает работу первый в истории пролетарский суд, суд свободный и справедливый. Сколько раз мы слышали: «Справедливость да царствует в судах!» Но едва ли можно было придумать горшую насмешку над справедливостью. Где, когда и кто видел ее в царском суде? Теперь же...

Его перебил злой и ненавидящий выкрик:

— Не смешите народ, гражданин... или как вас там... комиссар... Не мелите чепуху. Вчера вы были рабами царя, а завтра мы все будем рабами ваших Советов. Не трогайте святых слов «свобода» и «справедливость»!.. Творите ваш суд, а мы посмотрим, какая она у вас, эта «пролетарская справедливость»...

Того крикуна осаждали, Алексеев упрямо договорил свою речь, и начался суд. Уже сразу возникли ситуации, в которых было легко запутаться. Алексеев просил помочь зал найти справедливость, ему помогали и, ко всеобщему удовольствию, все шло не так уж плохо, но крикуны, а их оказалось немало, измотали до того, что он велел милиционерам вывести их из зала. Уходя, они злорадно орали:

— Что и требовалось доказать: вот она — ваша «пролетарская справедливость», вот она — ваша «свобода»...

Жизнь Алексеева и без того трудная, теперь, когда он стал судьей, стала трудной невероятно. Ведь ни одной прежней обязанности с него никто не снимал. Он оставался членом Нарвско-Петергофского райкома Российской социал-демократической партии большевиков, депутатом того же районного и Петроградского городского Совета рабочих и солдатских депутатов, председателем Нарвско-Петергофского районного и председателем Петроградского городского комитета Союза социалистической рабочей молодежи, по-прежнему представлял его в Наркомпросе, в Наркомтруде, в Пролеткульте... Надо было успевать везде. Жизнь Алексее-

ва обрела жесткий порядок: днем — суд, вечером — партийные и депутатские дела, работа в горкоме и райкоме союза молодежи, в журнале, ночью — патрулирование, чтение. И так — день за днем. Порядок этот можно было бы назвать буднями, только не подходит это слово к 1917 году: всё в те дни задумывалось и делалось впервые и уже потому — особенно трудным, но безумно интересным, ибо было исполнено высочайшего смысла.

Работы все прибавлялось, а сил порой не хватало. Что делать? Оставался единственный выход: ещё больше организовать, лучше мобилизовать весь ресурс, какой только есть в организме...

«Самодисциплина» было словом, которое Алексеев произносил крайне редко, но успевал он многое только потому, что был предельно организован. Нет, он не вычерчивал никаких графиков, не составлял даже распорядка дня, потому что было невозможно планировать что-нибудь заранее. С вечера думалось одно, а утро приносило столько новых событий, что все задуманное летело прахом... Просто на любое дело он отводил минимум времени и старался уложить в его рамки как можно больше дел. «Извините, спешу», — говорил он, едва закончив говорить, председательствовать, писать. И, быстро попросившись, уносился к новым делам. И никто не сердился. Все знали — Алексеева где-то ждут, он где-то очень нужен. Опоздания, когда они случались, прощали без обид: значит, не смог. Говорил коротко, ибо мыслил ясно и тоже организованно. «Во-первых... Во-вторых... В-третьих... Итак, общий вывод...» Он вбивал свои мысли в головы слушавших его людей, будто заколачивал гвозди в доску...

И все-таки, даже при таком образе жизни, он должен был что-то не успевать. Он не успевал то позавтракать, то пообедать, то поужинать. И совершенно хронически не успевал выспаться — ходил с красными, воспаленными бессонницей глазами.

Постыдная картина: иногда он начинал засыпать и валиться то в одну, то в другую сторону прямо за судейским столом. Опускались веки, клонилась на грудь голова помимо всяких волевых усилий, и даже то, что он елозил на стуле, опирался то на левую, то на правую руку, щипал себя за ляжку — не помогало. Он боролся со сном на глазах сотен людей, и это было невыносимо трудно и мучительно.

Клялся, что вот придет домой и — пропади все пропадом! — завалится спать. Ложился, засыпал. И вдруг — вскакивал. Чаще всего будили недочитанные и непрочитанные книги. Вот ведь какое дело: чем больше читал Алексеев, тем сильнее тянуло его к книгам. Под руки попадались книги по истории, философии, экономике, военным наукам. Спасало одно: читал он поразительно быстро и удивительно много запоминал. Он всегда любил книги. Но теперь он относился к ним, как веру-

ющий к святым мощам, брал в руки с благоговением, держал осторожно, будто иконы.

Однажды, пролистывая сочинения Канта, куда его занесло необузданное любопытство, вычитал мысль, обрадовавшую его как собственное открытие. Мудрый немецкий философ писал: «Закон, что живет в нас, называется совестью. Совесть есть собственное применение наших поступков к этому Закону». Это была формула его жизни, ставшая теперь формулой решения судебных дел. Значит, все идет правильно!..

Целый день Алексеев жил счастливым этим книжным открытием.

Книги и сделали его счастливым до конца...

Однажды, так, к слову, он спросил у Егорова, которого недавно назначили комендантом Нарвско-Петергофского района, какую-то книгу. Этой книги у Егорова не оказалось, но он посоветовал обратиться к его новой машинистке, которая стала недавно работать в приемной.

— Этакая красотоуля, но умна, образованна, чуть минута свободная — нос в книгу...

Когда Алексеев вошел в приемную Егорова, она стояла у окна, спиной к двери, и смотрела на улицу.

— Извините, — начал Алексеев.

Она обернулась — и он обомлел, стоял истуканом, не в силах оторвать от нее глаз. И она смотрела на него неотрывно, и два снопа света и радости летели навстречу друг другу...

Он ни о чем ее не спросил больше. Зашел к Егорову и через несколько минут, весь какой-то встревоженный, уехал.

А на следующий день Алексеев с удивлением увидел ее в зале судебных заседаний. Она смотрела неотрывно, и Алексеев сбивался, путался в словах. И еще дважды в этот день она встретила его: вечером, во время лекции, которую читал на Петроградской стороне, и на встрече с ранеными красноармейцами, после лекции. Удивился — как нашла? И понял: это судьба.

Его любовь была красивой и юной, со смешной фамилией Курочко и таким прекрасным именем — Мария.

В тот вечер они бродили по Летнему саду, и Алексеев впервые в жизни забыл, что его где-то ждут — в горкоме, в журнале...

Одета Мария была просто, но так, что было видно, как она стройна, как высока ее грудь. Широко расставленные голубые глаза держала опущенными к земле, словно зная их волшебную силу... Пухлые губы на фоне иссиня-черных, гладко зачесанных волос казались измазанными земляникой — до того были алыми. Открытая, лукавая улыбка, два полукруга жемчужно-белых зубов. Ямочка на подбородке, низкий певуче-гортанный голос. Да, в ней было много красоты, но еще больше очарования. Рядом с Марией Алексеев казался себе серым воробыш-

ком, но она держалась так просто и непринужденно, так ласково смотрела на него, что он не знал, что и подумать: вероятно ли это, что он нравится ей?

Мария медленно шла, опустив голову, поглядывала исподлобья с улыбкой и все спрашивала шутливо о серьезном:

— Ва-си-лий... Как красиво звучит твое имя... Кто ты? Нет, это я знаю: ты хороший. Что ты? Что ты умеешь делать?...

— Я? Пока ничего. Но научусь делать все, веришь?

— Верю.

— Хочешь, я стану певцом?

— Ты умеешь петь?

— Люблю.

— Я — тоже. Пой.

Он спел про Нарвскую заставу и Путиловский завод, где «жил-был мальчишечка двадцать один год...»

Мария смеялась.

— Получается. Будь певцом.

— А хочешь, я стану танцевать? Вот так...

И, подхватив Марию за талию, он закружил ее в вальсе.

Она хохотала рассыпчато, колокольчато и пела в такт:

— Хочу, хочу... хочу... танцевать... танцевать... танцевать...

Остановились, запыхавшиеся.

— А хочешь, Мария, я стану поэтом? Вчера я написал тебе стихи. Прочитать?..

Мария цвела первым цветом женской красоты, ждавшей своего почитателя, и вот он явился... Она звала, манила, туманила, и он несся навстречу ее зову, все в нем пело от неумемной страсти, словно не было бессонных ночей, смертельной усталости и бесконечных забот.

— Будь поэтом, Василек, — сказала она. — Ты написал хорошие стихи. Но ты же судья? А еще я слышала, как ты речь говорил на городской конференции молодежи... А еще...

— Ах, Мария, если бы я мог успеть всюду, где мне хочется быть, стать всем, кем хочется стать... А знаешь, о чем я мечтаю сейчас больше всего? Хочу стать солдатом, уйти на фронт, драться за революцию и умереть, чтоб потом, через тысячу лет, пробиться сквозь землю тонким тополем и посмотреть, что там творится в России и в мире, как там... Веришь?

Она посмотрела на него долгим взглядом, прошелестела растерянно:

— Верю.

— А еще я люблю тебя, Мария. Отныне и навсегда. Все, что останется во мне от революции, все до капельки принадлежит тебе. Пока я жив... Я люблю тебя, Мария...

Ничего не сказала на это Мария, только тихо и счастливо засмеялась, покачав головой. И вдруг попросила:

— А ты можешь позвать меня завтра в суд? Завтра я свободна. Хочу быть рядом.

Алексеев задумался на миг, вспоминая, что за дела будут разбираться завтра утром... Ничего интересного. Правда, впереди была еще ночь, патрулирование по улицам Нарвской заставы, и невозможно сказать, что она принесет, какие «дела» наберет он себе на день.

— Хорошо. Я найду за тобой. Пока, правда, ничего интересного не предвидится...

...До начала суда Алексеев с Марией заглянули в своего рода «предварилку» районного масштаба, где за широким деревянным барьером в сером табачном дыму находились те, кто был задержан во время последних облав. Люди орали друг на друга и на милиционеров, матерились, угрожали, требовали начальство, били вшей и резались в карты.

Уже в который раз наблюдая эту картину, Алексеев удивлялся, пожалуй, лишь человеку свойственной способности мгновенно приспособиться к любым условиям жизни и жить, несмотря ни на что. Кучкой в стороне держалась «чистая» публика, брезгливо морща носы, прикрывая их батистовыми платочками.

— Ти-ше! — закричал дежурный милиционер, увидев Алексеева. Встал, застегнул френч, вытер мокрые от пота лоб и щеки и после этого, пытаясь перекрыть шум, доложил Алексееву о количестве и составе задержанных. Те, поняв, что перед ними и есть долгожданное начальство, которого они добивались, подняли такой ор, что Алексеев заткнул пальцами уши. Постоял так, а потом крикнул на высоченной ноте:

— Ти-и-ше! — И все смолкли разом. — Граждане задержанные и случайно изъятые! Тиш-ше! Прошу не галдеть и не гоношиться, вы в милиции, а не в пивной. О чем просить будете — знаю, не первый раз... Значит, так. Воров, спекулянтов и всяких демагогов будем судить, а саботажников и тех, кто похуже — в трибунал. Случайно задержанных отпустим с извинениями. На допросах и в суде всех прошу соблюдать сознательность и говорить правду... Вас много, нас мало, а времени вовсе нет. Мы торопимся — революция. Чье дело первым идет?

Дежурный не то чтобы вытянулся «во фронт», но этак слегка обозначил свое желание встать по стойке «смирно» и понимание, что перед ним начальство.

— Мы тут первым Дудку поставили, товарищ Алексеев, да конфуз вышел — зал уже набился до отказа всяческими господами и бывшими благородиями. Требуют, чтобы спервоначала слушать дело графини Фаниной, потому что потом, дескать, говорят они, когда мужичье поналезет, то им в суд не попасть.

Дело графини Фаниной Алексеев знал хорошо. Случай был не рядовой: графиня, работавшая в министерстве просвещения последнего состава Временного правительства, обвинялась в присвоении крупной суммы денег, принадлежавших министерству. В этом смысле все было ясно: уголовное дело, подсудное народно-революционному суду. И суд был назначен на сегодня.

Но вчера к вечеру при последнем допросе графиня дала показания, из которых явствовало, что украденные деньги используются на поддержку саботажников и контрреволюционеров. И, стало быть, дело это уже не уголовное, а политическое и его надо передать в ревтрибунал. Но Алексеев забыл отменить суд — спешил на свидание с Марией. Кому об этом скажешь?

Теперь надо выкручиваться.

Зал был забит расфуфыренной публикой. У входа толпилось человек сто простолюдинов, возмущенных тем, что им негде сесть. Они и накинулись на Алексеева первыми.

— Это как же получается, товарищ Алексеев? Суд народный, а народ в него не пускают?

— Успокойтесь, граждане, — остановил укоры Алексеев. — Через несколько минут зал будет очищен.

Но он погорячился, сделав такое заявление. Зал встретил его воплями, угрозами:

— Позор!

— Как вы посмели?!

— Немедленно освободить графиню Фанину!

— Узурпаторы! Душителю свободы!

А тут еще, как назло, ввели графиню. Ей устроили овацию.

— Кто дал команду ввести подсудимую?! — шипел взбешенный Алексеев на милиционеров. — Еще не вошли в зал заседатели! Я вас самих отдам под суд!..

Алексеев объявил, что слушание дела гражданки Фаниной отменяется ввиду передачи его в ревтрибунал. Зал взревел взбешенно.

— Нет уж, позвольте, позвольте! Я защитник многотимой Анны Павловны Фаниной и я скажу, хоть вы меня убейте...

С первого ряда встал молодой человек лет тридцати, Проклов Петр Власович, назначенный по его личной просьбе защитником по делу Фаниной. Однажды он уже выступал здесь, и Алексеев знал, что он умен и речист, считался одним из тех, кому прочили громкую славу на адвокатском поприще, но революция стала ее пределом. Еще при слушании того первого дела стало ясно, что его распирает люта я ненависть к новому строю, что он ярый враг Советской власти, но его нельзя было лишить права выступать в суде.

— Господа! — обратился Проклов к залу. В голосе были боль и пафос. — Они отменили слушание дела в суде, они передали его в ревтрибунал. Какая разница, где они расправятся с уважаемой и любимой Анной Павловной Фаниной? Мы должны защищать ее всеми средствами, вырвать из рук этих...

Проклов умолк, как бы ища слова побольнее.

«Эти» угрюмо молчали. Милиционеры сжали винтовки в руках с такой силой, что побелели суставы. «Те» вместе с Прокловым наливались злобой.

— Какая разница, где они будут судить Анну Павловну, ибо где тот закон, что является основанием для суда? — продолжал Проклов. — Где он, я вас спрашиваю, как вас там именовать... Его нет. Судить людей по вашей «р-ре-волюционной совести»... — тут Проклов воздел руку к лозунгу над головой Алексева, — по вашему «классовому чутью» вы не имеете права. Ибо что вы можете чувствовать вашими глупыми, необразованными сердцами и душами, вы, у кого на троих семь классов церковноприходской школы? Да-да, я все разузнал про вас, гражданин судья и граждане народно-народные заседатели. Ваше классовое чутье — это чутье зверя, который скрадывает свою добычу!..

Алексеев грохнул кулаком об стол, вскочил, бледный, решительный.

— Гражданин Проклов, прошу соблюдать приличия и не оскорблять суд...

Проклов изобразил на лице крайнее удивление:

— Я оскорбляю суд?.. Да возможно ли вас оскорбить? Есть ли в вас нечто, что может скорбеть и оскорбляться?

Проклов паясничал, распоясывался.

— Как можете вы судить графиню Фанину, которая и для многих из нас, людей высшего света, служила и служит воплощением благородства и доброты, вы, о просвещении которых она пеклась всю жизнь? Где ваша совесть при этом? Что говорит она вам?..

Графиня Фанина, как представительница кругов либерального просветительства, в свое время была одной из учредительниц на окраине Петрограда «Народного дома», воспетого буржуазной печатью как чуть ли не идеал благотворительности. Алексеев знал об этом. Но это было вчера. А сегодня она была открытым и злобным врагом народа.

Алексеев бросил взгляд в зал. Большинство настроено враждебно.

Он подманил к себе одного из милиционеров, шепнул ему на ухо:

— Собери всех из охраны, кто есть на месте, и бегом сюда. Быстро! И рабочим скажи, чтоб были наготове. Всяко может обернуться.

А Проклов продолжал с пафосом:

— Вы называете «судом» и обставляете атрибутами судебного процесса то, что никак нельзя назвать судом. Это — политический произвол, обыкновенная расправа большевиков, обманом, ложью и коварством за-

хвативших власть, над своими политическими противниками. Что ж тогда церемониться? Вешайте и расстреливайте всех не согласных с вами под звуки «Марсельезы»! Творите свой постыдный суд под маркою «народного», зовите в Россию гражданскую войну, но знайте, что меч справедливости и возмездия уже занесен над вашими головами и его удар неотвратим!..

Проклов был экзальтирован до крайности, лицо налилось кровью, стало багровым, и можно было подумать, что его сейчас хватит апоплексический удар.

Зал неистовствовал.

— Чего смотреть? Бей их!

— Освободим графиню!

Алексеев чувствовал, что еще несколько секунд — и две сотни разъяренных врагов кинутся на него, на заседателей, милиционера, сомнут, разорвут в клочья. Что делать?

И вдруг увидел, что по проходу, держа перед собой в руках стул, идет Мария. Видели это и сидевшие в зале, ждали, что же сейчас произойдет. Кажется, любопытство перебороло на несколько секунд, напряжение немного спало.

А Мария взшла на сцену, приставила стул к судейскому столику, расправив платье, села, потом оправила прическу и, подняв глаза, широко улыбнулась в зал.

А по проходу уже неслись милиционеры, рабочие, выставили винтовки, револьверы, прикрыв собой судейский стол.

Наступила гробовая тишина.

Алексеев раздвинул цепь, вышел вперед.

— Сейчас вы, господа и граждане, очистите зал, но прежде я скажу несколько слов. Да, у нас еще нет законов, которые написаны на бумаге. Это правда. Но совесть народа, совесть революции чиста и высока. Это закон всех законов. Этой совестью — ее рабы и слуги — мы и судим... А что касается семи классов на все наше судейское собрание, господин Проклов, то и тут вы ошиблись. Не в классах дело. Без совести и при большом уме, и при высшем образовании — не проживешь. Вот как вы, к примеру, господин Проклов, или как госпожа Фанина. Ведь деньги, которые она украдала у Советской власти, — это хлеб, одежда, тепло, от нехватки которого так страдают люди. Но это еще что... Деньги эти умножают страдания, льют кровь сотен и тысяч людей, потому что отдаются на поддержку саботажа, заговорщиков и террористов. Где же совесть госпожи Фаниной, которая творит это, где ваша совесть, господин Проклов, когда вы говорите слова в ее защиту?

— Полно, господин комиссар! — хорохорился Проклов. — Нам недоступна ваша проповедь. Это или слишком умно, или слишком глупо.

Алексеев усмехнулся.

— Воистину прав поэт Крылов: «Да плакать мне какая статья: ведь я не здешнего прихода». Вам трудно понять нас: мы творим добро, которое непримиримо со злом, творимым вами.

— У нас слишком разные понятия добра и зла! — выкрикнул кто-то из зала.

— Тут вы правы, — ответил Алексеев. — Но обратите внимание: мы говорим на языке той доброты и справедливости, который не могут не слышать и глухие. И если кто-то в самом деле нас не слышит, значит, он просто мертв уже. Говорите: новый суд несуразен, не умеет судить, нет законов? Но спаси вас бог от собственно народного суда, от суда на улице, от самосуда, проще говоря. Не доверяете нам, господа волки буржуазного правосудия? А нам — плевать! Мы — русские робеспьеры. Нам история, нам народ вложили в руки карающий меч, и он найдет и поразит каждого, кто пойдет против нас. Не сомневайтесь. Вот почему мы просим всех, кто хочет жить: выньте паклю из ваших ушей, посмотрите на мир открытым взглядом. Мы зовем в новую жизнь всех, у кого есть совесть. А остальных...

Алексеев умолк. Постоял, опустив голову, сказал со вздохом:

— Я думаю, все понятно. Господина Проклова за подстрекательство и враждебные Советской власти речи — арестовать. Гражданку Фанину — передать в трибунал. Остальные — разойтись. Объявляется перерыв.

Мария и Алексеев вышли на улицу.

— Ты понимаешь, что могло произойти, Мария?

— Это ты о чем? — беспечно потрянув своими вьющимися волосами, ответила вопросом на вопрос Мария. И тут же изменила тон. — Я все поняла еще гораздо раньше тебя. Ведь они, когда я подседа, меня за свою, видно, приняли. Перешептывались. И я поняла, что готовится недоброе. Потом они замолчали. А потом... Потом я пошла к тебе.

— Нет, ты все-таки, кажется, не понимаешь. Они могли убить нас и тебя вместе с нами. Это ты поняла?

— Поняла, Василек, не маленькая.

Алексеев почувствовал, как теплая волна нежности окатила его, затопила всего, сжала горло.

Он все же заговорил:

— Мария, а я ведь даже не знаю, сколько тебе лет. Ты выглядишь совсем девочкой.

— А я не девочка. Мне семнадцать с половиной.

— Прости, я тогда все рассказывал о себе да о себе.

— Тебе есть что рассказывать. А я что — просто девушка, просто живу. Родилась и выросла в Литве, в Виленской губернии. Мама — полька, папа — украинец. Наша деревня очень красиво называется — Дуботрав-

ка. И вокруг красота неопиcуемая. Потом война... И вот уж три года мы в Питере. А вообще я — «маменькина дочка», делать ничего не умею, даже стирать и обед готовить. Это ты учти.

И Мария засмеялась своим гортанным смехом, от которого у Алексева кружилась голова.

— Мне пора, Мария. Ты домой?

— Нет, я с тобой. Я боюсь за тебя.

— Зря. Такое случается редко. А так вот, как сегодня, первый раз.

— Все равно. А сейчас кого судить будете?

— Егора Дудку. И грех, и смех, а не дело. Позавчера вечером патрулили. Смотрим — повозка едет. Так, для порядка остановили. Куда, мол, едешь, да что везешь. Смотрим — гроб везет. Дело обычное, народу мрет много сейчас. Так бы и отпустили мужика, да он, бедолага, так ерзал на сиденье, так глаза на нас пучил, что мы крышку у гроба приподняли. А в ней — мешок с мукой. Оказалось, что этот Дудка работает на продовольственном складе, а муку украл, там же и сознался. Пришлось задерживать...

...Теперь зал был совсем другой, простонародный — говор громкий и грубый, смех открытый, несло махрой, овчиной, потом.

Привели Дудку. Алексеев спросил, не желает ли кто выступить в роли защитника гражданина Дудки. Желающих почему-то не оказалось.

Сам Дудка, бородатый мужик лет тридцати пяти, не больше, сидел, положив руки на перегородку и опустив на них голову, в зал не глядел. Было в его большой фигуре что-то жалостливое и обидное.

— Ну что, гражданин Дудка, признаешь себя виновным? Украл муку? — начал Алексеев.

— Брал, вышкородие... — ответил Дудка виноватым голосом, не поднимая головы.

Алексеев засмеялся:

— Какое я тебе «сковородие»? Я — гражданин судья. Не серди меня. Значит, признаешь?

— Признаю...

— Теперь скажи главное: почему стащил муку? Только честно. И встань, когда с судом разговариваешь.

Дудка встал.

— Так что тут, вашско... гражданин судья, что тут говорить... Детки у меня, две дочки, двойняши: Нюра и Шура, а жена от нас ушедши по причине нашего с ней душевного разлада. Голодно живем, как все...

— Вот именно — «как все»... — вставил Алексеев назидательно.

— Учатся двойняши мои, по девять годков им. Читают энтот... как его... букварь: «Маша ест кашу» и слюнки сглатывают, плачут и спрашивают: «Где, батя, эта Маша живет, мы к ней в гости пойдём». Эх, ду-

маю, пропади все пропадом. А тут мука, век бы я ее не видывал... Вы простите меня, я человек малограмотный, может, я рассуждаю всякую глупость, но я не смог удержаться...

— А не врешь про детей? — спросил Алексеев.

Встала в зале женщина, заговорила горячо, заполошенно:

— Правду говорит, двое дочек у него. Я соседкой буду... Два года, как из деревни в Питер приехал.

— Назовите фамилию, имя и отчество, — попросил Алексеев.

— Комлева Пелагея Васильевна я. Лично знаю Егора Дудку с детства.

Из задних рядов раздался мужской голос:

— Жена у него, простите за выражение, гулящая была... Моя фамилия Касаев Степан, из одной деревни мы. А мужик Дудка справный, товарищеский.

— Товарищ секретарь, ознакомьтесь с документами гражданина Касаева... и гражданки Комлевой, — приказал Алексеев. — Ну, так что же мы будем делать с «товарищеским мужиком» Дудкой, товарищи заседатели и присутствующие граждане?

Снова встал Дудка, проговорил угрюмо...

— Отпустите меня, вашскородие... Позору-то сколько, сам себе не рад.

Зал заволновался:

— Отпустить надо.

— Помрут дети-то. А Советская власть разве детей не любит?

— Любит, даже очень любит, — ответил Алексеев, — и это его, Дудку, оправдывает: не для себя, не для обогащения украл он у революции муку, а для детей, которые есть хотят... Но разве только Дудкины дети голодают? Какой у нас сейчас паек?

— То осьмушка, то полушка, на зуб положил, не жевавши проглотил, — сказала женщина из первого ряда.

— Вот именно, — согласился заседатель справа от Алексеева. — А теперь представьте, граждане, что одни себе по мешку муки стащут, запас образуют, а другие? Другим — помирать. Сознательные пролетарии, бойцы революции голодают. И если мы не покончим с воровством — революция погибнет от голода. И что мы должны сделать в свете вышесказанного с гражданином Дудкой?

— Расстрелять, чтоб другим неповадно было! — выкрикнул кто-то. Зал вдруг затих от неожиданности. Даже Алексеев опешил. Покачал головой.

— Нет, граждане, расстреливать Василия Дудку революция не может. Во-первых, потому что он признает Советскую власть, служит ей и вину свою полностью признает. Во-вторых, потому что воспитывает детей, учит их, хотя сам, конечно, проявил несознательность. Причина

тому — его дремучая темнота. И если он еще совершит преступление, пощады ему не будет. А сейчас предлагаю: считать, что мы его осудили на три года тюрьмы, но условно. Тем более что муку вернули на склад. Я думаю, так будет по совести.

Уже смеркалось, когда Алексеев с Марией вышли на улицу. Алексеев был усталым и удрученным.

— Иногда мне кажется, Мария, что судить нельзя никого. Любой человек может оступиться, пасть низко. В человеке столько всякой дряни, животного, скотского, не зря ж говорят: «От тюрьмы да от сумы не зарекайся». И потом — как судить о том, чего не знаешь? Ну, вот судили мы сейчас этого Дудку... Я сидел и думал: «Ну хорошо: сам ты знаешь, что такое голод, что значит не есть день, два, три. Но знаешь ли ты, как это невыносимо тяжело, наверное, когда в твою душу жадно смотрят голодные глаза твоих детей, девчоночек? Ведь у тебя, Алексеев, нет детей и ты не знаешь, что это такое — дети вообще. А голодные дети, твои голодные дети... господи, это, может быть, самое страшное. Что тут за грех тогда — украсть ради их спасения и как тут не украсть?..» А мне судить этого человека надо. Это мука, поверь.

Помолчал, кусая губы.

— А еще... Человек в горе, в унижении становится сам похож на ребенка. Вот этот же Дудка. Уж не молодой. Я его спросил вчера: «Крал?» — «Крал», — ответил он. И посмотрел на меня, ну, так виновато, как мальчишка, снизу вверх, исподлобья, как-то по-детски... Никогда не забуду. И заплакал: «Деткам не говорите, стыдно...» Ты понимаешь: стыдно перед детьми своими, из-за которых он украл эту распроклятую муку. Значит, совестливый он человек. А я должен его судить. Нет, нет — это ужасно. Сердце жалостью обливается. Сил нет. Знаешь, порой странные и мучительные мысли приходят мне в голову. Мне жаль собаку, которую я обидел, и не жаль тех, кого застрелил в бою. А ведь они — люди. Отчего так происходит? Мне вот этого Дудку до слез жаль, а того, что крикнул: «Расстрелять!», я засадил бы в тюрьму без всяких сомнений. Нет, самая трудная в мире работа — судить людей. Это каторга, и если я не сбросил этот тяжкий крест со своих плеч, так лишь потому, что знаю, что кто-то должен его нести. А если «кто-то», почему не я?

— А ты не бойся показаться слабым. Тебе это не страшно: ты сильный. А то, что ты понять не можешь, милосердием называется, Васенька. А оно вовсе не означает, что любить надо всех подряд. Есть люди, которые для людей в сто крат хуже зверя... Это я в книгах читала...

И вдруг резануло по глазам, будто ножом. Алексеев вскрикнул от боли, схватился за лицо ладонями.

— Что? — спросила испуганно Мария.

Боль прошла. Алексеев опустил ладони, но вокруг был мрак, он ничего не видел. «Не паникуй, успокойся, сейчас все пройдет, так уж бывало», — говорил он себе. Но зрение не возвращалось...

IV.

В январе 1918 года Алексеев оказался в больнице. Такого еще с ним не бывало, хоть в детстве он переболел многими болезнями: удавалось перемучиться в домашней кровати, обойтись отварами, примочками, маминой заботой. Теперь — больничная койка. На глазах — тугая повязка, а сами они горят так, будто на содранную кожу насыпали горячей соли.

Кругом были люди, по голосам Алексеев высчитал, что, кроме него, еще четверо. Но он ни с кем не заводил знакомства, хоть приставали с вопросами. Странно, но ему, привыкшему быть среди людей, жизни своей без них не представляющему, сейчас не хотелось ни с кем и ни о чем говорить. Было страшно. Да, страшно, и он не хотел делиться своим страхом ни с кем, боялся его выказать, боялся бояться...

Он лежал и думал... Да, он много раз слышал, что у каждого человека есть свой тайный мир, но не был согласен с тем, что у каждого. До недавнего времени у него этого мира не было, он считал, что обо всем можно сказать всем и все можно спросить. Сегодня ему не хотелось, чтобы другие, даже самые близкие, знали его жуткую тайну о том, что ему страшно. Он прятал свой страх, и вот в его душе образовалась область неизвестного другим, которая именуется этим самым тайным миром. Теперь появились мысли, которые он мог доверить только себе...

Попытался писать, но карандаш соскакивал с листа, а строки лезли одна на другую, и он подумал, что вряд ли разберется в них потом. И горько усмехнулся: «Если оно будет, это «потом»...»

Он думал о самом главном: стоит жить или нет, если все останется так, как продолжается вот уже больше недели, — если зрение не вернется. Слова врачей «все будет хорошо» его не утешали, ибо в их голосах он улавливал нотки неуверенности, соболезнования и плохо скрытой безнадежности. А если предположить худшее, то это значило... Уйти из жизни, оставаясь живым?

Вспомнились строки Пушкина:

Но не хочу, о други, умирать;

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...

Жить, чтобы страдать... Какой парадокс! Но сказал это великий Пушкин. И вдумавшись в смысл парадокса, Алексеев впервые понял вдруг, как огромен этот смысл. Страдания заставляют размышлять, отсеивая

зерна от плевел, они требуют решить для себя основной вопрос — зачем ты живешь, что в твоей жизни главное, найти это главное и взять его за стержень своего бытия. В сытости, легкодоступной радости и удовольствиях человек теряет себя. И закаляется, и растет — на страданиях. Черт возьми, у него их в жизни было более чем достаточно... Но какие это разные вещи — размышления о смысле жизни человека здорового, которому открыты все пути, и человека, пораженного недугом, у которого выбора практически нет...

Приходили друзья, товарищи, говорили бодрими голосами, хлопали по плечу, желали «скорейшего», а в словах таились неуловимые жалостливость и сомнение, которые Алексеев все же улавливал своим обострившимся до крайности сознанием. Он был рад их появлению и не рад. Единственно, кого он ждал, была Мария. Но она не шла. Обиделась...

В тот день, когда она привезла его на извозчике в больницу, когда боли спали и можно было говорить о чем-то, кроме болезни, между ними состоялся тот обидный для обоих разговор. Она упрекала его:

— Разве можно так жить, Василий? Ты столько читаешь, пишешь, работаешь, не спишь сутками, неделями, питаешься чем попало, ешь не вовремя. Врач так и говорит: «Истощенный организм, истощенная нервная система, «усталое сердце»...» А тебе — всего двадцать два.

Алексеев злился.

— О чем ты говоришь, Мария? Пишу много, потому что писать некому. Мотаюсь по заводам, потому что другие не хотят. Ты про Леске слышала? Так о чем разговор? На суде ты была, сама все видела. Я вынужден так жить, да и не знаю уже, как можно жить иначе. «Питаешься чем попало»... Смеешься, что ли? Будто не знаешь, что творится в городе...

Мария не соглашалась.

— Выходит, ты самый незаменимый, что без тебя революция остановится. Ты только посчитай свои нагрузки: комиссар юстиции района, председатель суда, член райкома партии, депутат района, депутат города, председатель Петроградского комитета союза молодежи, председатель районного союза, редактор журнала, редактор «Листка», красногвардеец, представитель в Наркомтруде, в Наркомпросе, в Пролеткульте... Я только сейчас это все подсчитала. Ужас! Где ты только не состоишь! Зачем ты стараешься поспеть всюду? Выходит — ты самый сознательный, самый передовой...

— Прекрати, Мария! — закричал Алексеев и застыл от нахлынувшей боли. По глазам будто иголками стрельнули. Закусив губу, переждал наплыв боли, сказал тихо, устало:

— Прости... Ведь говорили мы уже об этом тогда, в Летнем саду. Что еще сказать? Конечно, можно жить и по-другому... Ничему полезному

не мешать, ничего вредного не позволять. Пусть все идет как идет. В конце концов добро победит зло. В конце концов... «медленным шагом, робким зигзагом»... Но сейчас — революция. Ре-во-лю-ция. Все — вверх тормашками! Все старое — к черту! А новое — где оно? Что поставить вместо старого? Где новые законы? Где новая мораль? Где новый человек? Где новая промышленность, новая деревня? Где? Кто все это создаст? Это должны сделать мы, кто позвал массу рушить старое и строить новое, мы — большевики. Да, вместе с массой, но — впереди нее, впереди, понимаешь? Но дело все, родная, в том, что нас пока — мало, катастрофически мало. Ну, что такое тридцать тысяч большевиков Петрограда на миллион жителей? Мало! К Питеру нельзя сейчас относиться географически, как одному из городов страны, пусть и столице. Питер — это сердце революции. Сердце! Понимаешь? Ударят в сердце — погибла революция... Против нас все старое всей России — старые привычки и обычаи, старые идеи, что вдалбливались в головы накрепко сотни лет, против нас религия с ее догмами, против нас контра внутренняя, контра внешняя, против нас тридцать две партии — эсеры, меньшевики, анархисты и прочая... Да и внутри у нас в партии не все едины... Работы — невероятные горы, трудности — жуткие, а нас так мало. Теперь ты понимаешь, что остается делать каждому? Работать за двоих, а можешь — так за пятерых, за десятерых. Понимаешь? Вот я и тяну, пока тянется...

Мария упрямо спорила:

— Все это я понимаю. Я с тобой в одной партии, тоже стараюсь изо всех сил... Но так, как ты «тянешь» — нельзя... Ты скоро выдохнешься. Вот уж «звонок»... Кому ты нужен будешь слепой?.. — Мария вскинулась, закрыла ладонью рот: вот и сказала вслух самое страшное для себя и — она знала это — для Алексеева. Прошептала вдогонку за трудной правдой:

— Только мне...

Но вышло это как-то неубедительно.

Алексеев угрюмо молчал. В уголках его губ засветилась горькая усмешка и тут же погасла.

— Пусть будет так — я выпаду из строя. Но я не стану в тягость никому, тебе тоже. Да и кто я тебе — случайный знакомый, чужой человек. Жить буду, как жил, пока свой ресурс до капли не выработаю — буду двигать мою работу из последнего. У меня есть перо, я могу писать, это факт!.. Я могу говорить — это факт! Что же ты меня списываешь? Ранно... И обидно. Уходи, я не хочу с тобой разговаривать. Мне больно... Доктор, мне больно!.. — закричал Алексеев.

Там, под белыми повязками вскипели и выкатились две слезинки, большие и ранящие, они опалили его больные глаза новой болью и одно было хорошо — никто их не видел...

И Мария ушла.

Ах, Мария, Мария... Как ударила она его, как ранила. Что боли физические в сравнении с болью души? Она ушла. Что осталось? Воспоминание о прошлых делах и будущей работе. Но будет ли она? Вот что мучило его больше всего.

Одолевали стихи, словно демоны, они будили его ночью, не давали засыпать с вечера, спасали от дурных мыслей, от хандры, а не хандрить в его положении — можно ли? Рождались его стихи из тоски и любви — по Марии, из надежды на верность друзей, из всего потока чувств и мыслей, которые накопил он за долгие годы борьбы и страданий в подполье, в тюрьме, в голоде и нищете. Они теснились в нем, как порох в патронной гильзе. И вот жизнь, неожиданная слепота, обострившая чувства до последнего предела, словно боек, ударила в капсюль и все — нет удержу, газ вытолкнул пулю, она понеслась... Стихи наплывали откуда-то из глубин его души, о которых он и не подозревал, торкались в мозг, в череп, словно невылупившиеся цыплята, сжимали сердце, выдавливали слезы, рождая тоску, восторг, отчаяние и радость — то порознь, то все вместе сразу... И одно было обидно — не упомянуть их, нет, не упомянуть.

Он ждал Марию. И она пришла. Пришла, когда он лежал, забывшись тяжелым, полубредовым сном...

Подошла, приложила руки к его щекам, припала лбом к лицу, замерла.

Под белыми повязками будто светом полыхнуло во всю алексеевскую душу. Он замер. И так они молчали долго.

— Я совсем не могу без тебя, Василек. Совсем. Ни дня. Я не шла, я терпела, я мучилась, пока не поняла: больше не могу. Я пришла к тебе навсегда, как ты — помнишь, там, в Летнем саду? И не уйду от тебя никогда. А будет суждено умереть, так и умру вместе с тобой. Верить?

Он молчал, гладил ее по волосам, прошептал:

— Ну, вот — я снова счастлив. Да, счастлив, даже в моем бедственном положении. И в самом деле: если человек слеп, глух или без рук, разве он не может быть счастлив? Я счастлив моей любовью, она заполняет меня до самых верхних берегов моей души. Я люблю и — боже мой, неужто правда? — я любим... Ты молчи, Мария, не перебивай... Возможно, когда-нибудь будет создана специальная теория счастья. А все ж и она не сделает всех счастливыми, ибо человек не бывает счастлив полностью и навсегда — оно убегает от него, его представление о счастье, и в этой погоне за ним человек и все человечество мчатся навстречу самим себе. Но эта наука в качестве главной части своей поставит во главу угла несомненно любовь. Без любви человек никогда не получит — даже на миг! — представление о том, каким оно может быть, это счастье.

Через несколько дней повязки с глаз сняли. Сначала серым и размытым предстал мир перед Алексеевым. Но все же он видел!.. Прошло еще несколько часов, и окружавшие предметы обрели контрастность и цвет.

Зрение вернулось. И это событие переживал не только Алексеев, но вся палата.

Через несколько дней Алексеева выписали из больницы.

V.

...А вскоре Алексеев был назначен заместителем председателя Петроградского окружного совета народных судей, в задачу которого, согласно Декрету ВЦИК и СНК, входило рассмотрение дел, превышающих подсудность местного суда, иначе говоря, особо опасных преступлений.

Однажды в начале 1919 года в ворохе дел, которые теперь с утра до вечера приходилось Алексееву читать и от которых он, привыкший к живой работе с людьми, казалось, сойдет с ума, встретилось дело гражданина М. Н. Феофанова по поводу группового ограбления квартиры со взломом и применением насилия над ее хозяином — старым и больным врачом. Но не само «дело» было интересно, а фотография: на Алексеева смотрел жандармский ротмистр Иванов, два года назад допрашивавший его в тюрьме. Алексеев попросил доставить арестованного к нему. Утром следующего дня привели человека, одетого в потрепанную одежку, заросшего буйной щетиной.

Алексеев ждал появления Иванова с нетерпением и даже злорадством. Да, он радовался зло — и что тут кривить душой? — в руки, наконец-то, попался тот, с кем спорили не о пустяках, а о высших политических и жизненных материях, кто стрелял в него — враг идейный, враг революции, личный враг, наконец. И когда Иванова ввели, он не отказал себе в удовольствии быть учтивым, почти галантным: вышел из-за стола, поздоровался за руку, сел напротив на стул в нарушение инструкций.

На лице Иванова не было ни страха, ни страдания, ни удивления, ни смущения. Ничего, кроме седоватой щетины. «Узнал или нет? — подумал Алексеев. — Кажется, не узнал». Спросил:

— Не узнаете, господин Иванов? Я — Алексеев. Помните: «Предварилка», 1917 год, роскошный кабинет, едва отмытый от дерьма рабочий парень и наш спор о смысле жизни и прочем тому подобном?

Иванов бросил на Алексеева быстрый взгляд, но молчал.

— Размышляете о том, признаваться или не признаваться, что вы не М. Н. Феофанов, а ротмистр Иванов? Зря. Вы же понимаете, что на до-

казательство этого потребуется два-три часа, не больше. Знаете, почему я вас вызвал? Не верю, что вы пошли на ограбление просто так, а не по какому-то сильному мотиву. Здесь что-то гораздо большее кроется, чем уголовщина. «Святое дело сыска» и вдруг... Не вяжется. Будете говорить?

— Вас я узнал сразу. Говорить буду. Но сначала вопрос: вы — заместитель председателя Окружного суда всего Петрограда?..

В голосе Иванова Алексеев уловил смятение и удивление.

— Да.

— Сколько ж вам лет? Напомните...

— Двадцать два.

— С ума сойти! По прежним временам — это должность действительного статского советника. Если сравнить с военным ведомством, выходит, что вы — генерал-майор. Генерал в двадцать два года — с ума сойти. Такое раньше только с великими князьями и царскими особами возможно было. Н-да!.. И то хорошо, что хоть генерал допрашивает.

Алексеев усмехнулся.

— Да нет, я вас, господин Иванов, допрашивать не буду. Это дело следователя. Я о главном спрошу: кто вы — уголовник или?..

— «Или», конечно же, «или»... Я — член организации «Белый орел», ее Дальневосточной секции...

— Дальневосточной? — удивился Алексеев.

— Да, я служу у атамана Семенова. В Петроград прибыл по заданию. Явки оказались проваленными. Закончились деньги, решили добыть таким вот образом... Викулова, врача этого, я знаю давно. Богатый, но либерал, знаете ли... Такой нелепый случай — засада. Откуда вы узнали, что мы придем?

— Действительно, случай. Ждали совсем других. Они не пришли, а вы вот...

— Какая обида! Вам везет, господи Алексеев.

— Нет, это не нам везет, а вам не везет, господин Иванов. Зовите меня лучше «гражданин Алексеев». И давно вы у Семенова?

— Близко сошлись в девятьсот семнадцатом, когда Семенов с помощью курсантов военных училищ пытался организовать переворот, арестовать членов Петроградского Совета и расстрелять их.

— Любопытно... Я, между прочим, и в то время был членом Петросовета. Продолжайте.

— Семенов предложил Керенскому сформировать отряды из забайкальских казаков, тот согласился, и мы уехали в Забайкалье. С тех пор я с ним. То в Маньчжурии, то в Чите...

Иванов сидел, опершись руками на колени, опустив тяжелую седую голову.

— Если бы мы взяли власть, я б знал, что делать теперь. Я б никогда не отпустил ни одного вашего брата из тюрьмы, я не судил бы вас, а просто перестрелял прямо в камерах. Я весь сыск уголовный и политический поставил бы на ноги, но поймал вашего Ленина и прикончил бы тут же, в первую минуту, ни о чем не спрашивая. Пулеметов, пулеметов — только их мне и хочется. Ибо только язык пулеметов доступен толпе... нар-роду... только свинец и петля могут загнать в берлогу этого стотысячерукого зверя...

Алексеев смотрел, сощурившись, на сильные плечи сильного врага и понимал, что все, что он говорит, — правда: нет, не выпустил бы, да, перестрелял бы. И чувствовал, как печет в груди, как хочется встать и грохнуть стулом по этой красивой голове.

— Во всех ваших словах, Иванов, самое важное слово «если». Именно это слово лишает какого-либо смысла дальнейший разговор на эту тему, — сухо сказал он.

— Это правда, — тихо подтвердил Иванов. — Он умен, ваш Ленин. В нашем воинстве такой фигуры нет. Да и прежде не было. Фокусники, тихие ничтожества, и не политики. И только поэтому вы возьмете верх.

— Это правда, — в тон Иванову сказал Алексеев. — Только говорить надо не в будущем, а в прошедшем времени. Мы уже взяли верх, уже победили.

— А этот, — Иванов кивнул головой на фотографию Дзержинского, — этот тоже умен?

— И честен, — ответил Алексеев.

Иванов замолчал. Молчал и Алексеев, глядя на него с сожалением, доступным бесспорному победителю. «Вот умный человек, а его надо убивать, — думал он. — Надо. Иначе убьет он, как убил уже многих. Но есть в этом какая-то нелепость и даже жестокость, есть, что ни говори. Ну, был бы немец или француз какой, завоеватель. Нет же, свой, русский человек, на Руси родившийся, на Руси выросший, за Русь умереть готовый. Но никогда нам не понять друг друга, а значит, и не жить рядом».

— Скажите, Алексеев, — заговорил Иванов, — почему мы разговариваем как враги? Ведь оба мы — русские, за родину радеем. Что стоит между нами?

Алексеев внутренне вздрогнул: об одном и том же по сути думали. Сомкнул брови па переносице.

— А вы как считаете?

— Россия между нами, — тихо сказал Иванов. — Моя Россия.

— Да, пожалуй, так можно сказать: «Моя Россия». Но не точно это будет. У каждого из нас своя Россия.

— Ну, ясно, — качнул уныло головой Иванов, перебив Алексеева. — Для точности надо сказать «народ».

— Да, народ. Потому что вы и вся ваша камарилья — не народ, хоть и россияне, в России живете и Россией правили. Вы так, нашлапка над народом, как крест над церковью.

— А что за церковь без креста? Крест — знак веры нашей, — возразил Иванов.

— Вот тут вы в точку попали. Вера, точнее, идея — вот что нас прежде всего разделяет. Мы другую веру людям дадим. Коммунистическую.

— И вы верите в то, что народ вашу веру примет?

— Убежден.

— На костер пойдете ради этого? Впрочем, это мне было ясно еще там, в «Предварилровке». Фанатик вы, гражданин Алексеев.

«Черт возьми, он не первый говорит мне: «фанатик». Шевцов о том же говорил. Мария намекает. По-ихнему, это, видно, должно звучать очень обидно, должно быть, во мне что-то такое нехорошее, смешное или страшное. А я не чувствую себя ни страшным, ни смешным».

— А что, господин Иванов, вы и в самом деле считаете меня фанатиком?

— Безусловно. В завершенном виде.

— И какие ж для того основания? Не стесняйтесь, говорите.

Иванов хохотнул.

— Я давно разучился стесняться... Основания, спрашиваете? Ваша слепая приверженность Марксу и Ленину — раз. Ваша предубежденность, исключая всякий разумный подход по отношению к другим учениям и вере, — два. Полная нетерпимость к инакомыслящим в сочетании с крайней жестокостью — три. Довольно?

— Успокоили, господин Иванов. А то я уж переживать начал, думал, вы в чем-то нехорошем меня подозреваете. Диспут открывать не станем на сей раз, а все ж скажу, что и теперь вы ошибаетесь. К Марксу и Ленину я привержен не слепо, а по убеждению, ибо их учение убедило меня в своей истинности. Как это в Евангелии от Матфея: «Светильник тела есть око, и если око твое будет устремлено на единое, вся плоть твоя исполнится света». Так вот, марксизм и есть то «единое», чему служу я и чем полна душа. Что ж тут предосудительного?.. Другие учения и взгляды допускаю и признаю. Нетерпим к идейным противникам? Да. Но на крайние средства решаюсь в крайних случаях. Как-то: стреляю, когда стреляют в меня. Как тогда, в октябрьскую ночь, когда вы с капитаном Ваногом хотели грузовик захватить. Не помните? Ну, да бог с вами, не об этом речь сейчас. Что там еще? Жестокость? И это неверно. Большевик ищет свой рай на земле, а не на небе, это правда. Но за свое право делать революцию, за свою работу он не требует платы и благ, а сам платит за это. Чем? Сном и отдыхом, здоровьем, жизнью. Что же тут-то обидно-

го для меня? Это мне в радость — и дело мое, и оценка ваша, господин Иванов... Вы на ЧК намекаете? А знаете ли вы, что ЧК не расстреляла ни одного человека до тех пор, пока не был объявлен «белый террор»? Что даже Пуришкевич и провокатор Шнеур остались живы? Знаете ли, что когда ВЧК эвакуировалась из Петрограда в Москву, в ее составе было всего сто двадцать человек? Что эти единицы гибли сами, но не смели пролить кровь таких вот ярых врагов революции, как эти и им подобные? До поры, до поры... Теперь уж что поделать — вынудили.

Алексеев с трудом остановил себя. Ходил по комнате. Иванов сидел.

— Вот вы, господин Иванов, говорите о моей жестокости. А ведь на ваших руках, должно быть, много крови, не так ли?

— Много.

— Расстреливали?

— Расстреливал.

— Вешали?

— Вешал.

— Мы передадим вас в ЧК. Это их дело.

— Меня расстреляют?

— Думаю, да. Вот и конец нашему диспуту, господин Иванов... Пуля ставит точку в вашей жизни, а не моей.

Иванов покусал губы.

— А вы издеваетесь, мстите... Хотите, чтоб я, старый служака, сказал вам, мальчишке, что моя жизнь прошла зря? Пуля — еще не аргумент. Она могла достаться и вам, окажись вы где-нибудь в Бурятии, где наша власть... Сколько их я вколотил в вашего брата, но много вас, много. У вас закурить не найдется?

— Не курю, но махорку на всякий случай держу. Вот, пожалуйста, и спички... Скажите, Иванов, и не страшно было — стрелять, вешать? Людей не жалко?

— Страшно? Жалко? Кого жалеть — эту мразь? Что не занялись этим тремя годами раньше — вот об этом жалко. В конце января девятьсот семнадцатого, помню, повеселились на станции Маньчжурия. Атаман наш остряк. Звонит ему представитель Читинского Совета: «Атаман Семенов, что произошло у вас там, на станции Маньчжурия?» А он отвечает: «Ничего особенного. Все успокоилось. Ваши красногвардейцы мне больше не мешают». Тот: «Как это понять? Вы их расстреляли?» А он: «Нет. Я их не расстрелял. Я дорожу патронами. Я их всех перевешал». И отправил в Читку платформу с трупами повешенных. Вот так и надо было действовать с самого начала.

Иванов умело сделал самокрутку, жадно затянулся, пустил струю дыма.

— Несколько дней не курил, знаете ли. К нашему диспуту в «Предварилровке»... я не помню, о чем мы говорили. Я со многими о жизни гово-

рил. Это, знаете ли, придавало осмысленность работе, такую остроту, злобу служебную... В одном признаюсь: обидно мне, русскому человеку, по указке японцев идти походом по русской земле на русскую столицу, пускать русские пули в русских же людей и слышать, как они надо мной свистят... Тоже русские. Больно это... Однажды, где-то на заимке, под Читой, в лесу, во мху, в тмутаракани заговорил я с мужиком. Стоит, зарос бородищей, ни глаз, ни носа не видно, ну, быдло, да и только. Спрашиваю его: «Керенского знаешь?» — «А как же, знаю», — говорит. «И что же думаешь о нем?» — задаю вопрос. «Пустозвон», — говорит. «А о Врангеле слышал?» — спрашиваю. «Как же, слышал о Врангеле», — отвечает. «Что думаешь?» — спрашиваю. «Пан», — говорит. «А Семенов — кто?» — спрашиваю. «Семенов? Зверь». И рукой махнул. Меня глубочайше, до глубины души ранила, просто убила эта встреча, знаете ли... Так точно, одним словом — и полный портрет каждого. Поразительно! А ведь быдло быдлом...

Алексеев усмехнулся.

— Это, господин Иванов, и есть народ... Вы фарисей, ротмистр, крайний фанатик, иначе говоря, ибо вы слепой во всем. Вы лицемерным благочестием не прикрываетесь. «Горе вам, фарисеи и лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь». Помните Библию? Горе вам, ротмистр Иванов. Что-нибудь еще хотите сказать?

— Нет. У меня все.

— У меня тоже.

Алексеев нажал на кнопку. Вошел красногвардеец.

— Уведите, — приказал Алексеев.

VI.

Утром 4 октября из Петрограда вернулся Григорий Хоружий, привез кучу новостей, привет и шерстяные носки от Марии.

Дела на Южном фронте были плохи. Деникин, заняв 20 сентября Курск, развивал наступление на Москву. Над столицей нависла смертельная опасность.

И тут, совсем не случайно, 28 сентября Юденич начал свое новое, второе наступление на Петроград. Благодаря помощи США и Англии он быстро оправился от недавнего тяжелого августовского поражения. На Северо-Западном фронте белая армия снова насчитывала 34 тысячи штыков и 2400 сабель при 47 орудиях, 500 пулеметах, 4 бронепоездах, 6 танках и 6 самолетах.

Первыми же ударами белые прорвали фронт красных 10-й и 19-й стрелковых дивизий. И еще одна новость, которую сообщил Хоружий: войска

Юденича заняли железнодорожный узел Струги Белые, перерезав железную дорогу Псков — Луга.

Алексеев вздохнул.

— Быстро идут, гады. Всего неделю, как начали наступление, а уже в Стругах. А под Ямбургом затаились. Тут что-то не так, нутром чую. Нет, не могу больше сидеть в Совете, я должен быть на фронте, ты понимаешь?

Хоружий понимал своего товарища. Но что поделать? Доверено работать в Совете — сиди и не дергайся. Да и разве пустячными делами они заняты? Взять хотя бы последние дни, когда 25 сентября в числе других был образован Гатчинский сектор Петроградского укрепительного района: Ораниенбаум — Гатчина — Тосно. По всей этой линии силами местных жителей и воинских частей по плану командования 7-й армии шло рытье окопов и пулеметных гнезд, устраивались лесные завалы. Организация этой работы была возложена и на Гатчинский Совет.

Верхом на коне, в дождь и непролазную грязь осени 1919 года Алексеев мотался от одной точки к другой, добывая лопаты, ломы и топоры, там, где их не было. А там, где не привыкшие к холоду и грязи граждане-интеллигенты прятали закоченевшие руки в муфты и под мышки, топтались на месте вместо того, чтобы орудовать киркой и лопатой, он соскакивал с коня, хватал лопату, ту, что побольше, и рыл ямы с таким остервенением, будто через пять минут и начнется это самое наступление превосходящих сил противника, о котором он только что им рассказывал. Он хватал на лопату земли побольше, швырял подальше, со стонами и криками, без остановки, пока перед глазами не начинали мелькать «белые мухи». Иные граждане-интеллигенты ворчали в силу своей невысокой сознательности, но все же брались за орудия труда.

Были и другие дела под стать фронтовым: мобилизация населения в части 7-й армии, чистка города от засевшей в нем агентуры белых, ну, и конечно же, работа среди молодежи. Алексеев не был бы самим собой, если б не добавил этот «довесок» к своим служебным обязанностям.

Комсомольская организация Гатчины во главе с шестнадцатилетним Костей Рачковским была еще слабой, малочисленной, и Алексеев каждую свободную минуту проводил в горьком комсомола, на собраниях ячеек, которые уже действовали на железнодорожном узле, товарной станции, при военкомате, в соседних деревнях. Около трети своего состава гатчинская организация РКСМ выделила на фронт, остальные комсомольцы вместе с партийцами готовили город к обороне. Это их руками были размонтированы станки и оборудование меднолитейного завода в Мариенбауме, погружены в железнодорожные вагоны сырье и готовая продукция, это благодаря им завод был полностью эвакуирован и спасен от Юденича, сбережено десять тысяч пудов меди, несколько вагонов медных изделий.

Да, все это был, собственно говоря, фронт, но не бой, в котором Алексею так и не удалось побывать до сих пор. А ему во сне не раз даже виделось: он в штыковой атаке, в разведке. Ну, что тут поделывать — мечталось! Двадцать два года: молодость, удаль, жажда подвига...

Еще Хоружий сообщил о том, что в Гатчину из Петрограда вот-вот должен прийти бронепоезд, отремонтированный путиловцами.

— Как?! И ты молчишь об этом до сих пор?! — вскричал Алексеев. — Вот на нем я и уйду воевать. И черта с два меня кто-нибудь удержит.

И кинулся к телеграфному аппарату, приказал телеграфисту срочно выяснить, когда прибудет бронепоезд. На том конце провода попросили времени и через час сообщили: «Секретно. Сегодня вечером Гатчину прибудет бронепоезд номер сорок четыре зпт командир Евдокимов тчк Обеспечьте прием тчк».

И еще ни с того ни с сего телеграфист вдруг отстучал, что в Петрограде хлещет ливень с градом, тучи двинулись в сторону Гатчины...

Пока же здесь ярко светило солнце и не было даже намека на непогоду.

Изнемогая от собственной тяжести и усталости, тучи добрались до Гатчины только к вечеру, заглотив остатки дня и, зависнув над самыми крышами домов, стали сваливать на них со своих плеч воду, холод и темень. Будто английские аэропланы, они кружили над городом часа два и, отбомбившись, двинулись дальше в сторону Ямбурга, швыряя из своего хвоста одну за другой длинные ленты ярких молний в залитый водой и присмиривший город, угрожающе рыкали, как победивший, но не добивший свою жертву зверь, который может еще вернуться.

А к ночи Алексею сообщили, что бронепоезд прибыл. Алексеев кинулся на железнодорожный узел — родные путиловцы! Ему повезло: в пулеметном расчете бронепоезда № 44 было свободным место пулеметчика, а он в Торжке, в запасном полку, обучился этой работе, управлялся не только с «максимом», но также с «льюисом» и «гочкисом». Командир бронепоезда Владимир Михайлович Евдокимов, бывший офицер, тут же опросил Алексева на предмет знания материальной части пулемета, засек время на его разборку и сборку, остался доволен результатами. Теперь дело было за пустяком: добиться разрешения на перевод в команду бронепоезда.

На это ушло два дня: ценный руководящий кадр — и вдруг рядовым пулеметчиком? При нехватке комсостава? Неразумно. Спасло то, что бронепоезд как-никак был самым грозным оружием, что команда на него формировалась из людей исключительного воинского мастерства и мужества. Но такой человек к пулемету нашелся бы, несомненно, и потому неизвестно, чем бы все закончилось для Алексева, если бы не были получены разведанные о том, что в ближайшие дни Юденич дви-

нется со стороны Нарвы на Ямбург, от которого до Гатчины рукой подать; что в Финском заливе приведены уже в полную боевую готовность английская и финская эскадры; что удар на Петроград через Гатчину и есть главное направление движения белых войск и что снятие с Нарвского участка бригады 6-й стрелковой дивизии и конной бригады — ошибка руководства обороны Петрограда, именно то, чего добивался Юденич: ослабить Нарвский боевой участок. Не было ясно только, когда начнется наступление — сегодня, завтра?

В срочном порядке бронепоезд отправили на Ямбург.

Алексеев занял место в пулеметном расчете.

Пулеметное гнездо находилось в носовой части бронепоезда, а чуть сзади и выше располагалась пушка с боезапасом, и от того было тесно до невозможности, пулеметчику еле удавалось развернуться на те сорок градусов сектора обстрела, что были вырезаны в броне. Но бронепоезд — не салон-вагон, машина боевая, потому и заботились не об удобствах, а о том, как разместить побольше патронов и снарядов, которые — все это понимали — с минуты на минуту понадобятся. А пока стояли в Ямбурге, ждали...

Алексеев осваивался с обстановкой, знакомился с командой, в которой многих знал, и почти все бойцы, кроме командира бронепоезда, знали его. Что удалось попасть на бронепоезд, он был рад теперь еще больше, чем ожидал. От того, что все вокруг, как родные, это, конечно, главное. А еще от того, что родилось в душе какое-то новое, особое чувство силы и уверенности. Может, потому, что твое незащищенное тело прикрыто толстой броней, что огромная масса, оснащенная шестью пушками и четырьмя пулеметами, тяжело несущаяся по рельсам, неотвратимо могуча и, казалось, несокрушима? И ты неотделим от нее, ты так же могуч и непобедим? Может...

Все жаждали боя. И он грянул.

10 октября Юденич бросил на Ямбург, Волосово и Гатчину свой 1-й корпус. При поддержке танков и ураганного артиллерийского огня белые стали быстро теснить 6-ю дивизию красных. Километр за километром они сдавали позиции, а бронепоезд прикрывал их отход огнем своих пушек, пятясь к Ямбургу.

Неожиданно с тыла наскочила белая кавалерия, взорвала рельсы, отрезав путь к отступлению, пошла в атаку, пытаясь захватить бронепоезд. Вот уж где отвел наконец-то свою душу Алексеев, хоть наблюдать за результатами работы не было возможности: в бешеном галопе кони неслись на бронепоезд, и по разверстым ртам их всадников было можно догадаться, что они орут зло и ненавидяще, но все заглушал грохот собственного пулемета и уханье пушки, от выстрелов которой болели перепонки в ушах и ело глаза от дыма.

Измотавшись, белые ушли за лесок и притаились там, ожидая, когда команда примется за ремонт путей. И лишь только появилась первая группа у развороченных взрывами рельсов, из леска раздались выстрелы. Ранили Иванченкова. Но выхода не было: близился вечер, темнота, которая была на руку белым. Так, под прикрытием пулеметов и орудий несколько часов шла эта смертельная работа: двое в команде были убиты, трое ранены, но бронепоезд вырвался из западни. И в самое время — вдали уже показался вражеский бронепоезд и начал пристреливать цель. Теперь, когда маневренность была восстановлена, дуэль продолжалась на равных...

В ночь на 12 октября Ямбург пришлось сдать.

15 октября бои уже шли на подступах к Гатчине, Павловску, Детскому Селу, к Стрельне и Петергофу. Было ясно, что Гатчину удержать не удастся. Спешно велась эвакуация семей всех, кто работал в органах Советской власти, вывозилось наиболее ценное оборудование.

17 октября белые ворвались в Гатчину и уже половина города была занята ими, когда Евдокимов получил приказ из последних сил держать Варшавский вокзал, поддержать огнем отступающую роту, на плечах которой висели белые, растекаясь по улицам.

Но что может бронепоезд в городе, когда все цели закрыты стенами зданий? Только ждать, когда выкатят белые орудия и расстреляют его прямой наводкой. Глупо.

Евдокимов снял с бронепоезда половину команды, разбил на тройки и отправил в разные концы для скорой разведки. Через полчаса все должны были вернуться. В любом случае бронепоезд в это время покинет вокзал: выстрелы слышались уже и в той стороне, куда предстояло отступить.

Не успели Алексеев вместе с Женькой Людкевичем и Павлом Гервинским выйти из здания вокзала на площадь, как увидели отступающих красноармейцев. Их было около сотни, они пятились, стреляя на ходу. И вдруг, наклонив штыки к земле, с криком «ура», с отчаянием погибающих кинулись навстречу белым.

Раздумывать было некогда.

— За мной! — крикнул Алексеев и кинулся вслед за красноармейцами.

Он несся в гущу рукопашного боя, на ходу срывая с себя длиннополую, мешавшую ему бежать шинель, и уже слышал лязг штыков, и бешеные крики дерущихся, их мат и глухие револьверные выстрелы в упор, и запах крови, и предсмертные хрипы и молил об одном: только бы они выстояли, эти тверские и тульские мужики, совсем недавно одевшие красноармейские шинели, только бы выстояли, пока он добежит до них, словно он и два его товарища что-то могли изменить в этой неравной схватке...

Они не выстояли, побежали назад, и Алексеев орал им: «Стой!», но даже сам себя не слышал, стрелял из револьвера вверх, но звуки выстрелов рассеивались в рыхлом октябрьском воздухе и были не громче хлопка в ладоши...

Серой массой налетели на него отступавшие красноармейцы, захватили, поглотили, и Алексеев стал пятиться вместе с ними, отстреливаясь из револьвера, а когда кончились патроны, подобрал чью-то винтовку и продолжал стрелять.

У самого вокзала он увидел, как на них мчатся несколько всадников, и понял, что если не успеет добежать до здания — это конец...

Удар шашки пришелся по винтовке, которую Алексеев выставил над головой, она вылетела из рук, а самого Алексеева отбросило к стене — так силен был удар... Вновь блеснула занесенная над головой шашка, Алексеев дернулся вправо, пытаясь увернуться от удара, и это вряд ли удалось бы ему, но вдруг вскинулся в седле казак, завалился назад, и конь с ржанием понес застрявшего в стремени мертвеца.

Алексеев рванулся к двери, пронесся через вокзал, выскочил на платформу. Бронепоезд, медленно набирая скорость, уходил со станции...

— Стойте! Стойте! — кричал Алексеев, а ноги не бежали, подгибались, словно подрубленные.

— Берегись, Алексеев! — крикнул Евдокимов, протягивая ему руку. «О чем он?» — подумал Алексеев.

Совсем рядом визгнула пуля — одна, вторая.

Он тяжело остановился, оглянулся.

Из-за водокачки показались белые. Целился из нагана офицер. Стоя на колене, целился солдат в папахе. К ним подбегали еще несколько человек, стреляя на ходу. Все — в него, в Алексеева. Он отцепил от пояса гранату и все свои силы вложил в этот бросок...

Евдокимов успел вдернуть его, обессилевшего, полубеспамятного в вагон бронепоезда.

— Давай скорей! Отрежут линию — какюк нам. Людкевич и Гервинский погибли. Думали, ты тоже. Что с плечом?

Только тут Алексеев увидел, что весь левый рукав его гимнастерки залит кровью. Но боли не чувствовалось, а только чуть пекло.

— Наверное, шашкой...

— Перевяжись и давай к пулемету.

И вдруг испуганно закричал Коновалов:

— Товарищ командир, путь разрушен!

— А-а, раскудрель твою! — выругался Евдокимов. — Что делать? Будем прорываться через Гатчину... Всем ясно, что это значит? Сквозь порядки белых. Внимание! Стоп машина! Идем назад! Малый пар!.. Внимание всем бойцам: как только войдем на станцию, ты, Буянов, с расче-

том быстро переведешь стрелку с Балтийской на Варшавскую дорогу, если она не перерезана. Тогда через полчаса будем у своих. А нет, так будем биться до последнего. Ясно? Полный пар! Как только остановимся — огонь из всех пулеметов и орудий.

Алексеев застыл у пулемета.

Бронепоезд пожирал дорогу, набирая скорость. Вот уже и Гатчинский вокзал. А вон и белые, стоят кучками, кто курит, кто бинтует раны, кто сидит, отдыхая от боя. Победители...

— Стоп машина! — закричал Евдокимов. — Огонь из всех пулеметов и орудий! Буянов — к стрелке!

Да, это была мясорубка: четыре пулемета и шесть пушек били в упор, с расстояния в сто пятьдесят метров. Рушились стены, звенели стекла, бешено ржали лошади, орали солдаты, даже не пытаясь отбиваться.

А бронепоезд уже уносился к станции Татьянино, которая пока была в руках красных.

Белые, между тем, быстро продвигались к Петрограду.

В тот же день, что и Гатчиной — 17 октября, — они вновь овладели станцией Струги Белые, которую отбили было красные.

19 октября захвачен поселок Лигово.

20 октября были взяты Павловск, Царская Славянка и Детское Село, и части 7-й армии были вынуждены отойти на линию Пулковских высот.

21 октября противник занял железнодорожную станцию Батецкая.

В стане врага ликовали. Офицеры Юденича с вождением рассматривали в бинокли окраины города, в котором — в этом уже никто из них не сомневался — их ожидала богатая добыча, чины в новом правительстве и слава освободителей России от чумы большевизма. И больше всех верил в победу сам Юденич. Он знал еще и о том, о чем другие могли только догадываться: в Петрограде готовилось восстание контрреволюционных организаций и уже формировалось временное правительство для города. Пока только временное, только для города... Люндеквист, до 20 сентября служивший начальником штаба 7-й армии красных и в то же время возглавлявший Петроградское отделение контрреволюционной организации «Национальный центр», теперь разгромленной, уже не был начальником штаба, но еще не был и разоблачен, всеми силами удерживался в Петрограде, затягивая свой отъезд в Астрахань, к новому месту службы. Юденич верил в него, в то, что он выкрутится из опасного положения, в которое попал: все уже бывало. Все ж никто другой, а Люндеквист разработал план наступления Юденича на Петроград, сидя в штабе красных, и пока все шло превосходно.

Еще один бросок, последнее усилие — и цель достигнута. Не сдержавшись, Юденич телеграфировал в штаб Антанты о падении Красного

Петрограда. Эта новость облетела мир как великая сенсация. Черчилль поздравил бывшего царского посла в Лондоне с успехом белого оружия. В штабе Деникина была издана листовка, в которой говорилось, что «английский флот бомбардировал Кронштадт и взял его. Генерал Юденич вступил в Петроград».

Но рапорт Юденича был преждевременен, как и радость его союзников.

Движение белых войск на всех участках вдруг застопорилось. Получив значительные подкрепления, 7-я и 15-я Красные армии начали контратаковать Юденича.

Два дня шли непрекращающиеся бои.

И два этих дня бронепоезд № 44 не выходил из боя. Прямым попаданием пушки разворотило его носовую часть, изуродовало одно орудие и заклинило второе, погибло шесть бойцов, а остальные, измотанные бессонницей, голодом и напряжением боя, шатались от усталости, засыпали при первой возможности, где заставляли их минуты затишья.

Они хорошо воевали и знали это сами. Им не было известно только, что в войсках Юденича их бронепоезд прозвали «летучей смертью», что Юденич назначил награду в десять тысяч золотых рублей тому, кто захватит или подорвет его.

Приказ о контрнаступлении последовал неожиданно, и сначала в него не все поверили: возможно ли оно после многодневного отступления?

23 октября части 7-й армии отбили Детское Село и Павловск, 26 октября — Красное Село.

Бойцы бронепоезда № 44 получили несколько часов на передышку, когда их догнала невесть откуда взявшаяся почта — письма, газеты. Счастливицы, получившие весточку из дома, мусолили в руках бумагу, вода пальцами по строчкам, разбирали по складам каракули родных, остальные рухнули вповалку спать.

Алексееву писем не было. Зато в кипе газет он откопал «Листок Юного пролетария», взял его в руки с трепетом, как родное малое дитя, которое давно не видел. Закрыв лицо газетой, глубоко вдохнул запах типографской краски. И бешено заколотилось сердце, и вернулся он в те вечера семнадцатого года, когда задумывали они журнал «Юный пролетарий», а потом эту вот газету для молодежи... Прошло уж два года с тех пор, сколько воды утекло, сколько друзей унесла гражданская война, но вот оно, их детище, орган Петроградского губернского комитета РКСМ от 24 октября 1919 года № 20/27. Живет, дерется... «Не сегодня завтра решаются судьбы Петрограда, — говорилось в «Листке». — В борьбе будет принимать участие рабочая молодежь. Молодежи дорог Питер, как и дороги все завоевания революции. И ни того, ни другого молодежь не

отдаст. Только через бездыханные трупы рабочей молодежи белогвардейцы войдут в Питер... Не быть красной молодежи поработанной. И лозунгом юного пролетария будет: «Иду в бой».

«Верно, братцы, верно, — сказал себе Алексеев. — Только так».

Поискал глазами почтальона. Еще несколько минут назад самый желанный и долгожданный гость, он сидел теперь в сторонке, привалившись к телеграфному столбу, и дремал, надвинув фуражку на глаза. Алексеев подошел к нему, присел рядом.

— Что там в Питере-то?

— Дак в газетах все прописано.

— Все не пропишешь. Что люди говорят?

— Люди говорят, что товарищ Троцкий неправильно удумал.

— А что он удумал?

— А запустить Юденича в Питер и там его разбить. Дескать, так сподручней, на узких улицах-то, чем в поле.

— Чушь какая-то! От кого слышал?

— Дак все говорят.

— А контра? Она же ждет не дождется этого момента, вся из нор вылезет. Никого не пожалеют — ни женщин, ни детей, ни стариков. Ну, и придумал...

— А все ж народ готовится на всяк случай. Очень шибко готовится.

— Теперь шалишь. Теперь кранты Юденичу.

Да, фортуна опять изменила Юденичу. Опасаясь, что 15-я армия красных выйдет в тыл его Северо-Западной армии, генерал без боя сдал Гатчину и стал поспешно отступать вдоль линии железной дороги.

Так, наступая на пятки белым, вместе с головным батальоном наших войск бронепоезд №44 в 12 часов 30 минут 3 ноября и ворвался в Гатчину. Остановка была короткой. Через несколько часов, слегка подремонтировавшись в депо, бронепоезд двинулся дальше.

Но уже без Алексеева — он был назначен председателем Гатчинского ревкома.

VII.

Алексеев был горд оказанным доверием: в его руках, как предревкома, была сосредоточена вся полнота гражданской и военной власти в городе. Страшило одно — ответственность. Ведь Гатчина была прифронтовым городом, одним из узловых пунктов в обороне Петрограда. Через гатчинский железнодорожный узел в район боев шли эшелоны с отрядами солдат, матросов и рабочих. В Кухонном каре Гатчинского дворца разместились штаб 7-й армии, откуда командование руководило окон-

чательным разгромом Юденича, тыловые пункты Нарвского оперативного участка.

Страшные следы оставили после себя в Гатчине белогвардейцы за семнадцать дней пребывания в городе...

Сожжено здание Гатчинского Совета и несколько кварталов жилых домов. Похищена или уничтожена электроаппаратура Балтийского вокзала. Во всем округе спилены телеграфные столбы, нарушена связь с Петроградом и близлежащими городами. Взорваны железнодорожные пути. Разграблены магазины и лавки, городские склады. Сказочные деревья, собранные и выращенные за полтора столетия в Гатчинском парке, изумлявшем своей красотой даже искушенных в тайнах садоводческого дела людей, повыврублены, многие его павильоны и статуи разрушены, узорная изгородь вокруг «Зверинца» разобрана на дрова, бесценные произведения живописи, скульптуры Гатчинского дворца разграблены. В секретном донесении контрразведки белой армии от 2 декабря 1919 года говорилось, что «...чинами штаба 1-го стрелкового корпуса из Гатчины было вывезено два или три вагона дворцового имущества, среди которого находится серебряная и иная дворцовая посуда с гербами и вензелями, а также другие ценные вещи». Пройдет совсем немного времени, и в заграничных газетах появятся объявления сбежавших белогвардейцев о продаже гатчинских ценностей, вроде того, что было опубликовано в белогвардейской газетенке «Последние известия» в Ревеле 1 марта 1920 года: «Охотничья карета Александра II, отделана слоновой костью, продается на Б. Розенкранцской, 16, узнать в магазине № 1».

Население Гатчины пребывало в запуганном, подавленном состоянии от бесконечных облав, арестов, порок и массовых убийств, которыми белогвардейцы карали малейшее проявление сочувствия Советской власти. Служаки Юденича повесили священника Богоявленского, отказавшегося служить молебен в честь армии Юденича, расстреляли сотрудничавших с Советами Павлюка, Гуляева, Керберга, Хиндиванца, двух братьев Плоом, Глухарева и многих других жителей города, а двух матросов закопали в землю вниз головой в Приоратском парке. Юденич лично приказал казнить захваченных в плен 31 курсанта гатчинских пехотных курсов, изуродованные трупы которых нашли только весной 1920 года в мусорной яме за Манежем.

Жители Гатчины голодали. За семнадцать дней «хозяйничанья» белогвардейцев в городе на душу населения было выдано лишь по два фунта картофеля, по фунту селедки и одной четверти фунта муки. Весь скот был вырезан, вся птица перебита солдатами.

Ревком в срочном порядке отправил своих уполномоченных по деревням для закупки хлеба и других продуктов.

Люди страдали от холода. Город уже пережил без топлива, в страшном холоде морозную зиму 1918 года и нельзя было допустить, чтобы все повторилось снова. Сотни людей ревком бросил на разработку Таицкого торфяного болота, на заготовку дров.

Появились признаки эпидемии тифа, унесшего уже сотни жизней гатчинцев прошлой зимой и весной. Ревком создал санитарную комиссию, уполномочив ее вести строжайший надзор за состоянием жилищ, казарм и улиц, установил охрану Серебряного озера, снабжавшего город питьевой водой, ввел санконтроль в магазинах, ларьках и на рынке, переселял бедноту, жившую в антисанитарных условиях, в дома городской буржуазии, торговцев и других нетрудовых элементов. Открыл аптеку и лазареты, наладил работу городской больницы, а в доме генеральши Кутейниковой разместил несколько детских садов, яслей, приютов для детей-сирот, которым грозила голодная смерть. Положение осложнялось тем, что в городе находилось множество воинских частей, беженцев из других уездов и все они — и постоянные, и временные жители — со всеми своими бедами и заботами шли в ревком, и тут никуда не денешься: власть, если она настоящая власть, обязана обеспечить людям порядок во всем и всюду. Как? Обывателя это не касается.

В наглухо застегнутой хромовой кожанке, яловых сапогах, в хрустящих ремнях, в кожаной фуражке с красной звездой и строгой усталостью, поселившейся в его глазах, появлялся ранним утром Алексеев в ревкоме. И начинался крутеж дел, которыми раньше он никогда не занимался и которые теперь был обязан знать. И никого не касалось, что ты молод, что ты в чем-то еще не разобрался, что ты устал... Он должен был иметь понятие обо всем, от него ждали четких указаний, верных решений. Он был должен. Всем. Во всем. Всегда и всюду — днем и ночью, в кабинете, на улице, дома. Должен...

А еще надо было помогать Петрограду — продуктами, дровами и торфом.

А еще надо было бороться со спекуляцией, явной и тайной контрреволюцией, которая, теряя надежду, все же не сдавалась, из последних сил надеялась на возврат старого.

Как и в прошлый раз, Юденич, уходя, оставил контрреволюционное подполье, имевшее немалую поддержку среди жителей города. Немудрено: ведь почти наполовину население состояло из мещан, семей торговцев и офицеров — сказывалась история развития Гатчины, подаренной Екатериной II своему фавориту генерал-фельдцейхмейстеру графу Г. Г. Орлову для отдыха и охотничьих забав за его участие в дворцовом перевороте 1762 года, который возвел ее на престол.

Здесь, в Гатчине, в конце XVII века Павел I в течение многих лет вел ежедневную свирепую муштру своих гатчинских батальонов и озерной флотилии.

Здесь, в Гатчине, Александр III, напуганный террористами, в течение тринадцати лет прятался за крепкими стенами Гатчинского дворца и тройным кольцом конвоя, жандармов и полиции, состоявшего из 11 внутренних и 19 наружных постов охраны.

Здесь, в Гатчине, с конца XIX века привыкли отдыхать в летний период царствующие особы, заводчики и фабриканты, чиновники, коммерсанты и купцы. Соответственно этому формировался и состав населения, его учреждения и предприятия.

... А еще была, никуда не исчезала, а все разгоралась и набирала силу любовь... Это было такое счастье — знать, что совсем рядом, всего полтора-два часа езды на поезде — каждое утро встает, улыбается утру и думает о тебе твоя Мария. И это было страдание — сдерживать себя, чтобы в минуты, когда он начинал явственно слышать ее голос и, казалось, чувствовать тепло ее рук, не бросить на полдороге какое-нибудь заседание, не оборвать речь и не кинуться к ней, в Петроград... Сорок пять километров по тем скоростям — расстояние немалое, а при разрухе, которая царила на транспорте, прямо-таки огромное.

И все-таки два, а то и три раза в неделю на самом позднем поезде, в холодных, заплеванных, забитых мешочниками и солдатами вагонах Алексеев уезжал из Гатчины в Петроград, чтобы ранним утром вернуться обратно. Он мотался между городом великим и городом маленьким, жертвовал сном, отдыхом, рисковал жизнью — ради любви. Однажды ему, председателю ревкома, вынесли выговор за то, что он на час с лишним опоздал на совещание, им же назначенное. Это же надо — опоздать на совещание! И из-за чего? Из-за любви...

Перевести Марию в Гатчину оказалось делом немислимым: она была машинисткой в комендатуре, но, что особенно важно — машинисткой с образованием. По том временам проще было бы подобрать председателя Гатчинского ревкома, чем найти замену такому человеку в Питере.

Однажды в начале декабря по просьбе Алексеева Мария приехала в Гатчину, привезла два письма — от Петра Смородина, с фронта, от Оскара Рывкина, из Москвы.

— Пишет братва, не забывает, — порадовался Алексеев.

«Привет, Василий! — писал Смородин. — Я все воюю и, кажется, не так уж плохо. Могу похвастаться (только тебе, знаю — не осудишь): наградили меня орденом Красного Знамени. Это не только мой, это наш общий на всех друзей орден дала мне Советская власть... Где ты там, я совсем потерял тебя. Напиши хоть пару строк».

— Ай да Смородин... Герой! Не то, что некоторые... — сокрушенно вздохнул Алексеев.

— Ладно, не жалуйся. Надо было лучше воевать, — подковырнула Мария.

Председатель президиума ЦК комсомола Рыбкин знал, где находится Алексеев, и просил, если случится быть ему в Москве, зайти в ЦК надо посоветоваться: что-то бузит комса и никакого ума, а тем более времени, не хватает разобраться во всяческих позициях. Непонятно, куда гнут некоторые товарищи, а, между тем, скоро начинать подготовку к III съезду комсомола, и «раздрай» накануне всесоюзного собрания, когда все силы надо сжать в кулак, никак не на пользу делу.

— Молодец Оскар, не зазнается, — радостно улыбнулся Алексеев. — Эх, и в самом бы деле вырваться в Москву!.. Я ведь еще и не видел ее, белокаменной. А пока со своими комсомольцами не управлюсь. Выступал вчера на городском митинге... А, да не в этом дело! Махнем по городу?

И, отложив дела, Алексеев повез Марию на своем ревкомовском автомобиле по Гатчине.

— Какой уютный городок. Не ожидала.

— На окраинах — грязь и убогость, а в центре асфальт, плиточные тротуары, палисадники да электрические фонари. Не удивительно: Гатчина — уже десятки лет — дворцовый пригород, постоянная резиденция царей. Сюда и Николай Второй сбежал во время событий 1905 года. Сюда Керенский драпанул в семнадцатом. Ведь Гатчинский дворец — это хмурая крепость. Тут и бастионы с амбразурами для пушек, и рвы с водой с переброшенными через них подъемными мостами. Есть даже подземный ход на всякий случай, если из дворца надо было бы удирать. Хочешь посмотреть?

Они прошли по залам Гатчинского дворца — по Чесменской галерее, Мраморной столовой, Малиновой гостиной, Парадной спальне, заглянули в «Березовый домик» и вышли в парк.

— Думал ли ты когда-нибудь, Василек, что как хозяин будешь ходить по этому дворцу, любоваться его красотой? — спросила Мария. — Что все это теперь — наше? Удивительно и прекрасно! В какое время мы живем... Те, кто будет жить после нас, уже никогда не смогут ощутить это так остро, как мы.

— Да, Мария, ты права. Я часто думаю об этом. Ведь кто я? Заставский парень, каких тысячи. А теперь мне доверили организовывать жизнь целого города. Пусть небольшого, но какого важного, какого знаменитого!.. Я встречался недавно с антикварами — надо ж знать, что за город такой — Гатчина. И поражен. Рядом с Гатчиной, в селе Батово родился поэт Рылеев, а у него жил декабрист Бестужев-Марлинский. Здесь, в Гатчинском дворце, читал басни Крылов, свои стихи — поэт Жуковский. Здесь не раз бывал Пушкин. Через Гатчину проследовал и траурный кортеж с его прахом в феврале 1837 года. И его сопровождал Тургенев. Здесь бывали Тарас Шевченко, Некрасов, Глеб Успенский, Блок, Брюсов, пианист Рубинштейн, художник Репин, композиторы

Балакирев, Чайковский. Ипполитов-Иванов здесь родился. Здесь бывали Суворов, Кутузов, Багратион... Буржуи, конечно. Наша братва некоторая и слышать о них не желает. И мне иногда хочется крикнуть... да и кричу: «Долой старое!» Потом подумаю: «Старое — это ведь прошлое. А в нем и хорошее было...» Все эти люди — поэты, музыканты, полководцы... Если б не было Кутузова в восемьсот двенадцатом, так ведь и нашей революции могло не быть, потому что могло не быть России... А музыку, что люблю, а стихи, что знаю, как из души выбросить? Да и надо ль? Как задумаешься, так все так сложно, так много непонятного... А все же, когда иду по этим залам, по этим дорожкам, слышу их шаги и голоса... Удивительно все это.

— Говорят, в Гатчине живет писатель Куприн?

Алексеев нахмурился.

— Жил. На Елизаветинской улице в доме номер четырнадцать. Теперь уехал вместе с Юденичем. В начале октября я виделся с ним: опубликовал в местной газете не очень вежливые слова о нашей власти. Спорили. Глыба, а не человек, писатель такой, что на колени встать перед ним хочется, а чего-то главного не понимает. Не наш.

— Ты уверен?

— Как же иначе, если он не с нами? — удивился Алексеев.

— Но он ведь тоже писатель, и знаменитый, — с хитрецей глянула Мария.

— А, не знаю! — с досадой махнул рукой Алексеев.

И вдруг, когда они вступили на легкий чугунный мостик через канал, взял Марию за плечи.

— Стой.

Мария остановилась, выжидательно взмахнула лохматыми ресницами. Алексеев приобнял ее, прошептал:

— Знаешь, как называется место, на которое мы сейчас вступаем?

— Нет, — ответила она тоже шепотом.

— Остров любви.

— Забавно. Почему? Почему «остров»? Почему «любви»?

— «Остров» — потому что, видишь: под нами, слева и справа — каналы. Они и образовали треугольник суши, островок. «Любви» — может, потому, что здесь сооружен Павильон Венеры, богини любви и красоты.

— А-а!.. — засмеялась озорно и громко Мария. — Раз мы на острове любви, давай и будем говорить только о любви!..

— Хорошо — только о любви.

— Я люблю тебя, — прошептала Мария.

— Я люблю тебя, — ответил Алексеев.

— Я боюсь за тебя, Василек. В тебе нет начала осторожности, сберегающей жизнь. Ты весь — движение, безумное усилие.

— Ты хочешь, чтоб я стал другим?

— Нет. Но я боюсь и за себя... Без тебя мне не жить.

— О чем ты, Мария? Нам жить да жить!.. Завтра ночью жди меня.

Мотаясь в теплушках из Гатчины в Петроград и обратно, Алексеев рисковал. В те годы опасность поджидала людей не только в бою, в ночи, за углом. Не меньше погибало их от голода и тифа, свирепствовавшего именно там, где было больше людей...

Однажды, в конце ноября, как обычно поздним вечером, Алексеев поджидал на вокзале поезд на Петроград. И мог ли думать он, что в те же часы и минуты в него уже забралась и караулит его смерть? Нет, конечно. Морозит? В жар бросает? Вялость? Пустяки. Просто устал. Скорей бы поезд пришел, скорей бы в уют их комнаты и тепло объятий Марии.

Поезд, шипя, подходил к платформе, где его на хлюпающем, чавкающем, мокро перроне, шарахаясь волнами из стороны в сторону, высматривал сторожкий и озлобленный лагерь ожидающих. Набитые теплушки, облепленные людьми крыши приготовились к осаде. Мешочки плотнее прижимали к себе свой скарб, интеллигенты испуганно осматривались и поглубже прятали свои носы в поднятые воротники, будто подъезжали к помойке, армейцы теснились, выискивая сантиметры свободной площади — было видно, что там стоит и своя солдатня, зеленые шинели, которые узкой, но длинной полосой окаймили платформу.

Поезд остановился. Атака началась. С отчаянными лицами, умоляя и сквернословя, толкая и давя друг друга, люди кинулись в двери и окна вагонов.

Алексеева в вагон все ж пропустили без особой давки: местные, потому что знали его, на сидевших же в вагоне действовали кожанка и маузер — то и другое носило большое начальство.

Поезд тронулся, на ходу обвисая гроздьями шинелей, шуб, пальто и зипунов. За ним, сминая друг друга, еще некоторое время волоклась, бежала, мчалась с воплями толпа неудачников. Наконец, она отстала.

Пробившись в середину вагона, Алексеев примостился в углу скамейки.

Мутило.

В ногах, свернувшись в комок, лежал мальчонка лет десяти. Кажется, спал. Но скоро Алексеев понял, что он без сознания.

— Чей пацан? — крикнул он.

— Ничей, — после паузы ответил сосед безразличным голосом. — Лежит да и лежит. Я как сел, он уже лежал.

Алексеев поднял мальчонку, посадил на колени. Тот дышал жарко, был весь в поту.

— Товарищи, среди вас доктора нет? — крикнул Алексеев.

Откликнулся кто-то издалека, кажется, с самой подножки.

— Прошу вас, проберитесь сюда, тут мальчик без сознания.

Врач оказался молодым человеком, тоже военным, может, чуть старше Алексеева. Пробившись на зов, он поздоровался.

— Здравствуйте, товарищ Алексеев.

Алексеев не стал допытываться, откуда этот человек знает его.

— Что с мальчиком? — спросил он.

Осмотр был коротким.

Врач, незаметно глянув по сторонам, шепнул Алексееву:

— Тиф, товарищ Алексеев...

Можно было подумать, что он не шепнул, а крикнул еще кипящей своими страстями и будто бы ничего не видящей и не слышащей массе это одинаково страшное для всех слово «тиф». Волной вправо и влево от Алексеева люди стали утихать и тесниться. На несколько мгновений повисла полная тишина. В ней были страх и угроза. Алексеев и врач уловили это. Притулив мальчонку в угол сиденья, Алексеев встал и вынул маузер. Врач достал револьвер.

— Выкидывай их за борт, братва, а то всем хана!..

Сказано это было негромко, но твердо, и в тишине, нарушаемой лишь перестуком колес да глухой возней сидевших и ни о чем не ведавших на крыше людей, услышано всеми. Немолодой матрос, сказавший эти слова, стоял совсем близко, шагах в двух, а то и меньше, смотрел на Алексеева глазами человека, которого убивали, который видел, как убивают, и убивал сам — спокойно, жестко, по-деловому. «Этот выкинет, — подумал Алексеев. — Стрелять?» Схватку разделяло мгновение, которое требовалось пуле, чтобы долететь до матроса — Алексеев целил ему в грудь.

— Стой! — крикнул Алексеев.

Матрос вздрогнул, будто не слово, а пуля ударила в него.

— Стойте! — повторил Алексеев. — Я — председатель Гатчинского ревкома Алексеев. Еду в Питер. Мальчонку подобрал здесь, в поезде, только что. О том, чем он болен, узнал тоже только что, вместе с вами. Выкинуть его и себя просто так не позволю — буду стрелять. Да, мы попали в беду... возможно. Но доктор мог и ошибиться. А потом, если кто и заразился, так это пока что я, сосед да доктор. Потому предлагаю следующее...

Матрос шевельнулся, словно хотел сделать шаг вперед.

— Стоять! — приказал Алексеев. — Еще колыхнешься — и пуля твоя.

И понял, что в матросе проснулся подчиненный. Он опустил глаза, обмяк.

— Предлагаю следующее...

Мальчонка открыл невидящие воспаленные глаза, едва слышно прошептал: «Пить». Из-за спины матроса тут же протянулась женская рука с фляжкой. Алексеев успел отметить на пальцах женщины два дорогих перстня и удивиться — не боится же в такую пору выставлять их напоказ: есть такие, что с рукой оторвут. И еще отметил, как забавно в этой изящной руке смотрится солдатская фляжка в грубом и засаленном чехле из зеленого сукна. Блеснули два больших маслянистых глаза. В них был испуг, но испуг не за себя.

Напряжение спало. Алексеев видел это. Но опасность заразить людей тифом не исчезла. И уже как командир, которого волнует судьба его солдат, будничным и спокойным голосом Алексеев сказал, обращаясь к матросу:

— Ты, крикун, ну-ка раздобудь каких-нибудь тряпок навроде простыней, да отгороди нас четверых от остального люда. Давай, живенько!.. И потеснитесь как можно дальше от нас. Организуй...

Все было сделано, как велел Алексеев.

Еще долго они так и ехали, отъединенные цветастыми шальями, шинелями, наволочками от гомонящей толпы людей. Некоторые, одолевая любопытством, опасливо заглядывали в щелки, сочувственно вздыхали, то ли жалея мальчонку с Алексеевым, то ли от беспокойства за себя.

Алексеев между тем пытался понять, что же произошло и что должно произойти теперь, когда он, если мальчонка действительно болен тифом, заразился опасной болезнью. «Мальчонку надо сдать в приемник». Алексеев знал, что такой есть на вокзале. «Сделает это врач». Алексеев поглядывал на него и видел, что в душе у того творится нечто похожее — он был где-то далеко, быть может, в отлете от этой невеселой истории, там — в облаках мечты о... О чем мог мечтать этот совсем-совсем молодой парень с симпатичным лицом? Было интересно знать, но не хотелось разговаривать. А может, он, как и сам Алексеев, опустил в глубины своего бездонного «я» и застыл на грани «или — или» — или жизнь, если все обойдется, или смерть, если... Пытается разобраться в прошлом, которого не было, и в будущем, о котором и думать не стоит, потому что его теперь не будет, но вот поди ж ты — думается?..

Бросало в жар, хотелось пить и спать. Алексеев раскатал скатку и укрылся шинелью. «Второе: домой идти нельзя. Это опасно для Марии. Но предупредить ее, что он в больнице, надо. Как? Оставить записку. Дальше...» Не думалось. Алексеев забылся.

На вокзале, когда все уже вышли из вагона, Алексеев взял на руки мальчонку и вместе с врачом донес его до приемника, положил на скамейку.

— Как тебя звать, товарищ? — спросил он у врача.

— Я Валерий Нифонтов, товарищ Алексеев.

— Откуда знаешь меня?

— Вы у нас лекцию о Кампанелле читали. Потом вы ведь предревкома, вас многие знают.

— Ну вот что, Нифонтов. Я сейчас сделаю нарушение — вместо приемника пойду домой. Оставлю жене записку и вернусь. А ты пристрой мальчонку. Мне тут пешком ходу двадцать минут туда и обратно. Не возражай и не сердись. Спасибо тебе. А в Гатчине заходи, обещаешь? Ну, бывай.

— Товарищ Алексеев, как вы себя чувствуете? — спросил Нифонтов, опустив глаза. — Мне кажется, вы нездоровы, вас надо осмотреть.

— Есть маленько, Нифонтов. Через час осмотришь. Пока.

Морозило... Алексеев, чтобы согреться, побежал. Он бежал и чувствовал, как пот прошибает его, как взмокли волосы под шапкой, как пот льет струйками по спине, липкий, вонючий, противный. Кровь била в виски, гудела в затылке, а он все бежал, тяжело дыша и тяжело топая сапогами по снежной хляби, которая разлеталась по сторонам, брызгала на прохожих, и те с ворчанием оглядывались на пьяного военного, за которым, думали они, кто-то гонится...

Алексеев добежал до дому, поднялся на второй этаж и стал искать ключ от двери. Он нашел его, воткнул в скважину и никак не мог повернуть, крутил его, крутил, а ключ не поворачивался, а дверь не отворялась, а Мария все не шла и не шла... Алексеев присел у двери, закрыл глаза и потерял сознание.

Лежащим у порога и застала его Мария, вернувшись с работы. Втащила в комнату, уложила в постель, дозвонилась до врача. Осмотрев Алексеева и выслушав Марию о его житье-бытье, тот поставил диагноз: воспаление легких на фоне крайнего истощения организма и нервной системы.

Алексеев все еще был в беспамятстве. В комнате толпились соседи, к ночи, прослышав о том, что он в городе и болен, потянулись друзья. Скоринко с Тютиковым так и остались с Марией около метавшегося в жару и бреду Алексеева.

Он очнулся под утро, когда все трое сторожко дремали, сидя на диване, осмотрелся невидящим взглядом, прохрипел:

— Пи-ить!..

Они вскочили, засуетились, радостные:

— Ну, вот и порядок...

Алексеев не сразу понял, где он и что с ним случилось. Потом, узнав Марию и друзей, виновато усмехнулся:

— Опять я сломался...

Пил жадно и долго, немного поел, полежал с часок — и ожил. Попытался далее встать, но тело было ватным.

— Это безобразие, Вася, как ты живешь, — заворчал на него Скоринко. — Ты ценный кадр и должен беречь себя...

— О-о! — удивленно простонал Алексеев. — И ты туда же: «ценный кадр», «беречься»... Чушь свинячья! Ты сам-то бережешься? А ты? А ты? — обвел он глазами всех. — То-то и оно! Время наше такое, дело такое. Как тут беречься? И вообще невозможно экономить себя для будущих славных дел, жить так, будто пишешь жизнь сначала начерно, а потом перепишешь ее набело. Жить надо сразу красиво, во всю мощь. Гореть надо, будто свеча, подоженная с обеих сторон... И другое надо понять, друг мой, — обратился он к Скоринко, — невозможно жить впрок, откладывая свои дела и счастье «на завтра», потому как этого «завтра» может и не быть: все мы смертны. Но это еще полбеды. Внезапно смертны. Сегодня есть, а завтра — тью-тью. Вот что обидней всего. Уйти из жизни, ничего не сделав, — вот чего надо бояться...

— Что за похоронная музыка, что за поповщина, Вася? — подospel Тютиков на помощь Скоринко. — Не узнаю тебя. Где марш, где звонкие трубы, фанфары, барабан? Мы еще такое грохнем!..

Алексеев согласно кивнул головой.

— Это точно, грохнем... Но вы все же не хорохорьтесь. С жизнью надо быть в честных отношениях, прямо смотреть в глаза ее правде. Потому как правда эта, увы, жестока: живем лишь раз, только здесь, на земле, а «там» — рая небесного, загробного — нет. Честность эта необходима, чтобы сделать очень честным, благородным самый важный для каждого вывод: не готовься жить, а живи, не грабастай — с собой ничего не возьмешь, не берегись, а траться, дари, что имеешь, а главное — себя. Действуй, действуй, действуй! Я много думал о смысле жизни, а на фронте особенно...

*Добрим быть и живым оставаться —
Это значит другим раздаваться.
А собою дорожить — это значит
Самого себя всю жизнь переиначивать...*

Горели свечи на окне, ранний утренний свет бледно-серым потоком проникал в комнату, еще не в силах осветить ее, но уже приглушал желтые блики свечей, разрушая замкнутость комнатного пространства, выводя его за пределы дома, соединяя с городом и страной, со всей Вселенной. Два света — ночь и утро — спорили и боролись, рождая звенящее чувство тоски ни о чем, когда кажется, будто в мире не существует зла, а царит лишь добро, когда думается, что нет такой жертвы, на которую

ты не решился бы ради тех, кому нужен, пусть даже совсем чужих, вообще незнакомых, но — людей...

Все согласно молчали в задумчивости. Вздыхнул, вновь тихо заговорил Алексеев:

— Я еще скажу, вы послушайте. Я все думаю, какое это трудное дело — быть человеком. Ведь чтобы жить, мало быть живым. Нужны цель и план жизни, нужны принципы, а к ним ум, воля и мужество следовать им. Я видел таких людей, я знаю их. Увы, они не теснятся толпами, их пока мало. Они как светлый идеал. А все же, если мне скажут, что они сплошь из достоинств, из воли и стали, я рассмеюсь. Я наблюдал все годы и подсмотрел: каждый человек не только силен, но чем-то еще и слаб. Каждый! Один больше, другой меньше — вопрос другой. Тут важен принцип. Человек громогласно полон светлых замыслов и дел, о которых спешит возвестить, о которых все знают, и тайно — темных инстинктов и желаний, которые скрывает... К чему это я, спросите? К тому, что в нашем новом обществе мы должны научиться любить человека таким, каков он есть в реальности, а не придуманного. Человек имеет право на ошибку и на прощение. Это натуральный гуманизм, это коммунизм настоящий. Все иное — от иезуитов... Новый человек, как я думаю, будет отличаться от нас прежде всего тем, что научится подавлять в себе темные силы, и уже тем возвеличится...

Лицо Алексеева усыпали мелкие капли пота, он дышал тяжело. Мария подсела к нему на кровать, промокнула пот платком, положила на лоб новый холодный компресс.

— Ну хватит, Васенька, хватит. Что ты развыступался, как на собрании? Еще наговоришься...

Затихнувший было благодарно, Алексеев обиженно скосил на нее глаза.

— Кому ж сказать о том, что думаю, как не вам? Ближе у меня никого нет. Излиться хочется... напоследок.

Трое дружно запротестовали и поймали себя на мысли, что уже подумали: «Может, он умирает?» Наверное, они были плохими артистами, может, их выдали глаза, потому что Алексеев, криво усмехнувшись, сказал:

— Да вы не вешайте носа, я пока в седле... Думать и говорить — моя слабость. Вы уж потерпите... Вот я сказал: быть человеком — трудное дело. Во многих отношениях. Трудно быть человеком в счастье. Трудно сохранить себя, когда тебе дана власть. А все ж труднее всего, думаю, оставаться человеком в беде и горе, ибо в них есть угроза — благополучию, счастью, жизни. Начинает работать эгоизм, защитный инстинкт. Мне больно? Пусть будет больно всем! Я виноват? Но виноваты и другие, пусть тоже держат ответ! И тэ пэ. Животное тут берет верх над чело-

веческим. Хандра забивает все... Честно скажу: тогда, в больнице, когда мне казалось, что останусь слепым, потом в Торжке, после этой истории с Шевцовым, когда меня отбросило от революции, с передовой, я был просто оглушен горем, какая только ересь в голову не лезла! К примеру, думал: «Что — жизнь? Скука, горечь и страдания. Рождение — страдание; старость — страдание; связь без любви — страдание; разлука с любимым — страдание; неудовлетворенное желание — страдание. И так без конца. Сказать короче — всякая усиленная привязанность ко всему земному — страдание. Ты страдаешь, но никому не нужен. Так стоит ли жить?» Я думал, что все меня бросили, все забыли, не доверяют мне... А доверие, скажу об этом особо, самый дорогой и самый хрупкий в мире товар, который не покупается ни за какие деньги, завоевывается потом и кровью, годами, а теряется в одно мгновение, при одном неверном поступке. Как со мной в той истории с Шевцовым. Пока был в общем ряду, пока был как зажатый в обойме патрон, я этого и не замечал. И вдруг этот патрон валяется на земле и его никто не поднимает, может, думают, что отсырел и в нужную минуту не стрельнет, подведет. Большевику это пережить невозможно. А я все же пережил, стерпел, работал еще сильнее. И мне поверили. Вот счастье! Признаюсь, мне кажется, что в той беде я кое-что и приобрел: я стал лучше понимать жизнь и людей, стал человечней. Теперь я думаю, что не задетые горем люди, особенно те, кому доверены судьбы других, должны проходить особую проверку на доброту и человечность. Потому как без этих качеств к общественной работе на дух подпускать нельзя. Доброта ведь не в том, чтоб не делать зла или по должности дать человеку то, что он заслужил. И сделанное в расчете на то, что потом тебе за это воздастся, тоже не доброта. Доброта — в понимании права человека на слабость и ошибку, в прощении действительно виноватого, в помощи попавшему в беду или падшему, в радости счастьем другого. Не из корысти, не преднамеренно, а по внутренней нужде.

Алексеев умолк на несколько секунд и неожиданно круто сменил тему:

— А знаете, о чем я нестерпимо тосковал последний год, да и сейчас тоскую? По работе в союзе молодежи. С чего бы вроде? Мне двадцать три, уже «старик», дело большое доверили, ни охнуть, ни вздохнуть некогда, а тоскую. Иные партийцы надо мной посмеиваются: «Что это за работа? Детские шалости!» Поверите ли, среди тех, с кем в семнадцатом союз создавали, есть «чины», которые вспоминают это со смущением — баловство, дескать. Словно и невдомек им, что через работу с молодняком мы и сами как бы протягиваем руку в наше великое будущее, даже и неживые уже. Нет, я больше всего горжусь тем, что работал с молодежью, душу свою тешу тем, что Российский Союз Молодежи от-

части создан и моей мыслью, моими усилиями, и мне уж никогда не расстаться с ним...

Вскоре Тютиков и Скоринко засобирались на работу, ушли успокоенные: вытянет, коль столько времени говорить смог, значит силы есть. Переутомление не новость, воспаление легких — это все же не тиф.

Мария осталась дома, и Алексеев был счастлив, не отпускал ее от себя ни на шаг. Все говорил, говорил:

— Ты прости, что много болтаю. Мы так редко видимся, что порой в моем уме ты утрачиваешь черты реальные и обретаешь свойства почти божественные. Я зову тебя, шепчу в тоске твое имя, молюсь тебе... Закрою глаза перед сном, путешествую по самым потаенным уголкам своей души и всюду встречаю тебя. Мне кажется иногда, что я — это ты, в каждой клеточке тела... Болеть — это, конечно, роскошь. Но все же хоть пару деньков я поболею дома, с тобой...

...А все-таки это был тиф.

К вечеру Алексеев вновь потерял сознание.

Дни и ночи проводила Мария у его постели. Он весь горел, бредил, пытался встать и никого не узнавал. 29 декабря очнулся, долго смотрел на нее, дремавшую на стуле рядом, пока она не почувствовала его взгляда.

— Васенька, родной! Очнулся, тебе лучше.

Он усмехнулся, и вышло это жалко.

— Нет, Мария, это конец... Я чувствую, сил нет никаких, легкость... Чувствую... Открой сумку... полевую... там дневник, стихи... Как жить хочется!.. Обидно... Ты прости, что так вышло... Думал, будем счастливы, а вот...

— Неправда, неправда! — кричала Мария. — Мы были счастливы, Васенька, ведь были?

— Да, — прошептал он и смотрел на нес, плачущую, угасавшим взглядом. Собрался из последних сил, прошелестел:

— Не плачь, Мария...

Улыбнулся и умер.

Ушел... Она осталась одна, совсем одинока. Без родителей и родных. Без друзей. Все, кто приходил в их дом, были все-таки его друзьями и уже потом отчасти — ее. Да и мог ли кто заменить ей Алексева? Нет, конечно, нет. Никогда. С ним она не страшилась ничего. Единственно, чего боялась — его отсутствия, одиночества. Единственно, куда стремилась — к нему, рвавшемуся к борьбе, но нежному и заботливому.

Он ушел — и мир их любви, огромный и величественный, мир, который можно было наблюдать со стороны, но проникнуть в который хоть на самую малость не мог да и не смел никто даже из самых близких друзей, этот наполненный особым светом мир исчез.

Чего греха таить (об этом писали в своих воспоминаниях и Тютиков и Скоринко), иные из знакомых Алексеева пытались поухаживать за Марией, хоть мимолетным движением, хоть комплиментом прикоснуться к этой очаровательной, с силой морского отлива тянувшей к себе кроткой на вид красавице. Но Мария не допускала и малейшего покушения на их с Алексеевым отношения, которые многим их современникам на фоне развала старых нравственных устоев, всеобщего хаоса, голода, холода, несчастий и слез казались чем-то таинственным, не вполне естественным, почти болезнью.

Между тем это было то, чего не могло не быть и в то суровое время, что было прежде и пребудет во все времена, спасая мир и жизнь; это было то, что всегда возникает при соединении двух чистых сердец, светлых, цельных и страстных натур.

Это была Любовь.

Он ушел... Что осталось? Скорбь. Тоска. На что надеяться, чего желать? Надежда для Марии таилась лишь в любви, которую дарил он, ее Василий, а все желания — в надежде на его любовь. Нет его — нет любви. Круг жизненных стремлений разорвался...

Проходили часы, а Мария, запершись, никого не впускала в комнату. Все сидела, все не верила, все ждала: шелохнется, приподымется, встанет, скажет...

Потом она долго смотрела на строгий профиль лица Алексеева, на обостренные смертью его черты, запоминая любимый образ — суть ее души.

Потом машинально прибралась в комнате, бросив в угасающий камин полевую сумку Алексеева с записями и стихами.

Под утро в комнате грохнул выстрел. Когда сломали дверь, Мария была мертва.

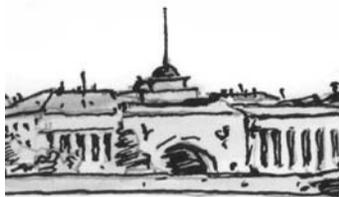
Ей было девятнадцать лет. Достаточно, чтобы любить во всю силу и красоту любви, так, как может любить только женщина, без оглядки, до крайней безотчетности, до полного самоотречения. И мало для того, чтобы понять, что... Впрочем, что должна была понять Мария? Что можно жить и без любви? Что уходить из жизни самовольно — проступок тяжкий, осуждаемый? Но — Джульетта, но — Ромео? Любовь судом обычным не судима...

Хоронили Василия и Марию 2 января. Вместе, рядом, на одной трамвайной платформе, тихо катившейся от Нарвских ворот, стояли два гроба, обитые красной материей, сплошь покрытые живыми цветами. И толпы петроградцев шли траурной процессией. У Путиловского завода платформа остановилась. Из ворот вышли тысячи путиловцев, затопили до краев улицу, двинулись дальше, в сторону Красенького кладбища...

И вот отзвучали прощальные речи, вскинула вверх винтовки красноармейская рота, прибывшая из Гатчины на прощание со своим председателем революционного комитета.

Залп!.. Салют, дорогие мои Василий и Мария! Слава вашей любви, продолжающей веру в чистоту человеческих отношений, слава!

Залп!.. Салют, Мария! Слава тебе, умевшей любить честно и беззаветно, слава!



СМЯТЕНИЕ



Велико могущество совести: оно дает себя одинаково чувствовать, отнимая у невинного всякую боязнь и беспрестанно рисуя воображению виновника все заслуженное им наказание.

Цицерон

Ошибка относится к истине, как сон к пробуждению. Пробуждаясь от ошибки, человек с новой силой обращается к истине.

Гёте

I.

«Волга» стояла у подъезда. Шофер с коротким, как выстрел, именем Фрол, устав ждать, спал на заднем сидении. Мальков требовательно стукнул в окошечко. Фрол мгновенно вскочил, открыл дверцу переднего сидения, быстренько перебрался на свое место. Спросил бодрым голосом, будто и не спал:

— Куда?

— В Сарынь.

Фрол привык лишних вопросов не задавать: «В Сарынь так в Сарынь». Но тут присвистнул: время к вечеру, до Сарыни около ста пятидесяти километров, щебенка только до Лувеньги, а дальше вся в колдобинах грунтовая дорога — вдоволь набуксуешься во тьме. «Мог бы и предупредить», — с обидой подумал Фрол. А вслух сказал все тем же бодрым голосом:

— Часа за три домчим. Резину надо было поменять, совсем «облысела». С ночевой?

— В отпуск.

По тону Фрол понял, что шеф опять был не в духе.

«Неужели я забыл сказать Фролу, что уйду в отпуск, еду в Сарынь? Ну, дела...» — подумал Мальков.

В полномочности работал электрообогреватель, уютно светились разноцветные стрелки, точки и черточки на приборной доске, звучал голос Джо Дассена. Фрол знал, что Мальков особенно любит этого певца и потому записал на магнитофонную пленку все его песни, какие только имелись у местных меломанов. Сам Фрол, как всегда, благоухал неизменным запахом тройного одеколона, который перешибал все остальные запахи — кожаных сидений, бензина, запах железной окалины, шедший от электрообогревателя.

— Как бегают? — спросил Мальков.

Имелась в виду машина, в которой он сидел. Это была новая модель «Волги», проходившая обкатку. Фрол стал старательно, как и во всем, что делал, перечислять прокладки, которые пришлось заменить, болты и гайки, которые пришлось подтянуть, высказывать предположения на счет будущих возможных неполадок, но Мальков не слушал его. Запах сигареты, которую он докурил, в смеси со всеми иными запахами вызвал в нем волнующее чувство чего-то родного, прочного, стабильного.

Когда выехали за город, Мальков пересел за руль и повел машину сам. Он часто это делал. Послушная его воле машина успокаивала, поднимала настроение.

Стрелка спидометра подходила к 130. Это — предел. Впереди показалась черная «Волга». Номер окантован белым — кто-то из высшего областного начальства. Мальков догнал машину, пристроился сзади, и лишь когда убедился, что в ней нет никого, кроме шофера, аккуратно обогнал ее и вновь даванул на «газ».

Скорей, скорей от бесконечной суматохи дел, иссасывающей душу нервотрепки, от тревожащих сердце слухов и сплетен, от бессчетных телефонных звонков, от трамвайного грохота и вони выхлопных газов, от

всей этой духоты, от всего смрада — к черту, к черту!.. Сил больше никаких...

Мальков бежал в долгожданный отпуск, в родное село Сарынь, где он не был с давних студенческих лет, хотя не раз за годы работы в обкоме волей командировочного случая оказывался неподалеку от этих мест. Почему ни разу не заехал? Можно сказать «не хватало времени», можно отговориться плохой дорогой, найти другие причины. Но если по правде — не тянуло. Отец Малькова давно помер, мать свою, как только стал секретарем обкома, он еще десять лет назад перевез в город, и теперь она одиноко жила по соседству — не поладили с Ниной, женой Малькова. В Сарыни осталось много родственников — дядьев, теток, двоюродных и троюродных братьев и сестер, которые изредка, по какому-либо случаю наезжая в город, давали знать о себе разными просьбами. Еще жива была баб-Таня, старейшина рода Мальковых, который и пошел из Сарыни. К ней-то, отцовой матери, и ехал в отпуск Мальков.

Километрах в сорока от города Мальков свернул к Широкому озеру и, доехав до него, остановил машину...

Шли последние дни августа, месяца в этом районе Сибири обычно ровного, солнечного и теплого. Но в этом году август словно с ума сошел, метался из жары в дождь и холод и опять в жару. Дней десять назад погода совсем испортилась. Резко похолодало. По небу плыли низкие черные тучи, роняя наземь тяжелые дождины. Потом они сменились на серо-свинцовые с сухим морозцем облака, которые стали сеять на быстро опадавшую листву и пожелтевшие травы, на тротуары, дороги и крыши реденькие снежинки, будто тополиный пух, летевшие по ветру то вниз, то вверх, и это был даже не снегопад, а какой-то странный снеговзлет. Повихлявшись в воздухе, снежинки все же падали на землю, скапливаясь в канавах, у корней деревьев и стен зданий, но было ясно, что эти преждевременные прорывы зимы ненадолго, что еще ударит тепло.

Так и случилось. Хлынули проливные дожди с огромными — в полнеба — молниями. Временами молнии зажигались прямо над зданием, где помещались обком партии и обком комсомола, и тогда Малькову казалось, что они целят и в конце концов ударят не просто в крышу обкома, а именно в его кабинет, в него самого, Николая Малькова. Вслед за молниями один за другим следовали раскаты грома, порой такие частые, что между ними почти не было перерывов, и в небе образовывалось одно слитно-долгое, без конца и края, рокотание. И в нем слышался Малькову недобрый знак.

Мнительность... Еще недавно, казалось, ему совсем не свойственная, мнительность развилась в Малькове до болезненного состояния. Он ничего теперь не понимал и не воспринимал прямо, во всем ему слышался

подтекст, второй, скрытый смысл. Кто-то оказывал ему повышенное внимание, которого он прежде бы даже не заметил (обычное дело!) — оно казалось ему скрытым, затаенным, злорадным сочувствием, едва ль не соболезнованием. Кто-то возражал, был в разговоре прям и честен. Это воспринималось как непочтение. «Уже считают пустым местом», — думал он. Все это мельчило характер Малькова, раздражало его, но он ничего не мог уже поделать с собою.

А все оттого, что почувствовал вдруг: судьба его, карьера, которую он строил долго, с трудом и так тщательно, как строят дом, в котором будут жить сами, вдруг зашаталась, словно проваливался куда-то фундамент, и вот поползли уже по стенам первые трещины, полетели вниз кирпичи, посыпался песок.

В области кипела объявленная «центром» перестройка. Она и была той невидимой, но такой ранящей силой, которая нежданно-негаданно угодила в Малькова.

Идею перестройки Мальков воспринял искренне и горячо. Впрочем, как всё, к чему и прежде призывала партия. Повышать организованность и дисциплину? Очевидная необходимость! Продовольственная программа? Слов нет! Перестройка? Только слепой не видит, сколько ту-пиковых проблем образовалось...

Нет, Мальков не был бездумным человеком, он был просто дисциплинированным коммунистом. Руководителем областной комсомольской организации почти в двести тысяч человек, сознающим ее роль в делах области и свою ответственность за порученное дело. Вот и все. Перестройка так перестройка...

В привычном порядке закрутился организационный механизм.

Пленум обкома комсомола о задачах по...

План мероприятий...

Пленумы горкомов и райкомов...

Собрания первичных организаций...

Пропаганда перестройки... Молодежные газеты, редакции радио и телевидения...

Аттестация комсомольских кадров...

Бюро обкома о ходе перестройки...

Обобщение опыта... награды... наказания...

Сам Мальков, и раньше работавший на износ, теперь для примера всему аппарату и активу выходил на работу в субботу и воскресенье, пропадал в райкомах, в первичных организациях, мотался по области и выступал, выступал, выступал...

После XXVII съезда партии, в начале марта его пригласил на традиционную беседу первый секретарь обкома партии и, выслушав информацию о делах областного комсомола, завел разговор о проблемах город-

ской, «столичной» партийной организации, как говорили между собой партийные и комсомольские работники, чтобы отличить областной центр от малых городов области. «Первый» выспрашивал мнение Малькова о секретарях райкомов партии, директорах крупных предприятий и, чувствовалось, сопоставлял это мнение со своим, давно сложившимся. Такого раньше не бывало. «К чему бы это? — соображал Мальков. — Прощупывает?»

Гадать долго не пришлось. Через полчаса «первый» сообщил, что Нефедов, нынешний второй секретарь горкома партии, выдвигается на работу в Узбекистан. Обсуждается вопрос о рекомендации Малькова на освобождающуюся должность. Секретари обкома «за». «Так что — вперед, Николай!» — завершил разговор «первый» и, выйдя из-за стола, дружески приобнял Малькова, легонько подтолкнул к двери, будто придавая первое ускорение его движению...

Все было логично, естественно и так, как того хотелось Малькову. Открывались новые горизонты, новые, неведомые, но прекрасные возможности. Он был счастлив, около месяца не жил, а летал на крыльях.

Все разлетелось в пух и прах в одно мгновение.

Вернувшись с очередного пленума ЦК КПСС, «первый» обратился в бюро обкома партии с просьбой отпустить его на пенсию. Все, видимо, было заранее согласовано в ЦК партии, и потому пленум обкома собрался буквально в тот же день. Послушно проголосовали, но не за пенсию, а за «переход на другую работу». На какую — никто не знал. Вдруг выяснилось, что дела в области идут плохо.

Новый «первый» пришел со стороны, оказался человеком решительным. Толком не присмотревшись к людям, собрал секретарей и заведующих отделами обкома и попросил подумать, на какой другой работе каждый из них может найти применение своим силам: новое дело он хотел бы делать с новыми людьми, не обремененными старыми связями и отношениями. Малькова пока не трогали.

Вскоре состоялся пленум обкома партии, и новая «команда» начала энергично действовать. Кадровые перестановки, перевыборы и довыборы в райкомах и горкомах шли бурным потоком. Ворох персональных дел и новых назначений, которые рассматривались на бюро обкома партии, в состав которого входил и Мальков, был огромен. Среди тех, кто по счастливому или несчастному случаю попадал на бюро, было немало людей знакомых. При новых выдвижениях выбор не всегда падал на лучших, и далеко не всякий раз при наказаниях кара была вполне заслуженной, и Мальков, желая быть честным, чему-то препятствовал, кого-то защищал. Но вскоре заметил, что «первый», хоть и молчит, но смотрит на него не вполне одобрительно. «Слишком часто высываюсь», — решил Мальков. И ушел в тень, стал больше слушать, наблюдать.

Потоком шли апелляции бывших руководителей — хозяйственных, партийных, советских. Просьбы были почти всегда одинаковы: оставить в партии при любых иных условиях. Решения бюро были почти всегда столь же однозначны: «Апелляцию отклонить». Мальков смотрел в до неузнаваемости изменившиеся лица людей, видел в их глазах слезы и нескрываемую ненависть.

И чувствовал, как с каждым днем в нем напрягаются нервы, накапливаются ожесточенность и страх.

Однажды рассматривали апелляцию его близкого товарища, директора (теперь уже бывшего) пригородного совхоза, где он не раз бывал. Совсем не по делам... Никаких шансов на восстановление в партии у него не было, но Мальков все же собирался сказать в его защиту несколько добрых слов, да так и не собрался... И теперь то и дело в памяти всплывал его обидчивый взгляд, который он, уходя с бюро, в последний момент бросил на Малькова от самой двери...

Перемены, перемены!.. Слишком много перемен, слишком много, слишком резких, слишком неожиданных. Не уследить, не ухватить умом, не осознать. Так много прежних, привычных установлений развенчано, упразднено. Былые авторитеты низвергнуты, новые не устоялись. Кого слушать, кому верить?

Уехал рекомендованный на партийную работу в Узбекистан Нефедов. Но вместо него вторым секретарем горкома партии избрали директора станкостроительного завода Севастьянова, а не его, Малькова. О нем никто даже не вспомнил. Словно и не было никаких разговоров. Впрочем, все объяснимо: жизнь начинается с новой строки, а ты — из прошлого, ты из «бывших», к тебе надо еще приглядеться.

Тогда Мальков решил осторожно «прощупать» отношение к себе со стороны нового «первого» через близких знакомых, которые еще остались в обкоме партии. Информация поступила быстро, была лаконичной и убийственной, как приговор: «Не тот человек, которого надо выдвигать». И все. «Не тот человек...» В каком смысле? Почему? От ответов на эти вопросы осторожный информатор уклонился, может, он их просто не знал.

Вот тут Мальков и запаниковал. Где-то зрела опасность, где-то о нем что-то говорили, где-то что-то замышлялось, готовилось, но где, что, кем? Этого он не знал, хотя старался выведать изо всех сил, выуживая информацию из намеков, полужраз, вынюхивая ее из воздуха. Знаков, говорящих о том, что он не в «фаворе», было достаточно.

Надо было что-то делать, сопротивляться, бороться, а не идти на поводу событий, как телок на бойню. Но с кем бороться?.. Оставалось надеяться, ждать и работать, работать. В конце концов, какая перестройка, какое ускорение без людей, умеющих хорошо работать?

Но тут одна за другой, как назло, начались неприятности на собственном, комсомольском фронте.

Месяц назад, когда на пленуме обкома комсомола обсуждались итоги июньского (1986 г.) Пленума ЦК КПСС, четыре секретаря райкома, словно сговорившись, так раскритиковали обком, так разделали его, Николая Малькова, что он от обиды готов был плакать, даже отказался от заключительного слова. И зря. Это он-то редко бывает в районах? Это он-то недостаточно интересуется делами в организациях? Это он-то барин? Конечно, в духе времени и все такое, но где же справедливость? А главное, все это в присутствии работников обкома партии... Понятно, «первому» уже обо всем известно.

Нет, определенно происходит что-то не то и не так. Говорит всякий, кто хочет, говорит, что хочет, да какими словами!.. Вот Григорий Остров, первый секретарь Сосновского райкома комсомола. Года в комсомоле не работает, от роду двадцать пять, а уже — шашь на трибуну и туда же — критиковать: «Бюрократизм, формализм... Порочный стиль... Убили самодеятельность молодежи... Устаревшие представления...» С какой стати?

Мальков пригласил Острова зайти в обком после пленума, а тот: «Вы остыньте, Николай Иванович, потом поговорим». Наглец!

До предела натянулись и без того непростые отношения с ближайшими помощниками, секретарями обкома. Не «вдруг», это верно. Цапались иногда и раньше, но в основном по пустякам и в рамках допустимого.

Все началось с отчета по кадрам, который Коренев, второй секретарь обкома, год назад возил в ЦК и который там раздолбали. Кореневу были высказаны серьезные претензии. Пока он летел самолетом, из ЦК раздался звонок Малькову. Было предложено заслушать отчет Коренева на бюро и наказать его. В ЦК не знали, а Коренев из благородства не сказал о том, что вот уже года два, как Мальков «замкнул» решение всех кадровых вопросов на себя. Права и действия Коренева были парализованы. «Если «кадры решают все», то кадровые вопросы должен решать я, первый секретарь, — сказал Мальков. — Иначе, какой же я первый?» — «Тогда снимите эту обязанность с меня», — просил Коренев. Мальков пропустил это мимо ушей и нередко принимал кадровые решения, с которыми Коренев был не согласен. Вот и спорили, ссорились, но Коренев все же терпел. Теперь вдруг «взорвался». Без видимых причин, именно «вдруг», по пустячному поводу, которого, видимо, ждал, Коренев в присутствии работников всего аппарата обкома, бледнея и хмелея от собственной смелости, бухнул: «Хватит вам, Николай Иванович, болтать (так и сказал — «болтать») о перестройке... Пора перестраиваться... Вам лично. Да не просто перестраиваться... Или...» Что — «или» не доска-

зал. А как отчаянно смело смотрел своими широко расставленными глазами в переносицу Малькова, словно лазером прокалывал, аж засвербило в голове! Лицо белое, уши красные...

Потом, когда остались наедине, Коренев сказал, что у него есть разговор для обкома партии. Какой разговор — опять промолчал.

Большоголовый, некрасивый, с ранними пролысинами, Коренев плохо смотрелся на фоне Малькова. Вот уже четыре года они работали вместе, но так и остались в сугубо официальных отношениях. Прямолинеен и настырен был Коренев.

Чувство опасности вдруг усилилось, когда в голове Малькова мелькнула мысль о возможном союзе Коренев–Остров...

Взбрыкивал, случалось, Адонин, третий секретарь обкома, куксилась временами Аюпова, секретарь по работе со школьниками и пионерами. Так это ж бывало иногда, не часто, по конкретным случаям, по делу. И порознь, вот главное — порознь. А тут опущенные головы и гробовое молчание всех присутствующих... «Одобрят», — понял Мальков. Мыслимо ли это было вчера? Вчера бы он ка-а-ак врубил этому Кореневу меж широко расставленных его глаз, только искры б полетели; ка-а-ак глянул бы на остальных, так воротнички и галстуки задымись бы от испуга.

О, знаменитый взгляд голубых мальковских глаз! Их пронзительная жесткость вселяла испуг даже в видавших виды комсомольских работников, уже давно не мальчиков. Он ловил своим взглядом взгляд собеседника и словно светом двух прожекторов высвечивал самые потайные уголки его души. Невинный начинал чувствовать себя виноватым, виноватый — каяться. Мальков знал силу своего взгляда.

Но если б это происходило вчера!.. А сегодня, хочешь или нет, придется дипломатничать, разводить демократию, глотать критику, да еще и самому в себе копать. И потому-то, мгновенно оценив ситуацию, Мальков только хмыкнул от удивления, помолчал, пересиливая свое бешенство, и добродушно улыбнулся: «Стараюсь... Видно, плохо... Учту...» Глянул исподлобья на секретарей — молчат. Сговорились, это точно. Значит, задымилось и под самым боком.

Пропал сон. Ночи напролет Мальков пребывал в каком-то кошмарном оцепенении, когда слышишь каждый звук, когда работает вспышками мозг, но, видимо, лишь одной и той же определенной частью, куда запали грехи и ошибки за всю прошлую жизнь. Страх? Вина? Обида? Чувство опасности? Все вместе. И еще — возникшее чувство безбудущности. Все эти чувства сливались в одну тоскливую, тупую мысль: «Что будет, что делать?»

Никакая аутогенная тренировка, которой Мальков прежде пользовался, теперь не помогала. Он стал принимать снотворное и все же

подолгу каждый вечер уговаривал себя заснуть. И засыпал. Но посреди ночи, вздрогнув, просыпался с той же единственной мыслью: «Что делать?» Усталость, требовавшая от организма отдыха, по законам обратного действия пробуждала его, и истерзанное сознание снова и снова начинало раскручивать безответный вопрос до такой скорости, что он, встретившись с обрывками иных мыслей, тут же подавлял их.

Он подолгу лежал с открытыми глазами, разглядывая в щель на оконных занавесках кусочек ночи, шарил мыслями по прошлому и настоящему, как по большому сундуку с накопленными за годы вещами, и не находил среди них чего-то главного, какой-то самой важной вещи не мог отыскать, зато встречалось столько случайного, ненужного. Вера... Стержень души. Ослаб стержень, стерся, износился, совсем тонким стал. Может, оттого и все страдания? Не верилось, что не верится, но не верилось...

Порой вопрос «Что делать?» отлетал куда-то и звучал то ли сверху, то ли со стороны. Тогда все происходящее начинало казаться Малькову чем-то нереальным, потусторонним, к нему никакого отношения не имеющим. В какие-то мгновения он начинал верить в это и даже успокаивался. Но рассвет возвращал его к действительности.

В минуты отчаяния Малькова тянуло бросить все привычное и начать что-то новое, неизведанное. В страшном смятении искал он достойного выхода и не раз приходил к выводу, что именно достойного, не обидного для него перемещения по работе куда-то в сторону, как теперь говорили — «по горизонтали», — нет, а есть только падение вниз и связанные с этим унижения и позор, которых, ему казалось, он не переживет. В мыслях он приходил даже к крайнему решению: а не свести ли счеты с жизнью? Тогда конец всему. Этот отчаянный выстрел уже грянул в его душе, и он жил временами так, словно доживал последние мгновения после смертельной раны...

Как странно все... Еще вчера был, пусть не во всем и всех устраивающий, но все-таки порядок, а смысл вещей был ясен и понятен... Вдруг говорят, что все, что ты считал порядком, — застой, и потому этот порядок надо разрушить и перестроить. Более того, утверждают, что разрушительность созидательна, входит частью в широкий строительный замысел, что старое надобно ломать с убеждением, с вдохновением и восторгом. Но как это возможно? Ведь в нем, в этом старом, так много дорогого. И не только потому, что оно привычно. В нем твоя кровь, твои нервы, твои силы, бессонные ночи — жизнь твоя. И вот по этой жизни — кувалдой, косой, топором... Больно. Не только для тебя. Это видно по тому, как странно и быстро потускнели отношения людей, как обесцветились друзья и дружба. Идет внутренняя борьба в каждом, все стали вдруг осторожными, сомневающимися. Сомнительными. Как

переоценивал он многих!.. Зовешь на помощь, а вместо этого советы и скулеж о своих болячках. Разглагольствуют, пустословят, обманываются и обманывают, барахтаются, как лилипуты, перед наступающей громадиной машины нового... Сколько дерьма всплыло! Опять в ходу доносы, поклепы... Что остается? Бодриться, корчить из себя весельчаков, остроумничать. Но главное — делать все впопад, вовремя откозырять кому надо, не оплошать, не бухнуть «Во здравие» там, где надобно петь «За упокой»... И наоборот. Первая задача — стерпеть, выжить, а там поглядим.

Страх и сомнения сковали Малькова, согнали с лица его обычно уверенное выражение и оставили только безжизненную строгость черт, сжатые в ниточку упрямые губы, застылую неподвижность деланого внимания и безмерную тоску в глазах. Тоской были полны кабинет, где кто-то что-то кому-то говорил, лес за окном и небо, по которому тянулась бесконечная вереница серых, мрачных туч. Тоской пахли руки официантки, приносившей обед в столовой, сама еда и пар от еды, которую он механически жевал и столь же механически проглатывал. Опостылело, все опостылело!..

Вот тогда и решил Мальков: надо на время выйти из игры, исчезнуть, раствориться, словно тебя и не было. Вдруг да забудут о нем? Пусть поулягутся страсти. Пусть покомандует Коренев, пусть душу отведет. Время отпускное, никто не упрекнет, а отпусков накопилось уже за три года. Скорей в деревню — в глухомань, в тишину, в непоколебимое и успокоительное могущество природы, скорей!..

...У ног Малькова дышало, исходило парами старое озеро. Сегодня дождь лил до обеда, потом резко потеплело. И теперь серый вечер — серый-серый, как цемент, и все-все вокруг — лес, горы, озеро, трава — плавало как в парном молоке, курилось и белыми струйками дыма незаметно тянулось и возносилось в мглистое потухающее небо.

Неподалеку меж гор, невидимый отсюда, гудел водопад. Мальков иногда специально приезжал сюда, чтобы послушать его. Водопад ничего не создавал, не чувствовал, ничего не понимал, ничем не мучался, а просто был — ронял с огромной высоты на камни могучий поток воды, шумел, а Малькову казалось, что он не грохочет, а шепчет ему что-то самое важное и самое нужное...

Постояв у озера, изрядно продрогнув, Мальков вернулся к машине малость оттаявший, умиротворенный. Они двинулись дальше.

Ближе к вечеру встал плотный туман. Когда въехали в лес, он плотными стенами стиснул машину с двух сторон, и свет фар с трудом пробивал белую пелену. Снизу из-под колес с тихим шипением фантастической серой птицей взлетала дорога. С боков на ветровое стекло мелкими метеоритами наскакивала мошकारа, с игольчато тонким звуком уда-

рялась о него, разбивалась вдребезги. Если бы не редкие выщербины на дороге, отдававшие мягкими ударами по амортизаторам, можно было подумать, что машина мчится в космосе, улетая подальше от грешной земли.

Мальков сидел нахохлившись, спрятав подбородок в отворотах плаща и хмуро смотрел перед собой...

Из тишины, из серой мглы на плотном полотне тумана вдруг стали возникать неясные черты знакомого лица. Они проступали, вырисовывались все отчетливее, и Мальков уже знал, кого он сейчас увидит. Из прошлых дней, совсем далеких и совсем недавних, из кутерьмы одержанных побед и наделанных ошибок, из криков радости и горестных вздохов поражений призрачным видением на зыбком мареве возникало и приближалось к нему молодое и красивое лицо — его, Николая Малькова, образ. Был этот образ моложе, проще одет, без грусти на челе, в глазах светилась искренность и бескорыстность. Этот образ был как прошлое, но он не был только прошлым. Он был как совесть, но был не только совестью. Это был сам Мальков, непризнанный и отвергнутый призрак открытого, наивного, но такого самоотверженного и симпатичного паренька теперь уже не близких институтских времен, который давно угнездился в Малькове, был его вторым «я». Этот «Мальков-второй» жил в душе тихой загнанной жизнью и приходил к «Малькову-первому», помимо его желаний, в минуты наибольшего душевного разлада, без приглашения и без предупреждения, и нельзя было приказать секретарше, чтобы она задержала его в приемной.

Поначалу, лет пять назад, когда «Мальков-первый» вдруг обнаружил в себе это мистическое существо, они дрались до нервных срывов: «Мальков-второй», как и «Мальков-первый», был умен, речист и настойчив. Но он был бесплотен, он не действовал, а лишь реагировал на поступки «Малькова-первого», и в этом заключалась ущербность его положения — линию и тон отношений определял все-таки «Мальков-первый». Правда и справедливость часто были на стороне «Малькова-второго», но победы всегда одерживал «Мальков-первый». И тогда «Мальков-второй» стал таиться, приходил реже, зато бил больней. Он где-то прятался до поры до времени, все видел, все запоминал, и это было невыносимо знать, что в любую, самую интимную минуту за тобой наблюдают, что твоя небрежность, насмешка или бестактность отольются тебе беспощадными упреками этого призрака.

Собираясь на работу, настраивая себя на трудный день, «Мальков-первый» давил в себе «Малькова-второго», загонял его поглубже, подальше в угол: «Сиди, помалкивай. Мне некогда сомневаться, распускать нюни по каждому поводу, высчитывать последствия каждого свое-

го слова и шага. Я — масштабный человек. Я решаю задачи глобально-го значения и вынужден абстрагироваться от мелочей, от единиц, когда счет идет на тысячи. От меня ждут решений, а не сомнений».

Бывало, что «Мальков-второй» месяцами не напоминал о себе, и «Малькову-первому» уже начинало казаться, что его внутренний двойник исчез навсегда, и он вздыхал с облегчением, словно избавился от соглядатая или преследователя.

Теперь «Мальков-второй» стал являться чаще, чем прежде. Вот опять...

Мальков тряхнул головой, как бы отгоняя от себя сон или наваждение, приказал себе думать о чем-нибудь легком, простом, совсем постороннем. Но как ни старался, мысли все же свивались в два связанных меж собой клубка — о своей работе и своей семье.

«Хватит суеты, нервотрепки, — думал Мальков. — Хватит перемен, ожиданий, неизвестности, неопределенности. Довольно. Устал. Измучился. Извелся. Жизнь обкрадена работой. Заседания, командировки, речи, статьи. Уж тридцать пять, а кто я? Что имею я, кроме тех прав и привилегий, которые дарованы мне должностью? Машина, дача, похожая на сарай... Что я сам по себе, какова моя себестоимость без всех положенных мне опять же по должности званий и членств, почтения и уважения? Что умею, что значу я сам по себе? Давать задания да спрашивать об их выполнении — не профессия. Оттого и страшусь, видать, дергаюсь. Как ни крути, а все до обидного просто: хочу усидеть в кресле...»

То, за чем гонялся Мальков всю жизнь, чему отдал столько сил, нервов и времени, вся прожитая жизнь вдруг показались ему огромным, ничем не заполненным пространством, несуразной повестью длиною в десять лет, лишенной того содержания и смысла, который виделся прежде во всем, что он делал. Отними должность, и все, что останется при нем — это его семья: мать, жена и дочь, для которых у него не было ни времени, ни сил. А что, в конце концов, может быть выше мира в семье, выше обыкновенного семейного счастья? Работа? Испробовал... Хотя, конечно, надо и работать. Вот именно: жить и — работать, а не работать и — жить, как было прежде. И как хорошо, что где-то... И не «где-то», а на улице Некрасова номер семь стоит большой кирпичный дом, а в нем есть квартира, где живут два родных и самых близких на свете человека — жена Нина и дочь. Все должно отлететь теперь в сторону и остаться только то, что постоянно, незыблемо и пребудет с ним до конца дней: жена, дочь и он сам, Николай Мальков.

С женой у Малькова были до ненормальности спокойные отношения. Пылкая их любовь в студенческие годы, которой тогда многие завидова-

ли, прогорела быстро, как сухой хворост, оставив саднящее чувство тихой благодарности. Любовь переросла в прочную привычку, дающую Малькову полную свободу действий, ухоженную квартиру и тот необходимый бытовой уют — рубашки стираны, костюм отглажен, еда вовремя и вкусная, — без которого туго живется и чего-то не хватает даже самым деловым, заикленным на карьере людям. Несмотря на его супружескую холодность, частые и долгие разъезды по командировкам, поздние вечерние, а то и полночь приходы домой, несмотря на вечную усталость, раздражительность, Нина была заботлива и добра, прямо-таки подавляла его своим благородством. Было в этой любви что-то материнское, до слез трогательное, и это поражало Малькова, он изо всех сил старался переблагогородничать Нину. Ее настроение, заботы, здоровье были предметом его внимания, и всякий раз, когда у нее что-нибудь расстраивалось на работе или со здоровьем, он терял голову от беспокойства. Регулярно звонил из командировок, справлялся, как дела; ехал в Москву или за границу — на все деньги покупал наряды для Нины, и она была одной из самых больших модниц в городе. Иногда ему казалось даже, что он безумно любит, прямо-таки обожает жену, хотя как-то отдаленно, со стороны, приглушенно, какой-то даже более сильной, чем любовь, страстью... Во всяком случае, Мальков не мог представить свою жизнь без Нины. Видеть ее, говорить с ней он должен был так же регулярно, как есть и пить. Да, это было привычкой, традицией, но привычкой такой же огромной силы, как инстинкт.

Была в такой жизни очевидная искусственность, ненормальность, оба понимали это, но, как могли, старались не разрушить вдохновенную дипломатию и сохранить хотя бы статус-кво сложившихся отношений. И все же часто Мальков чувствовал себя вором, обкрадывающим собственный дом, поймав на себе изучающий взгляд Нины, цепенел от стыда...

Нет, ничего особого в интимной жизни Малькова не случилось. Так, мимолетные легкие флирты, не более, о которых он тут же забывал. О том, чтобы влюбиться в кого-нибудь, он никогда даже не помышлял. А все ж он понимал, что даже малозначительные подозрения унижают Нину. И мучался...

Теперь — все. Надо немедленно погасить даже вялые слухи и сплетни. На кону — карьера, благополучие семьи.

Никакого риска.

Надо разрубить, наконец, этот завязавшийся годами гордиев узел недоговоренностей и взаимных невысказанных претензий — и будь что будет: простит — так он станет вернее дворового пса, а не простит — значит, судьба, и надо начинать сначала всю свою жизнь...

С этими мыслями Мальков стал успокаиваться, прислонился головой к кабине, приказал себе забыться и в несколько мгновений уснул.

Ему снилась Нина...

Очнулся от легкого толчка в плечо.

— Чтой-то вы такое бормочете, Николай Иванович, уж больно ласково, — заговорщицки подмигнул Фрол.

Мальков неопределенно улыбнулся, неопределенно развел длинные руки:

— Ты, Фрол, это кончай...

По причудам памяти вдруг всплыли из ее глубин и резанули душу сказанные Григорием Островым тогда, после пленума обкома, слова, вроде совсем забытые: «Мне кажется, Николай Иванович, мы с вами перестройку по-разному понимаем. Чтобы быть руководителем, надо самому творить перемены. Самому! Творить!..»

Надо было отбрить: «Сопляк! Что ты понимаешь в жизни? Знаешь ли ты, что такое подчинение? Исполнительность? Железная дисциплина? Железная!.. Единомыслие, единодействие? В этом и есть наша сила! Кто будет слушать твои размышлизмы, когда есть простая, как коровье мычание, задача вроде: «Дать пятьсот человек на строительство БАМа к такому-то числу!» И баста! Вот и «твори». Пятьсот. К определенному числу. И без никаких. А сколько таких задач? Осень наступила — и понеслось! Отчеты и выборы — строго по графику. И чтоб процент явки не ниже прошлогоднего. И чтоб активность при выступлениях тоже не хуже. Да чтоб, не приведи бог, не признали работу такой-то организации неудовлетворительной. Да чтоб не «катанули» кого при выборах... А политпрос? Тут главное — охват. «Качественный состав пропагандистов»... А школы рабочей молодежи?.. А смотры, конкурсы и походы разные, в одних названиях которых запутаться можно? А рост?.. А взносы?.. Перечислить только, чем заниматься надо, — и то немислимое дело. А нужно еще чтобы все — в срок, да показатели были «на уровне». Вот и твори... Конечно, никто не запретит быть инициативным. Но где взять на это время? От зари до глубокой ночи — в делах, на нервном срыве. Хотя мало ли он, Мальков, этого нового ввел в областной комсомол за годы своего секретарства? Форм работы, починов, идей? Сколько новых талантов открыл...»

Надо было все это сказать тогда Острову, но он смолчал. Вот и теперь — работу-то никто не отменил, объем дел все тот же, но давят: где новое? Где творчество? Где инициатива? Ускорение!.. Что-то слишком ускорились, аж позвонки шейные хрустнули. От инерции с работы уж сколько друзей слетело. Тяжелые дни, роковое время... Ах, Остров, сукин сын... Вот ведь еще забота объявилась... А все ж умен, умен, ничего не скажешь. Вот ведь сколько гадостей ему лично наговорил, а должное все ж отдать приходится — умен и обаятелен. А обаяние сильнее хитрости. Политический деятель без обаяния — фигура во мно-

гом беспомощная, а с умом да обаянием впридачу — неотразим. И вот такой — противник. Тут надо что-то очень тонкое придумать, чтоб победить. Придумается, не впервой. Главное, чтобы все обошлось с «первым»...

Все теперь упиралось в это «чтобы»...

За окнами машины мелькал предвечерний сентябрьский лес, пламеневший всеми оттенками красок неповторимой по красоте сибирской осени. Лес светился желтизной, горел огнем багрянца, мешался с зеленью сосен и елей, лес пахнул прохладой уже опавших листьев, сыростью низин, настоящим смолой, дымом свежезалитых костров, горелой стерни, отпыхавших летом пожаров. Лес звенел и молчал, грозился и обещал...

Запах осени, краски осени, звуки осени — как любил их Мальков!.. Он приоткрыл автомобильное стекло и пропускал колдовство осени через свою душу. И казалось ему, что из нее опять уходят обида и злость и что сама природа живительным и целебным потоком своего очарования и умиротворенности вливается в его грудь, превращаясь в чистое чувство и светлую мысль, от которых хочется тихо плакать.

Мальков думал о работе, о том новом, что должно войти в его жизнь, о переменах, которые должен произвести он и которые произойдут с ним. С кем-то надо поговорить, излиться, пооткровенничать, посоветоваться. С кем?.. Конечно, с Качановым, с кем же еще. Друзей у Малькова, друзей в собственном смысле слова, всегда готовых за него в огонь и в воду, таких друзей у него не было. Это знал только сам Мальков. Хотя называл друзьями многих. Еще больше было тех, кто набивался в друзья откровенно или пытался влезть в душу исподтишка, клялся в верности и преданности. Цена всего этого была хорошо известна. Разуверился в дружбе Мальков, и на то было много причин. Ах, как его «закладывали» некоторые — лучше не вспоминать. А вот Качанов...

Илью Качанова, первого секретаря Лосятинского горкома комсомола, тоже вряд ли можно было назвать другом, пожалуй, он был просто товарищем — старинным, надежным. Но, боже, до чего же беспокойным! С Качановым постоянно что-нибудь случалось. Не по глупости, а от ума, от неумейной выдумки. То создал клуб из «трудных» подростков, а они после двух месяцев новой жизни, о которой даже областная «молодежка» рассказала, вдруг устроили драку со смертельным исходом. Клуб закрыли, Качанова наказали... То начал создавать дискотеки, которые Шумилов, бывший тогда заведующим отделом пропаганды обкома партии, назвал делом «вредным и не нашим». Только Качанов развернулся с этим «диско» — нагрянула комиссия обкома, и был «бэмц» на всю область. Опять Качанову досталось. И так все шесть лет, что ра-

ботал он первым секретарем Лосятинского горкома. Шесть лет! Другой бы за такой срок поутратил вкус к новациям, а этот хоть бы хны — то одно придумает, то другое. Половина переходящих знамен и вымпелов обкома — в Лосятинском горкоме, у Качанова.

И это бы все ничего, да уж слишком впечатлителен Качанов, прямо как девушка: похвалят — раскраснеется, весь радостный, веселый; поругают — мрачен, как туча, за сердце хватается. А сердце у него слабое, больное. Полтора года назад получил инфаркт, с месяц назад — второй... В тридцать-то три года... Теперь из-за своих стихов. Стихи и статьи Качанова сделали его популярным на всю область не только среди молодежи, он был дружен со многими журналистами, местными писателями и поэтами. В областном театре юного зрителя шла пьеса Качанова «Зачем живу?». Голова у Качанова была светлая, но, как сказал ему однажды в гневе Мальков, «с мозгами навыворот». Философ он и есть философ... МГУ закончил. Странность и необычность мышления сочеталась у Качанова с непримиримой честностью, каким-то нервным отношением к действительности. Что ни статья — скандал. Потом, после разбирательств, после того как он находится по кабинетам, как в очередной раз выяснится, что в его тексте нет никакого подтекста, а только правда в том виде, какой она видится Качанову, все становилось на свои места и успокаивалось. В конце концов. А в промежутках — море неприятностей, переживаний.

Но Качанов не унимался.

Около месяца назад в «молодежке» вышла его статья «Хочу быть колоколом». Название, прямо скажем, с претензией. Шумилов, тот так сказал: «Нескромно, вызывающе... «Быть колоколом» — это для чего? Кого собирать? Зачем? Герцен издавал журнал «Колокол». Тут все ясно. А Качанов? Тут нехороший намек, тут, знаете ли, такой подтекст, так-о-ой... И стихи — совсем неоднозначные, тоже с намеками...

Лично позвонил Качанову, вызвал к себе и в присутствии Малькова устроил ему грандиозный разнос. Качанов в тот же день слег, а еще через день был сердечный приступ и — второй инфаркт.

— Фрол, завернем-ка в Лосята, в больницу. Надо Качанова навестить.

Фрол согласно дернул плечом:

— Наше дело шоферское... В Лосята так в Лосята...

II.

В палате, где лежал Качанов, только что закончился врачебный обход и еще видны были его следы. В стоявшей около Качанова полоскательнице валялись стеклянные осколки от ампул, плавали взбухшие от во-

ды ватные тампоны. Пахло лекарствами. Молоденькая сестра заученными движениями подтыкала одеяла, заправляла простыни, собирала скомканные салфетки.

Поначалу Качанов лежал в одноместной палате, куда его привезли из реанимационного отделения. Но как только он почувствовал себя лучше, попросился в общую палату: скучно одному.

В тесной и душной пятиместке, по правую руку от Качанова лежал директор десятой лосятинской средней школы Ян Янович Поварков, человек хорошо ему знакомый и уважаемый. Он часто бывал в горкоме, и хотя было ему уже за шестьдесят, уходить на пенсию не желал. Поварков был болен почками, ему становилось все хуже. Директор крепился и, может, для собственной бодрости вспоминал героические истории из Отечественной войны, которую закончил майором. Но большую часть времени Поварков читал.

Дед Федор, старый-престарый, огромного роста, костлявый, был тих и ровен, похож на старое высохшее дерево. Он любил сидеть у окна, часами смотрел на лес, молчал и изредка с треском кашлял. Никаких болезней у него врачи не находили, хотя дед жаловался, что «грудь печет». Для профилактики ему давали какие-то порошки и делали уколы в руку — спускать штаны дед наотрез отказался.

Привез деда в больницу сын, председатель далекого таежного колхоза. Дед откровенно тосковал по своей деревне и каждый день по вечерам грозился: «Ежели Ленька завтра не приедет — сбегу». Но сын Ленька все не приезжал, и дед Федор становился грустней и грустней.

Вовка-студент только спал в своей кровати, а все остальное время где-то пропадал: то играл в подкидного с больными из других палат, а то сидел у столика дежурной медсестры и разводил «амуры». Он и в больницу-то попал по своей приверженности к амурным делам: прилетел на свадьбу к брату, да занесло с подружкой на сеновал. Подружке хоть бы хны, а Вовка схватил воспаление легких. В институте уже началась сессия, но Вовку это не тревожило, он писал письма товарищам и строил планы на зимние каникулы. Сосед он был ненадоедливый и даже наоборот, с его появлением в палате становилось веселей.

Четвертым был некто Юрий Евгеньевич Вольф, директор продмага. Качанов его немножко знал: приходил как-то в горком, просил за своего сына, исключенного из комсомола. Вольф жаловался на сердце, но похоже было, что для отвода глаз: вероятней всего, прятался от очередной ревизии. Он без разбору ел и пил в три горла, и было немыслимо представить, как влезает столько пищи в эту среднего роста фигуру. Особенно любил Вольф урюк, вытаскивал его пригоршнями из казавшихся бездонными карманов, бросал в рот и долго чавкал, сопя.

Он ни минуты не сидел на месте спокойно, дрыгал ногами, дергал плечами, тер ладошкой образующуюся на голове с короткой стрижкой лысину и изводил всех сальными анекдотами, рассказывая их с таким смаком, словно ел свежую малину. И сам же первым нехорошо, по-жеребиному ржал.

Когда разбирались с сыном, пришлось поинтересоваться и биографией Вольфа-старшего. Как помнил Качанов, Вольф когда-то работал в Москве, преподавал в каком-то вузе, был кандидатом юридических наук, однако степени этой его лишили: уличили в плагиате и взятках. С трудом избежал тюрьмы.

С тех пор Вольф боялся двух вещей: милиции и сквозняков. Чмокая урюком или со свистом обсасывая мясные косточки, он забивался в самый угол своей кровати и донимал всех вопросами: «Вам не кажется, что сквозит? Нет, по полу тянет, это точно!» С дедом Федором, который без свежего воздуха жить не мог и потому все время хотел открыть форточку или окно, у Вольфа шла настоящая война. На всех приходивших посетителей он смотрел с подозрением: не из милиции ли?

Уже несколько раз Вольф схватывался и с Качановым, когда речь заходила о перестройке.

— А я не желаю никакой перестройки! — кричал Вольф. — Мне ваше ускорение на кой хрен? Я хочу, чтоб мне не мешали жить, как я хочу! Есть у нас свобода или нет? «Як було, так и будэ. А будэ, як було...» Так говорит мой друг Федирко. И отстаньте от меня!.. Но с другой стороны, — резко сбавив тональность, говорил он, — если мне не будут мешать и давить мою неукротимую натуру, то я еще подумаю и, может, поддержу эту вашу хренову перестройку. При одном условии — не давить!..

Всякий раз Качанов отступался, боясь за свое сердце.

А в общем жизнь в палате шла по заведенному в больнице порядку — обходы, процедуры, завтраки, обеды, ужины. В свободное от обязательных больничных занятий время дед Федор брал газету и принимался бить мух, ползавших по остаткам еды на тумбочках, по белым стенам и подоконникам.

Осторожно и тихо вошедшего Малькова Качанов встретил смущенной улыбкой, в которой тот опытным глазом отметил вспыхнувшую было радость, которую тут же заглушила плохо скрытая печаль.

Качанов протянул Малькову руку, они поздоровались, но потом выпростал ноги из-под одеяла, встал, они обнялись и троекратно расцеловались.

— Ну, как дела? — спросил Мальков. — И поймал себя на мысли, что вопрос его получился обращенным не к Качанову, а ко всей палате сразу, прозвучал излишне громко, в таком же искусственно-бодром тоне,

в каком он всегда вел разговор с людьми в заводских цехах или с сельскими механизаторами. «Е-мое! — выругался он про себя. — Больница же, к другу приехал... Вот привычка...»

Воодушевлять, вдохновлять людей — этого требовал Мальков от сотен своих подчиненных. Для краткости и большей выразительности в узком кругу он обычно соединял два этих высоких слова в одно — «вздыбливать». Оно звучало проще и мобилизующе.

— Надо вздыбить молодежь!.. — так нередко заканчивал он свои речи перед работниками аппарата обкома, когда надо было подчеркнуть важность и масштаб начинавшегося дела. Но чтобы его, Николая Ивановича Малькова, слова и призывы звучали убедительно, было необходимо иметь бодрый вид, хранить уверенный тон и красивую улыбку на лице, которые говорили бы окружающим: «У меня все в порядке. Я знаю то, о чем даже не подозреваете вы. Я могу то, что вам и не снилось. Я силен и могуч. И будьте осторожны со мной, очень осторожны».

Привычка хранить бодрый вид и красивую улыбку на лице стала маской, которую Мальков не всегда мог снять даже тогда, когда хотел.

Как бы закашлявшись, через несколько мгновений он переспросил уже участливым тоном:

— Как жизнь, Илья?..

— Вот, лежу... Говорят, поправляюсь... — ответил Качанов.

И почему-то засмеялся. Но смех вышел натужный, деланный.

— Жизнь и дела у здоровых, а у больных одно дело — болеть, надеяться, да о спасении своей грешной души бога молить, — продолжил он. — Пока ты здоров, тело и дух в равновесии, хотя обычно плоть подавляет дух. А чуть скovyрнулся — и все: дух берет свое... Вот лежу и думаю...

— Философ он и есть философ. Про бога заговорил, — подковырнул Мальков, не ожидавший развернутого ответа на свой дежурный вопрос. Он присел у тумбочки.

— А что ты про бога так? Припрет — тут к кому угодно обратишься... — усмехнулся Качанов. — В воскрешение и всяческую загробную жизнь я не верю, конечно же. Хотя сегодня даже некоторые наши моднейшие писатели, заметь, ударились в богоискательство. Айтматов, Астафьев... Обратил внимание на их статьи в газетах? Отчего вдруг?

— Постарели, а «дуба давать» не хочется, — буркнул сбоку Вовка.

— Точно, — подтвердил Вольф.

— Ну, Айтматову с Астафьевым суждена долгая жизнь, они писатели классные, их книги и имена будут долго жить. Память — это второе название жизни, — не открывая глаз, медленно проговорил Поварков.

— Чуть. Хреновина, — отреагировал Вольф. — А жрать эта память чем будет? А трахаться памятью можно? А если нет, то какая ж это жизнь? Мистика. Меняю пять лет бессмертия на пять банок красной икры. Но сегодня...

— Воровская психология. Мышление временщика. Хапнуть — и в свою нору. Скоты, звери, а не люди. Вы гляньте, что творится вокруг с этими кооперативами? Такое множество мышей, крыс, кротов, тушканчиков и прочих грызунов понавылезало — жуть. Все грызут, тащат, кусаются, пищат... Тьфу!.. А страна? А история? А ближние? Все забыто, на все наплевать. И это только начало...

Поварков сел на кровати и стал говорить не спеша, короткими, как выстрел, фразами, которые, это знали все в палате, кроме Малькова, были направлены в сторону Вольфа.

— Ты послушай, послушай, — шепнул, подмигивая Малькову, Качанов. — Тебе это полезно. Каждый день воюют...

— Вот, вот!.. Опять — «страна», «народ», «история»... — сразу на высокой ноте взял Вольф. — Страна — дура. Народ — быдло. История — дурацкая. Глупее некуда. Все в этой стране есть — леса, недра, золото, а жрать нечего. А в Греции... я был там недавно... говорят так: «Греция — страна бедная, а люди у нас — богатые». Что лучше? Как у нас или как у них? Как у них!.. Любовь к человеку... сострадание... доброта... Надоело эти проповеди слушать. Поповщина! Как я могу любить вот его, Качанова, если он меня не любит? Не надо сопли по деревьям развешивать. Правда все-таки в том, что жизнь жестока, что жизнь — это естественный отбор, борьба, что жизнь — это «кто кого». Или ты меня сожрешь, или я тебя. Тушканчики...

— Обидели дядю!.. — дурашливо захохотал Вовка. — Волка тушканчиком обозвали...

— А ты молчи, шпендель! — огрызнулся Вольф.

— Правду баит, — встрял неожиданно дед Федор и ослабил большим и на удивление белозубым ртом.

— Ты смотри-ка — и этот туда же, — дернулся Вольф в сторону деда. — С ума сойти! Все сейчас про правду только и кричат. «Уроки правды! Уроки правды!» А кому она нужна, ваша правда? Я вот совсем не хочу, чтоб про меня знали всю правду. И таких миллионы. Для кого нужна эта перестройка, если ее смысл в правде? Мне нужно одно: свобода, право делать то, что хочу. И больше никакого права, никакой правды. Ибо с помощью правды в жизни ничего не добьешься. Имейте смелость мечтать и врать! Врать надо даже тогда, когда ты прав. Так быстрее дело сделаешь... Совесть... У меня нет денег на ее содержание... Нет смелых мертвецов. И умных тоже. Все мертвецы дураки и трусы. Умен, кто выжил. А выживает не тот, кто честен и смел, а тот, кто осторожен и хитер.

«Смелого пуля боится?» Ерунда. Все пули — для храбрецов. Бессмертны трусость и осторожность. Вечны только хитрость и зависть. «Завистники умрут, а зависть — никогда». Мольер. Правда!.. От нее все беды и нищета. Кто такой Мандевиль, знаете?

Все молчали. Качанову что-то вспоминалось, но так и не вспомнилось. Мальков такой фамилии не слышал никогда и мгновенно от этого взбесился. Выдержав выгодную для себя паузу, Вольф торжествующе продолжал свой монолог.

— Так вот, был такой писатель в Англии Бернар Мандевиль. В начале XVII века он написал басню о пчелах под названием «Ропщущий улей, или Мошенники, ставшие честными». Некогда, рассказывал он, существовал богатый и обширный улей. Населявшие его пчелы обладали всеми чертами, присущими людям. Они были отчаянными мошенницами и на каждом шагу надували друг друга. Каждая из пчел стремилась к собственному благополучию, и, тем не менее, улей процветал. Но вот однажды в улье появилась честная пчела. Ей удалось уговорить своих сестер оставить пороки и стать добродетельными. Прекратилось взаимное надувательство, судьям и полиции стало нечего делать, потому что никто больше не нарушал порядка. Но вместе с пороком из улья исчезло и стремление к обогащению. Пчелы превратились в бедняков; общественная жизнь пришла в упадок; улей погрузился в мертвый сон. Мораль: пороки в обществе необходимы и полезны. Не добрые и достойные любви качества делают человека общественным существом, но его недостатки, его несовершенство. Человек эгоистичен, и именно его недостатки содействуют развитию общества. Заметьте: умный человек Мандевиль понял это почти триста лет назад, а вы... Кооперативы вам не нравятся, тушканчики... Да все общество из этих тушканчиков состоит... И вы все такие же. Еще посмотрим, что будет дальше, что из вас получится, например, товарищ Качанов... Тоже мне, святоша... Поскорей бы ваш дурацкий моральный кодекс подох... И все пойдет как надо. Вон Америка — чем не пример? Свобода! Ну полсотни лет поотстреливали друг друга — и все. Те, кто стрелял быстрее и точнее, живы. И богаты. Ну, а кому не повезло... Надо было лучше тренироваться... Природа! Она без всякого раздумья отдает менее сильные организмы в добычу более сильным существам. Наша всемать знает, что делает. Ничто не появляется из ничего и ничего никуда не исчезает. Все возникает из природы и падает обратно в ее же лоно, которым она рождает все новые и новые виды и особи. Что взлет, что падение — для природы все едино. Смерть — такая же шутка природы, как и жизнь. Но если такое допускается человеком для животного мира, так почему это не должно происходить среди людей? Человек — часть природы, обыкновенное животное, может, самое страшное из животного мира, потому что сознает, что

убивать нельзя, но убивает. Тысячами способов... Ничто не вызывает такого духовного и нравственного подъема, как война... Война очищает и служит знаменем более высокой судьбы для каждой страны, которая имеет смелость начать войну и победить...

— Послушайте, Вольф, — да вы ведь фашист, и только. Законченный. Вас надо бы расстрелять, и дело с концом... — Поварков давно уже подошел вплотную к Вольфу и, бледный, ненавидяще смотрел ему в шмякающий рот, из которого вылетали такие страшные фразы. — Я все-таки думаю, товарищ Качанов, что его надо привлечь. Мы будем свидетелями... Где ты всего этого начитался, сука! — сорвался и закричал Поварков. — Ты же фашист... Немыслимо!.. Где?!

Вольф скорчил вдруг дурашливую физиономию, приставил к животу локти и, закрутив кистями рук так, словно они были у него на шарнирах, заговорил голосом юродивого.

— Иде-иде... Сказать в рифму? Или как? Не ясно? Думать надо, до самого конца все додумывать, тогда и сам допрешь! — заорал он во всю глотку. — Я каждый день на этой самой войне животного мира... Тушканчики... Я вам не тушканчик. У меня фамилия и та совсем другая. Ясно?..

Задохнувшись от мгновенно вспыхнувшего бешенства, Вольф замолчал.

Качанов сидел, сцепив пальцы рук и едва сдерживался от того, чтобы не схватиться с Вольфом. Мальков то открывал рот, словно хотел что-то сказать, то укоризненно качал головой, когда говорил Вольф, то медленно кивал ею в знак согласия словам Поваркова, а между тем думал: «Ввязываться, не ввязываться? Молчать — плохо. Но ведь и переговоры не удастся — умный сукин сын. Надо будет сообщить в органы, пусть присмотрят...»

Вольф, видимо, решив добить Поваркова, спросил его:

— Ладно. Не обижаюсь. Прощаю. Пусть фашист, по-вашему, хотя это, конечно, не так. И это прощаю. Но вот ответьте как коммунист как бы фашисту: вы во время войны кем воевали?

— Летчик-штурмовик.

— Ого!.. И сколько на вашем счету убитых фашистов?

— В моем личном деле сказано, что я уничтожил девять грузовиков с живой силой, семь танков, один грузовой эшелон и около трехсот человек пехоты.

— Мать моя родная!.. Так вы ж форменный убийца, товарищ Поварков. И вам не стыдно жить на белом свете?

— Стыдно. Стыдно, что мало этой сволоты убил.

Вольф хотел что-то сказать еще, но его опередил Вовка.

— Ян Янович, а вот прямо так, сами, из винтовки — убивали?

— Убивал, — жестко ответил Поварков. — Один раз.

— А расскажите, — с откровенным любопытством попросил Вовка.

— Да, пожалуйста, какие проблемы... Был у меня в юности товарищ, Женька. Оба инструкторами в горьком комсомола работали. Война началась — призвали нас. Вместе в летном училище учились... Такой идейный был. Речи зажигательные говорил, песни патриотические распевал. «Веди нас в бой...» Слышал такую? — обратился Поварков к Вовке. — После окончания училища бросили нас в Крым, определили в один полк. А в Крыму в это время такие бои, такая кутерьма — жуть... Его ранили, запретили летать. Стал служить в техсоставе. А я летал. Вдруг собирают всех нас как-то, строят. Смотрю — Женьку везут. Руки связаны, в нательном белье. В чем дело? Оказывается, решил в медсанбат попасть, отлежаться, пока вся эта свистопляска закончится. Выжить захотелось. Ну и рубанул себя по руке саперной лопаткой. Думал, никто не видит. Ан нет... Приговорили его к расстрелу. Нам было приказано привести приговор в исполнение... Женька все не верил, что его расстреляют. Глазами по рядам бегают, до меня дошел, уперся... Страшные глаза... Да как завопит, да как упадет на колени, да как затрясется... Никогда не забуду, как он ползал по земле, ноги целовал... Поставили его на колени, лицом к могиле... Он даже не сопротивлялся. Могила уже вырыта была. Все стреляли в спину. Он не видел кто...

— И вы стреляли? — спросил Вовка.

— И я стрелял...

— Это очень страшно — стрелять в человека?

— Страшно. Но когда в тебя стреляют — страшнее. Вот видишь?

Поварков задрал рубашку, ткнул пальцем в глубокий шрам на груди.

— Это входное, а там, — от выгнулся, залез пальцем под спину, — там выходное отверстие. Это меня немцы в концлагере убивали, да не убили.

Все молчали. Было тихо. Только где-то далеко гудел паровозик. «Рабочие из забоя едут», — подумал Качанов. Мальков возбужденно барабанил пальцами по тумбочке.

— А вот, скажите, пожалуйста... — наигранно учтивым голосом опять заговорил Вольф. — Вот, скажите, Ян Янович, это правда: бывало так в концлагере, что подходит эсесовец к заключенному и — раз-раз по лицу — ни за что? Не преувеличивают? Я вот кино смотрю... Ведь преувеличивают, а? Будьте так добры сказать...

И глядел нахальными глазами на Поваркова.

Тот вскинулся, зло ощерился, но сдержался. Помолчал, продолжил задумчиво, глухо.

— Каждый человек умирает много раз. Иногда в день по несколько раз. Когда подличает, врет, когда творит зло. Это он сам в себе человека

убивает, сам себя расчеловечивает. Зато, когда смерть придет, такой человек орет благим матом, корчится в ужасе. Это он бесполезность свою оплакивает, о том хорошем, что мог бы сделать, да не сделал, вопит. А если человек жил с достоинством, он свое достоинство и в минуты кончины не потеряет.

— Ах, перестаньте! Опять ложь! — ехидно заметил Вольф. — Байки для здоровых людей. Это только здоровому человеку нужен весь мир, а больному ничего не нужно, кроме здоровья. И если вы заболели, если завтра... — Вольф вдруг жалобно дернул кадыком... — то вам... мне наплевать на эту словесную шелуху, на все осознания... перестройки... ускорение... Смерть на всем ставит крест. И никакого смысла в этой жизни. Все — абсурд. Родился — родил себе подобного — и сдох.

— Коммунисты утверждают... — хотел было вставить слово Вовка, но Вольф перебил его, завизжал истерично.

— А мне глубоко наплевать сейчас на то, кто и что утверждает! Я сам лекции когда-то читал. Какая разница — кем подышать: коммунистом или беспартийным? Смерть для всех одинакова. Умирать — не уроки детям давать. Вот когда почувствуешь дыхание смерти на своем загривке, когда она дыхнет вам в лицо, вот тогда и заорете благим матом... Как этот Женька... Хоть вы и коммунисты. Да, да!.. Заорете! И скажете то же самое, что я сейчас говорю...

— Странно все, — растерянно протянул Вовка. — А вот те, которые против нас, ну, наши идейные противники... Я не только о прошлом, но и о современности... Они что же, вопроса о смысле жизни не задают? Они воюют против нас и как-то оправдывают свою войну или нет? Зачем создан человек?

Поварков, было решивший, видимо, выйти из спора, взявший в руки книгу и надевший очки, снял их, отложил книгу.

— Володя, ответ на любой вопрос всегда зависит от правильной постановки этого вопроса. Вы спросили: «Зачем создан человек?» Так вопрос ставить нельзя. Мир не создан, а возник. Жизнь не дарована человеку кем-то, а возникла сама по себе. Человек сам себе ставит цели. Он понимает смысл своей жизни в зависимости от уровня своего развития и господствующей в обществе идеологии. Вот тут и ответ на вопрос...

— Ну, а я что говорю?.. — встрял Вольф. — И я об этом же. Только не надо этого... конфитюра, этого сладенького сиропа... «Добро»... «Человечность»... Суть жизни? Самопрокорм. Если человек не поест один день, он соврет. Если он поголодает два дня, он украдет. Если он останется без жратвы четыре дня, ну, неделю, он убьет. Производство продуктов, а попросту жратвы — вот весь смысл человеческой жизни. Са-мо-прокорм! Запомни это слово, Вовочка, и больше голову себе не ломай. А если хочешь быть человеком, Вовик, иди туда работать, где производят жрат-

ву и промтовары. Там работают единственно нужные люди. Все остальные у них под башмаком и заняты тем, что или критикуют их или задницу им лижут. И не надо, Ян Янович, мозги пацану замусоривать, ему жить еще. А то как мой сын: «Ах, голубые дали!.. Ах, все дороги открыты»... А эти — р-раз!.. И выкинули сынулю из комсомола. И перекрыли шлагбаум... сердечные люди... Учителя, называется. Только людей корчите смолоду...

И тут Вольф, не сдержавшись, зло глянул в сторону Качанова.

А Вовка все ж не унимался.

— Ну, ладно: не созданы мир и человек, а возникли. Но это ж надо осознать, как вы сказали, Ян Янович. А многие ли сознают? Миллионы просто живут без всяких теорий и слыхом о них не слыхивали. Вот ты, дед Федор, — обратился Вовка к вошедшему деду, — ты что-нибудь про перестройку слышал? Вот ты лично как — ускоряешься или перестраиваешься?

Дед ощерился беззубым ртом.

— А куда ж мне ускоряться? В могилу что ли?

— Ну а если не ускоряешься, тогда зачем жил? Вот ты, ты ж старей-престарый, тебе помирать пора, а ты в больницу лег. Значит, жить хочешь. А зачем? — не успокаивался Вовка.

Дед Федор сгреб с подоконника крошки хлеба в огромную, как лопата, ладонь, словно и не о нем, а о ком-то постороннем шла речь, равнодушно ответил:

— Отчего ж не помереть, помру. Свое отжил...

— Ну а жил-то зачем?

— А ты меня не хорони, паря, не помер еще... А я же тебе баю, или плохо: я сынов родил, два сына, два мужика, да семь внуков остаются... Это ж артель цельная. Землю пахал, за скотиной ходил... Девять Прохоровых замест меня остаются. Люди, а не комары, паря...

Дед Федор открыл форточку и выбросил пригоршню хлебных крошек за окно. Там началась воробьиная возня.

Вольф по-жеребиному заржал.

— Дед-то в точку бьет, Вовик: нужно размножаться. Х-хорошая работа! Я только чего боюсь: растущая сексуальная активность масс может привести человечество к катастрофе — человечество сотрется!..

И снова заржал.

— Четыре главные задачи у человека, Вовик, запомни: родиться, выжить, расплодиться и умереть. О первой тебе не надо думать, о ней папа с мамой подумали, четвертую ты выполнять не спеши, все само собой произойдет. А вот две, которые в серединочке, серьезные...

Но его никто не слушал. Всех поразил рассказ Поваркова о его военных делах. Триста убитых... Друг Женька... Качанову сегодня не хоте-

лось ввязываться в спор с Вольфом — ныло сердце. От вчерашнего еще не отошел. Он сочувственно спросил Поваркова:

— Ян Янович, а ведь трудно все-таки жить, зная, что лишил жизни столько людей. Да, враги, фашисты... А все же люди. Молодые...

— Да нет, не мучает меня совесть. Это была война, — ответил Поварков.

— Вот я и говорю: кто кого — или ты, или тебя, — встрял Вольф.

— Но ради чего — вот вопрос. Я свои святыни, веру свою, Родину защищал. У меня и сейчас рука не дрогнет, если надо будет... — отрезал Поварков.

— Ну, конечно! — воскликнул Вольф. — Вы же коммунист, вы иначе и мыслить не можете. Возьмите «Коммунистический манифест». Там что сказано? Помните? Цитирую по памяти: «Противоположные классы ведут борьбу, всегда кончающуюся...» Подчеркиваю: «всегда кончающуюся»! Чем же? Цитирую дальше: «...революционным переустройством всего общественного здания» или... (обратите внимание!) «...или общей гибелью борющихся классов». Или: «Революция — повивальная бабка истории». Это Маркс. Революции нет без крови. Свергают старое — кровь. Утверждают новое — кровь. Новые отношения строят на крови старого... Да чего они стоят, эти отношения, если к ним надо идти по колено в крови? Через Сталина... Двадцать миллионов на войне с Гитлером. Да еще миллионы на войне с народом... Нерон кричал: «Уничтожить аристократов!» Потом он же: «Уничтожить народ!» Кто его уничтожит? Солдаты. Они — не народ? Все убивают. Одни от безыдейности, другие — за идею. Одни — во имя личных интересов, другие — ради общественной выгоды. Одни убивают, совершая преступление, другие — карая преступников. И все уверены в том, что это необходимо. И это так: необходимо! Неизбежно! А вы: «человек — высшая ценность», «коммунизм равен гуманизму...» Чушь. А думали ли вы, например, о том, что никогда еще в истории никто не решился сказать, что убийство недопустимо в принципе? А? Никто! В том числе и вы, коммунисты...

— Это, уважаемый... — Качанов всегда так обращался к Вольфу — «уважаемый», вкладывая в это слово все свое неуважение, ибо фамилия ему была противна, а назвать этого человека по имени-отчеству он никак не мог себя заставить, — с одной стороны. А с другой, заметьте: принцип мирного сосуществования общественных систем с разной идеологией выдвинули мы, коммунисты. Он, хочешь или нет, противостоял обострению борьбы идей, ибо бесконечно продолжающаяся война идеологий неизбежно ведет к войне оружием, что в современных условиях означало бы общий конец. Так от принципа: «Война есть отец всех вещей» мы обращаемся к другому принципу: «Гармония — мать всех

вещей»... Кого благодарить за сорок лет мира после нашей победы над Гитлером, а?.. То-то... В конце концов, люди должны когда-то научиться устранять противоречия и противоположности из своей жизни как личной, так и общественной не путем войны, не убийством и взаимоуничтожением, а миром и согласием... В том же «Манифесте» у Маркса сказано, помните? «Уничтожится антагонизм классов, падут враждебные отношения наций...» Дальше как? Подзабыл. Но смысл — и вместо классовой борьбы воцарится социальная гармония противоположностей — всех и каждого. Гармония, согласованность, согласие — вот где величие диалектики, настоящей и вечной. Лук и Лира Гераклита...

Я не абсолютизирую мир как идею, принцип, состояние. Мир и гармония постоянно нарушаются, ибо ни на мгновение не исчезают противоречия. Но примат все же за миром и гармонией...

Вот некоторым претит философия сама по себе, взятая вне течения земных, повседневных забот. Слово «философ» звучит для них ругательно. Но это возвышающее слово! Способность мыслить возвышает человечество! Ну неужели и после сказанного вам не хочется мира, любви и добра? А Вовик? Дед Федор? Вы смогли бы использовать лиру как лук? Вы могли бы стрелять из скрипки стрелами? Убивать из виолончели?..

Качанов возбудился, встал с постели, ходил по палате и говорил, говорил... Глаза его горели лихорадочным огнем, он говорил то медленно, подбирая слова и словно взвешивая их в уме, прежде чем бросить в сторону слушателей, то начинал торопиться, и тогда слова вылетали градом, так часто, что, кажется, сталкивались меж собой в воздухе.

— Господи! — хлопнул себя по ляжкам Вольф. — Что он говорит, этот философ комсомольского разлива? Ну как не понять, что человек соткан из диких противоречий, им руководит не только подсознательное, но и бессознательное, которые смертным боем дерутся с сознанием. Разорвать эти противоречия безоружными руками нельзя. Их можно разрубить только кинжалом или пулей. Вокруг — одна война, одно сплошное убийство. Обжора объедает больного. Сильный поэт обрекает на неизвестность слабого. Хитрый политик сбрасывает с поста менее изворотливого. Это — тоже формы убийств. А когда не хватает ума, логики и аргументов — в ход вступает оружие. А суть во всем одна: «Будь сильным. Не сомневайся. Твори свою мораль суть свои законы. Властвуй...» Бескорыстие? Ересь! Лицемерие! Есть только интерес, страсть. Они и ведут по жизни человека. Тот велик, кто, поставив цель, шел к ней смело, не брезгуя никакими средствами, и достиг ее. Подлость? Жадность? Продажность? Трусость? Считаете — это плохо? Черта с два! Из трусости может вырасти нечто божественное, а из подлости — бесмертное, если струсил, если сподличал в нужный момент и добился сво-

его. Терзаются слабые духом, рабские натуры. Затопчи свою совесть, как окурок. Будь смел всю жизнь, как во хмелю. Не береги свою жизнь, а тем более — чужую. Презирай людей и не уставай пресмыкаться, льстить, лукавить и кланяться своим господам, пока не станешь их господином. Не верь в бога, но будь богом. Все может сильный!.. Спарить голубя и орла, истребить элиту, а потом и народ, варить бульон из тысяч соловьиных язычков... Все может сильный. А сила — это деньги. Деньги! Деньги! И нечего мешать сильным и предприимчивым людям вашими перестройками!.. На хрена мне перестройка, если у меня уже все есть? Но если вы позволите мне размотаться во всю — тогда я даже за ускоренную перестройку. Даже воевать за нее буду.

Вольф стоял посреди палаты и говорил, словно в припадке. Он вставал на цыпочки в конце особо важных, по его мнению, фраз, и голос его также поднимался ввысь до фальцета. Вместе с непрерывным потоком слов он выбалтывал из груди весь воздух и тогда раздражался затяжным, со стонами, хрипами и слезами из глаз кашлем, приседал, то и дело хлопал себя по ляжкам ладонями.

Он никак не мог уняться, продолжал говорить.

— Было, есть и будет: самопрокорм, убийства ради власти, денег и новых земель. Что с того, что человек улетел в космос? От себя никуда не улетишь! Будут звездные войны. Человек — «венец природы»... Жалкая, бедная козявка! Вот уж миллион лет прошел, как он возник. С четверенек встал на две ноги, нашел огонь, придумал колесо, изобрел порох, научился управлять паром, открыл электричество, расщепил атом, построил ракету и высадился на Луне. Но что изменилось в нем самом? Одежда да идеи, которыми он пытается оправдать свое жалкое прошлое и несчастное настоящее. Уж если в чем преуспел человек, так в искусстве войны и жестокости... Тысячи лет назад он стрелял из лука, теперь — ракетами, которые имеют форму все той же стрелы; раньше сажал на кол — теперь на электрический стул; четыреста лет назад жег на костре, ныне жжет напалмом; всего сто лет назад не знал, как бороться с холерой и чумой, теперь сам «выводит» смертоносные бактерии и эпидемии в лабораториях... еще и ныне большая часть человечества воздевает руки к небесам в мольбе о дожде и счастье, а другая часть образует «окна» в атмосфере и с помощью солнца, которое дает этим ничтожествам жизнь, выжигает все живое на огромных земных пространствах... Безмозглое существо, вообразившее себя преобразователем природы, вот что такое человек. Что может он, кроме как переставить мебель в своей квартире, сжечь лес, взорвать горы? Жизни человека хватит лишь для того, чтобы взлететь с земли обетованной, но никогда он не сможет достигнуть даже ближайших планет. Никакие радиотелескопы не помогут ему понять, что происходит в мире, постичь тайну мироздания. На-

ука?.. Гадание!.. Гадают лабораториями, институтами, международными организациями, межнациональными объединениями. И что? Ученые отличаются от древних звездочетов только тем, что вместо подзорной трубы в их руках телескоп, а от шаманов тем, что рядятся не в шкуры и перья, а в профессорские мантии... Вместо ожерелий из ракушек и зубов убитых врагов цепляют на грудь ордена и медали, вместо разукрашенных масок, в которых их предки собирались на празднества, приклеивают к своим губам деланные улыбки, говорят красивые фразы по случаю и называют это дипломатией. Вместо библейских заклинаний — прописные истины вождей... Вождь племени — вождь народа. Вся история и весь прогресс человечества умещаются на маленькой черточке между двумя этими словами. Человеком помыкали, помыкают и будут помыкать. И нечего гадать о будущем. В «предсказаниях» этого будущего, основанных на так называемых научных методах и теориях прогнозирования, просчитанных на самых современных ЭВМ, столько же смысла, как и в рассказах цыганки. Будущее непредсказуемо, ибо непредсказуемо поведение человека. Люди никогда не научатся жить в мире и согласии, сотрудничать, жить коллективом, дорогой товарищ Качанов, не мечтайте об этом. Все — бред. Уж если галактики начали «разбегаться», что говорить о людях... И все дело только в сроках, когда мы покончим с собой, взорвем наш «шарик» голубой...

Мальков слушал Вольфа и сатанел. То же самое чувство захлестнуло и Качанова, он посерел лицом, сжал зубы.

— Сейчас я дам по морде этому хаму, — вырвалось у него.

Вольф замер с бутербродом у рта:

— Чего, чего? Это ты — мне — комсомольский работничек — по морде? По какому праву? Может, ты еще сейчас начнешь учить меня жизни? Да кто ты такой, а вместе с тобой и этот дружок? Что вы умеете, кроме того, как нотации читать да указания давать? Я понимаю, мне возразил бы рабочий или селянин: хлеб сеять, машины делать — это все ж работа. Ну, инженер, человек дела. А вы-то, вы что, кроме шума и суеты, производите? Ничего! Они меня, видишь ли, наказали, они под меня, видишь ли, копают... А сами кто? Торгаши. Только торгуете связями, отношениями да своими полномочиями. Что, не так? А Узбекистан? А Краснодар? А Молдавия? А Щелоков? Мы ведь газетки почищаем.

Качанов встал и на деревенеющих ногах двинулся в сторону Вольфа, но Мальков ухватил его за плечи:

— Этого нам только и не хватало!...

Дверь с треском открылась, и в палату боком, пропихивая впереди себя две большие сумки, вошла самоуверенная особа. Бросив небрежное «здрассь...», она, громко топая, направилась к кровати Вольфа.

Это была его жена, дама неохватных размеров. Между узеньких, жиром заплывших глазок, торчал носик пипкой; большой, ало накрашенный губной помадой рот от маленького срезанного подбородка странным образом перетекал в жидкий, киселем колыхавшийся двойной подбородок, почти касавшийся пышного бюста и тугого, как барабан полкового оркестра, живота.

Чмокнув Вольфа в щеку, дама столкнула все, что было на дедовой тумбочке на его же кровать и начала выкладывать содержимое своих сумок. Вольф стоял рядом, поддерживал, подхватывал кульки и банки, побрякивая от удовольствия при виде продуктов, причмокивал языком, сортировал, рассовывал снедь: в тумбочку, на кровать, на тумбочку, дурачился, коверкал слова:

— Так, это счас употребим... Это — напотом... Это ты заведи — скорми другому кому... Ну а? ... — он вопросительно смотрел на жену, изобразив двумя крайними пальцами левой руки известный символ хорошего настроения. — Это дело игде? «Аш пятнадцать двадцать...», которое р-революционный пролетариат пьет устами лучших своих представителей?

— Тихо, не фурычь. Все на месте. Ставь в тумбочку...

— Годится! — Вольф потирал ладони. — А то кругом одни философы.

Дама вдруг всплеснула руками, в ужасе сморщила свое лицо, и стало особенно заметно, насколько непропорционально оно ее заду и широким покатым плечам. Она припала к уху Вольфа, напирала на него огромной грудью, зашептала, зашелестела. Вольф встревожился, занукал, зажевал, засуетился, сидя на кровати, словно ему на одеяло бросили горсть блох. До слуха Малькова и Качанова долетало: костюм... кофточка... Валька худая... колбаса... карбонат... гайдамака... Гришка... Иван Петрович... ковер... а я говорю — без промаха... сколько?... пусть не фурычит... он у меня на крючку... заплати... а я говорю, пусть делает... без промаха... я делал, пусть и он делает...

Вольф явно был расстроен, качал головой:

— Фу ты... Ну дела, ну дела...

И между тем готовил себе бутерброд: навалил на кусок хлеба красной икры, поверх нее шмякнул кусок балыка. Налил полстакана коньяка, залпом выпил, вгрызся в бутерброд и зажмурился от удовольствия:

— М-м, вкуснятина... Когда ешь такие полноценные продукты, тогда и себя уважаешь, тогда и философией заняться можно... Подходи, мужики, угощайся кто хочет. Или вконец уфилософствовались? Послушаешь вас — мозги набекрень, жить не хочется, хоть топись. А жизнь — она распрекрасная штука. Только надо уметь ей радоваться. «Жить надо легче, жить надо без етого...», как говорил Сергей Есенин. — Вольф ввинтил пальцами в потолок. — «Надо самому жить и другим жить да-

вать». И я так думаю. Потому что сколько ни зарабатывай, всегда не хватает сто рублей в получку и одной комнаты в квартире. Жизнь должна быть как вот этот бутерброд...

— Пойдем-ка на свежий воздух, Илья. Сможешь?.. — предложил Мальков.

III.

— Пойдем к Лосинке, там тихо и свежо, — сказал Качанов.

И они пошли вниз, к реке.

Вечер был неподвижен и тяжел. Вечер отшумевшего поутру дождя, отпустившей измороси, вечер отходящей вместе с багряным закатным солнцем жизни, вечер, будто созданный для серьезных разговоров. Качанов и Мальков шли к реке по тропинке, протоптанной тысячами ног, вдыхали вкусную смесь пахучего настоя осеннего воздуха, окидывали взором окрестные шири и понемножку успокаивались.

— Это что за мерзавец? — спросил Мальков.

Качанов рассказал о Вольфе то, что знал.

— Коммунист?

— Выгнали. Сына исключили из комсомола.

— И с работы надо гнать к чертовой матери!

— Второй раз работает комиссия. Опять крупная недостача. По тому, как заколготился Вольф сегодня, кажется, зацепили всерьез. Вот враг настоящий.

— Урод. И философия жизни у него уродская. Посапывал бы, так нет — проповедует...

— А как бы ты хотел? У нравственно здорового человека своя философия, у вора и подлеца своя... Все упрощено до предела: «Ты мне — я тебе», «Своя рубашка ближе к телу», «Мой дом — моя крепость», и все в таком духе... Тут, в больнице, я чего только не наслушался. Больной, стоящий на грани смерти человек — явление особое. Для того, кто оглушен большим горем, жизнь предстает совсем в ином разрезе. То, что еще совсем недавно казалось высшей ценностью, целью, дающей смысл жизни и силы жить, отходит на задний план или исчезает совсем. Иные мысли и чувства овладевают человеком, совсем иные, такие новые, мрачные, страшные, что даже странно, как не приходили они на ум ранее, как соседствовали они рядом с твоим весельем и оптимизмом. Вот я...

Качанов собирался что-то рассказать, но Мальков, словно не чувствуя этого, перевел разговор в свою сторону.

— Илья, а ты в самом деле столь высокого мнения об Острове?

— А какая мне нужда лукавить?

— Да кто тебя знает... Другие говорят, и ты говоришь. Что такого особенного ты в нем нашел? Ну кандидат. Ну музыку знает. Ну рисует. А мы что же — ничего не можем?

— Все дело в том, Николай, что он не «ну кандидат», «ну музыку знает» и «ну рисует»... У него это от бога. Все, что он делает, он делает хорошо, талантливо. С блеском. Именно этого сегодня везде и всюду не хватает — качества, блеска. Он ведь еще и стихи, и музыку к ним пишет. Просто удивительный парень. Я влюблен в него, ей-богу.

Мальков поморщился, досадливо качнул головой.

— Преувеличиваешь. Это от доброты твоей. Чем ты хуже? Ты тоже, между прочим, стихи пишешь, да какие!.. Или того же Ненадова взять... Он ядро на шестнадцать метров толкает. Между прочим...

— Вот-вот, — перебил Качанов. — Я тебя на слове поймаю «между прочим»... Я стихи пишу — «между прочим»... Ненадов ядро толкает, силу зачем-то качает — «между прочим»... У нас и спорт, и стихи — привесок к нашей работе, гарнир. Между прочим. А у Острова все едино — и работа, и увлечения. У меня такое чувство, что не случайность это, что у него есть тайная идея, какой-то большой замысел, который он хочет претворить собой в этой жизни...

Неожиданная мысль вдруг увлекла Качанова, он загорелся, заговорил с жаром.

— А может, что-то такое и имел в виду Маркс, когда он говорил о «богатом» человеке будущего? Он, конечно, не думал, что общество будет состоять сплошь из гениальных музыкантов, писателей, изобретателей, конструкторов... Это невозможно, да и не нужно, наверное. Будут ведь и каменщики, и рабочие... «Богатый человек» — это человек, которому доступно творчество. Хотя бы в каком-то виде. Как это у Горького? «Смысл жизни вижу в творчестве, а творчество самодовлеет и безгранично!» Безгранично — вот что важно. И чем разноплановой творческие потенции человека, чем больше мера его способностей, тем он «богаче». Но почему о таком человеке нам надо только мечтать? Почему нельзя допустить, что такие люди уже живут среди нас? Понимаешь? Уже живут! Григорий Остров и есть «богатый» человек, «пришедший» к нам из будущего, а? Пусть еще не совсем «то», как говорится, но все же, все же, а? Что молчишь? Знаешь, в его фамилии ударение надо делать не на втором, на первом слог...

— Ну, понесло, — махнул рукой Мальков. — Все ясно. Хватит об Острове. Можно подумать, свет клином на нем сошелся. Так все-таки — как ты себя чувствуешь? Как настроение?

Но Качанову своя мысль понравилась, он продолжал.

— Нет, ты погоди. Не все ясно. Дай договорю до конца. Талантливым всегда непросто жить. Особенно в партии, комсомоле. Догмы, правила ду-

шат. Между тем такие люди нужны как воздух, особенно сегодня. Перестройка же! Слово-то какое! Пе-ре-строй-ка!.. Попробуй, перестрой-ка что-нибудь без ума, без таланта... А кто руководит сегодня перестройкой в нашей огромной стране? Люди более чем обыкновенные. Да, они выдали виды, но печатью особых способностей не отмечены. Ударения в словах расставить не могут правильно. А значит, и в мыслях акценты не те делают. А человек делает то и так, что и как мыслит... Смотри, как прут. Сломают кого угодно, если встать на их пути. У них власть, сила. Одна беда: они бессильны перед собой, перед своей собственной ограниченностью. Пытаясь освободить других, они не могут освободиться от самих себя, от своей глупости, бездарности. Вот почему эти люди подвержены влиянию других людей. Талантливых, великих. Шагу не могут сделать без Ленина, Маркса. Воруют мысли у Платона, Сократа, Аристотеля, Гегеля, Канта, Фихте... У русских мыслителей и философов, которые были в России, у того же Бердяева... У кого мысль хорошая есть, у того и тянут. Впрочем, и это делают не сами. Когда им читать? Для этого есть советники. И получается каша, какофония. Новое творится с позиций позавчерашнего дня. Отсюда все наши проблемы. Кризис экономики? Ерунда. Застой в мозгах. Кризис управления, власти... Нет... Время должно вытолкнуть на поверхность жизни, на вершины власти способных, талантливых людей, которые загнаны сейчас в угол, в болото склок и неурядиц, создаваемых этими бездарями сознательно, дабы легче было ловить рыбку в мутной воде. Я больше скажу: стране гении нужны. Они придут. А может, уже пришли? Погодим немного. И все-таки мне это время нравится.

Мальков слушал Качанова и мрачнел. «Нет, здесь сочувствия не найдешь: что Остров, что Качанов, два сапога — пара. Гениальствующие»...

— Понятно... — протянул он. — В общем, ты — буревестник перестройки.

— А ты что — против? — вскинулся Качанов. — Ты же видишь, что творится в стране? Жрать нечего. Магазины пусты. Народ злой. Застой. Кризис. Во всем. Это надо ломать, перестраивать.

— О боже! — горько рассмеялся Мальков. — Я не против, не против. Вообще. Только не надо газетными передовицами меня давить. «Застой», «кризис». Не пойму я тебя, Илья. То ты такой умный, а то такой... Что за паника — «кризис, кризис»! Ну и что? Общества болеют, как и живые существа. Что, в Америке кризисов не было? Мы уже столько десятилетий кричим: «Капиталистическая система в кризисе!» Они что — тут же за перестройку хватаются? Лечатся! И нам надо тем же заняться.

— А перестройка — это что? Это и есть лечение, — хмыкнул Качанов.

— Илюша!.. — почти закричал Мальков. — Мы знаем, что у нас пло-

хо, но не знаем зла, которое может возникнуть от изменений. А по теории вероятностей... Ты знаешь теорию вероятностей? Слышал — другое... Знаешь? Я инженер, я ее изучал... Так вот, по теории вероятностей, если неизвестность велика, изменений лучше избегать. «Торопиться надо нет», как говорят китайцы. Боюсь, нас ждут большие потери — и нравственные, и в живой силе. Слишком большие. Страна огромная. Народ дурной. Такого наворочают...

— Ах, перестройка, перестройка!.. — примирительно вздохнул Качанов. — Знаешь, я много об этом думаю. И все-таки считаю, что она нужна. Но она несет много нового. И наивно рассчитывать на то, чтоб ее приняли все, да еще с восторгом. У перестройки не может не быть врагов явных, скрытых и даже таких, которые не сознают этого и думают, что они перестройщики. Но прежде, чем перестраивать мир внешний, надо заглянуть в свой внутренний мир... Кто не очищается, тот уже против перестройки, разве не так? Вот тот же Вольф... Грязная личность. Думаешь, он очищается? Живет как жил. Ворует. То есть действует не так, как надобно времени. И значит, он — тормоз... А что думаешь — среди нашего брата, комсомольских работников, антиперестройщиков нет? Есть. И среди партийных работников тоже. Многим в прошлом нравилось. Этот Вольф сейчас целый булыжник в наш с тобой комсомольский огород швырнул. Обратил внимание? А что возразить? Было! А сейчас, что — всякой пакости в наших рядах нет? Э-э!.. Один нагрешил, а ярлык — всем... «ЧП районного масштаба» в «Юности» читал? Почитай. Там столько пакости про нашего брата понаворочено! Бабники, развратники...

— Ну что тут тебе сказать, Илья? — развел руками Мальков. — Ты знаешь, я в отличие от тебя не святой. Но я что — евнух, импотент, педераст? Мне размножаться как — почкованием что ли? И вообще... Я не могу пофлиртовать? Я что — не живой человек? Комсомольская жизнь — это просто жизнь. Закон больших чисел и здесь действует. А вот про антиперестройщиков, кстати. Был я недавно на заводе строймашин, на общем собрании как член бюро обкома партии. Одни кричат: «Даешь перестройку!», а другие: «Где порядок?». Андропова, даже Сталина вспоминали. «Будет порядок — будет все», — говорят. И таких было большинство. Порядка нам не хватает, это точно. Государство надо укреплять. Государство — что сталь, скрепляющая общество. Вот на что надо направить перестройку.

После этих слов Малькова Качанов даже приостановился, недоуменно глядя на него, спросил:

— Ты это всерьез, Николай? Ты так на самом деле думаешь?

— А что — не так? Что порядок не нужен? Сильное государство — это плохо?

— Да разве об этом речь! — запротестовал Качанов. — Но все хорошо в меру. Беда как раз в том, что общество у нас — это и есть государство. Самое мягкое, что я могу сказать о нашем государстве, звучит так: «Государство — это намордник». А есть еще партийный намордник, комсомольский... да, да — и комсомольский... намордник есть. Даже и пионерский. Мы с детства растем в намордниках — ни сказать, ни залаять, только скулить и рычать можно. И при этом на коротком поводке.

Теперь остановился Мальков, взял Качанова за плечи, повернул к себе и, глядя в глаза со злым прищуром, спросил:

— А ты — серьезно так думаешь? Давно ли?

— Всегда так думал.

— Что ж раньше-то молчал? Такое о комсомоле сказать!.. Зачем ты тогда работаешь в нем?

Качанов слегка стушевался, побледнел, скулы его обострились.

— Думаешь, струсил? А два инфаркта — откуда? Зачем работаю? Потому что люблю эту работу, комсомол люблю. И страну, и государство наше люблю. Но моя любовь требовательна. Я хочу, чтоб объект моей любви был прекрасным. И потому я предпочитаю критиковать все существующее, бичевать и даже унижать, только бы обратить внимание на то, о чем говорю. Не страшно быть опровергнутым, отвергнутым. Страшно быть непонятым. Страшнее всего — обман. Что угодно, только не ложь, не обман. Кроме любви к отечеству есть еще любовь к истине. Я не умею любить с закрытыми глазами, в своей любви хочу быть честным. Понял?..

Качанов не говорил, а кричал, кричал так, словно перед ним был не один Мальков, а огромное собрание обидчиков и он выкрикивал им всю свою обиду и боль, накопившиеся за долгие годы. Мальков понял, что Качанов кричит не столько на него, сколько в прошлое, в котором его не слушали и не слышали. Качанов возбудился, глаза наполнились слезами, губы подрагивали.

— Ну, не заводись, не заводись, — стал успокаивать его Мальков. Он вдруг испугался, как бы Качанова не хватил удар. — Еще нам с тобой не хватало поссориться. Ты единственный человек, с которым я могу говорить откровенно, быть самим собой. Я не хотел тебя обидеть. Прости.

Они молча вошли в березовую рощу и уже приближались к реке, от которой тянуло сырой свежестью.

Надломленная кем-то ветвь большой березы перегородила путь. Из надлома на землю падали светлые капли.

— Неужто сок? — удивился Качанов.

Поставив ладошки ковшиком под капли, подождал, пока поднакопится жидкости и, чувствуя мальчишеское нетерпение, припал к нему губами.

— Николай, сок! С ума сойти: в августе — сок! Вот как распогодилось!.. Недавно видел цветущий куст черемухи. Осень принял за весну, обманулся...

Качанов припал щекой к березе.

— Что Вы делаете?

Ни Мальков, ни Качанов не заметили, что невдалеке стояла стайка мальчишек и с любопытством смотрела на них.

— Слушаю, как березовый сок идет.

— А разве слышно?

Мальчишки даже приложились к березовым стволам, на мгновение замерли, загалдели:

— Тукает!

— Ничего не тукает!

Снова умолкли:

— Тукает, тукает! — зазвенело.

И весело убежали.

— Ах, как хочется, Николай, чтобы тукало, как хочется! Но не тукает... Это я о себе. Я ведь, Коля, на краю, на самом. Еще цепляюсь корешочками за жизнь, но это уже из принципа. Конец, Коля, конец...

Губы у Качанова дрогнули.

— О чем ты, Илья? — взволновался Мальков. — С ума сошел! Какой конец? Ты об инфаркте? Да я знаю мужиков, у которых этих инфарктов по пять-семь уже, и ничего — живут. Завтра пришлю тебе лучшего спеца с лучшими лекарствами и все будет «о'кей!»

Качанов поморщился, махнул рукой.

— Да ты меня не успокаивай. Врачи тоже говорят, что я поправлюсь. Дескать, через пару недель в санаторий и на работу... Ах, как хочется на работу, как хочется жить! Сейчас уж ничего, привык... а поначалу, когда понял, к чему все идет... Весь ворох мыслей сплющился в одну-единственную: «Что делать?» Я, кажется, поглупел в те дни и, кроме этого вопроса, в моей голове ничему другому места не было. Я вот сказал тебе: «У больного своя философия жизни». А у обреченного и подавно... Поверишь ли, в те дни, когда я вдруг окончательно понял, что я на пограничной полосе, что еще малость — и я там... Мне вдруг в высшей мере бессмысленным показалось все, чем занимался я, секретарь горкома, долгие годы своей жизни. К чему было жертвовать любимой профессией преподавателя философии ради этого странного, ни в каких перечнях специальностей не значащегося занятия по названию «комсомольская работа»? К чему, думал я, было заниматься этой работой, жертвуя вечерами, субботами и воскресеньями, отнятыми от жены, детей, от своей мечты написать хорошую, добрую книжку? К чему было обрекать себя и семью на скудное жалованье и спартанскую жизнь, когда можно было

так же, как многие мои друзья, которыми не раз упрекала меня жена, вкусно есть и мягко спать, занимаясь чем хочешь, или ничем не заниматься, но главное, не вытягивать из себя все нервы неведомо ради чего... «Взносы», «рост», «собрания», «митинги», «бюро», «пленумы», «субботники» и еще черт знает что до бесконечности... И это предмет наших забот, волнений и страданий?.. «Работа с молодежью», «коммунистическое воспитание», «преемственность поколений...» Все это может быть смыслом бытия, пока смотришь на мир с позиций жизни, у которой, кажется тебе, нет конца. Тогда твоя самоотверженность и жертвенность представляются чудом классовой сознательности и пролетарской твердости, верхом силы человеческого духа... И все превращается в пыль, в тошноту и тоску, если глянуть на все происходящее с позиций смерти, которая ставит предел всему — словам, делам, идеям, планам и самому смыслу жизни, превращая в бессмыслицу все, все, все. Законы и закономерности? Чувь. Всомогущество человека? Абсурд! Бог? Да, я думал и о боге... Так устроен человек: живет — суется, приходит смерть — начинает думать. Да поздно.

Качанов бросил взгляд в лицо Малькова: слушает ли? Лицо Малькова обмякло, стало добрым и красивым. Качанов знал эту его особенность — когда Мальков внутренне раскрепощался, лицо его словно подменяли. Те же черты, но совершенно другое восприятие — нет жесткости, властности. Не менялись только глаза — глаза умной, усталой собаки...

— Ты извини меня, Коля, — продолжил Качанов, — разговорился. Мне ведь некому поплакаться. Ирину расстраивать не хочу, а друзья... Я ведь дружу с людьми очень простыми, мне с ними, честно говоря, скучновато. Начинаю говорить о чем-нибудь серьезном — долго не выдерживают. Не понимают. Я их не виню. Просто живем другими заботами, мыслим по-иному. Все-таки МГУ дает себя знать... Давай поговорим. Мы все же близкие души, хоть и спорим, расходимся в чем-то. А?

— Конечно, с радостью, — встрепенулся Мальков. — У меня ведь тоже наболело, Илюша...

Качанов некоторое время молчал, словно не зная с чего начать. Потом махнул рукой:

— А... вот я думаю... Ах, Николай, как это страшно — одиночество... Казалось, надо бы алкать каждое мгновение настоящего, а я тосковал по будущему. Что было в прошлом? Суета, нервотрепка и люди, люди, люди. Тысячи людей, которых я видел по разным поводам, которым от меня что-то было надо, надо, надо... И я, как мог, старался дать, дать... Вот теперь я лежал и умирал, а где все эти люди, так щедро бравшие от меня и так скупно делившиеся тем, что имели?.. Ты слушаешь меня? Послушай...

«Что, собственно было, в моей жизни?» — думал я... Была любовь. Были друзья. Были враги. Была работа. Суматошная, заводная, беспо-

койная и бесконечная... Я работал честно, изо всех сил и упрекнуть себя ни в чем не могу...

Но дело теперь не в этом, а дело в том, что все — было.

Была жизнь.

Было больно дышать.

Было трудно жить...

Была осень, последняя осень...

Был город, в котором останутся жить Ирина и дети, родители и друзья.

«Конец, конец, конец...» — только это слово пульсировало в каждой жилке моего тела... Уйти от матери, от жены, от детей? От стихов, от друзей? От этой проклятой, холодной осени, от ледяного шелестения листьев под окном? Перестать дышать? «Нет!» — кричало все внутри. — Нет! Не хочу!» И я лежал и рыдал без слез. Один на один с безысходностью... Время, календарь потеряли для меня смысл и всякое значение, словно уже началось небытие, бесконечность. Я перестал чувствовать настоящее и чувствовал только то, что должно было бы быть. Время распалось, остановилось, я потерял различие между прошлым, настоящим и будущим. «Может, я уже умер? — думал я порой. — А может, это никогда не кончится и я буду жить всегда?» Мне так хотелось верить в чудеса, хотя я знал, что единственное чудо состоит в отсутствии чудес... Состояние мое было той границей, где, теперь я это знаю, жизнь переходит в смерть, где жизнь — уже не жизнь, но и смерть еще не смерть. Несколько дней находился я на этой границе в состоянии абсолютной протрации и апатии, полной распушенности отрицательных эмоций, подавивших всякую жажду к жизни...

За окнами палаты, в холодной мгле ворочался сонный ветер и ветки клена, еще не потерявшие своих листьев, стучались в их стекла. А я никак не мог заснуть. «Ирина, Юра, Наташенька, как мне плохо без вас, как хочу я домой, как мечтаю жить, как люблю работать... Помогите, родные мои!» — кричало все во мне. И в этой тоске будто проваливался я в бездну, засыпал и вновь просыпался в тревоге и слышалось, будто это не я, а ветер плачет и лепечет моими словами: «Ирина!.. Юра!.. Наташенька!..» «Господи, — думал я, — скорей бы кончалась эта ночь, скорей бы приходил день с его хоть малыми, но все же отвлекающими от дум заботами...»

Меня навещали Ирина, дети, горкомовцы, еще какие-то люди, я смотрел на них, сквозь них, мимо них — в никуда, о чем-то говорил с ними, отвечал на вопросы и даже спрашивал, ничего не сознавая.

Говорят, страшит неизвестность. Но вот — мной осознанная определенность. От нее холодели пальцы. «Уж лучше неизвестность, — думал я, — она таит надежду»... Где же найти мужество, силы, чтобы вынести эти муки?

И вот дней десять назад ранним утром я вышел побродить по лесу... И казалось мне, что я еще вовсе не жил, а промелькнувшие в суматохе дел годы — лишь мгновение, что там, за новым поворотом к реке, ждет меня что-то неведомое и радостное, что мне только еще предстоит пережить... Просыпались птицы. Присвистнула какая-то пичуга, поодаль еще одна, еще, еще... И скоро лес наполнился отчаянно веселым птичьим щебетаньем... Из-за горных хребтов, сквозь плотные серые тучи пробилось и брызнуло восходное солнце. Это было неожиданно, как удар. Дотянулось тонкими лучами, будто длинными нервными пальцами, до верхушек деревьев... исчезло... снова коснулось вершин... пришлось по ним ласково, нежно, будто руки женщины по струнам арфы... И встрепенулся лес!.. Тенькнули, высыхая, зеленые иголки сосен, елей и кедров, затрещали берестой березы, еще быстрее и громче зашептались листья осин. Все живое ожило, зашевелилось, застрекотало, заверещало, зазвенело. Солнце, да здравствует солнце!.. Огромный хор лесного царства подхватил птичье пенье, и песня взвилась к небу с удесятеренной силой, торжественным гимном понеслась по Земле... Ах, какое это было потрясение!.. Меня как мощным разрядом тока ударило. Я долго стоял и слушал то утро и жизнь. И пошел в больницу. Шел и чувствовал, что постепенно вместе с забытыми ощущениями ко мне возвращается и способность мыслить.

«Что же ты расквасился, Илья Качанов, — думал я, — ты, за которым тысячи людей? Где твои достоинство, честь, гордость? Совесть? Ты честно жил, много работал. Ты много, красиво и правильно говорил, писал. Тебе верили. А теперь ты расклеился. Что же — все, что ты говорил, — фарс, ложь? Кого ты, такой, вдохновишь? Тебе плохо, хуже быть не может. Но ты еще жив! А пока жив, надо жить, жить изо всех сил, а не волочить себя по жизни. Не умирать каждый день, а жить! Не трудно проповедовать добро и человечность. Быть человеком, оставаться человеком даже в самой губительной ситуации — вот дело! Счастливую жизнь не могут построить слабые духом.

Что — смерть? Умирает и разлагается тело, но не дух — высшее человеческое творение. Дух един и неделим, как мир, как море. Мой дух в душах всех людей, а их дух — в моей. Идеи, знания, стихи, музыка, дела моих предков, о которых я знаю, дела моих современников, которые я вижу и ощущаю — это и есть мой дух, моя душа.

Умирают без следа только злые. Можно сказать, что они и вовсе не жили. Всякий акт подлости и зла — это акт духовного самоубийства. Их немало на земле, давно убивших в себе человека, рыскающих по жизни зверями. Они умирают каждый день и всю жизнь, им нечего оставить людям в память о себе, и люди радуются их уходу и проклинают их».

Так думал я...

И вспомнил вдруг своего университетского профессора физики Якова Ивановича, педанта и мудреца, которого студенты не любили на экзаменах, но обожали слушать на лекциях. Он сказал однажды, завершая лекцию: «Запомните, друзья: энергию излучает только возбужденный атом. Фотон не имеет массы покоя, в покое не существует». Преподавал физику, а выходит — учил жить. Не зря же профессор по-латыни значил «проповедник». Прошедшее незаполненное время человеком недооценивается. Оценивается по достоинству только заполненное время. И стал глубже понятен смысл афоризма «Самая короткая жизнь — у бездельников». Мой разум, моя душа, мое больное сердце сказали мне: «Не щади себя, а живи. Живи спокойно. И работай. Работай так, будто тебе суждено бессмертие»...

И поверишь ли, Николай, случилось невероятное: на меня напала непреодолимая сонливость. Я спал захлеб, как спят дети и взрослые со спокойной, безгрешной душой, спал напропалую целыми днями, просыпался, смотрел очумело на всех, что-то говорил, не отдавая себе отчета в словах, и опять проваливался в сон, как в глубокую яму, устланную дурманящим сеном...

Однажды под вечер, когда был «мертвый» час и все спали, я очнулся от смутного, приятного беспокойства, разбудившего меня мягким толчком, как если б под одеяло ко мне залез котенок и шевелился там, устраиваясь поудобнее. Я лежал с закрытыми глазами и пытался понять, что же это меня разбудило. И услышал песню: за стеной, в ординаторской тихо, в четверть голоса, фальцетиком, но с такой душевностью пела для себя молоденькая уборщица Аня... Нюрка, как поддразнивал ее Вовка-студент. Песня была очень знакомой и любимой. Но спросонья я так и не вспомнил, что же это была за песня, и опять уснул... И снова проснулся скоро от какого-то томительного, зовущего звука. Все еще спали. Была тишина. «Обманулся?» — подумал я. Но звук резонировал в душе, он родился не в ней, а пришел извне. Откуда?.. И вот он снова долетел из поднебесья, этот трубный, тоскливый и тоскующий звук, — серебряный, чистый, манящий... То курлыкали журавли... Я встал, на цыпочках прокрался к окну и осторожно, чтоб никого не разбудить, открыл окно... В блеске закатного солнца, высоко в небе, выше самых высоких горных вершин птицы вытекали двумя живыми длинными строчками из висевшей над горами войлочной серой тучи и, проплывая через осколок голубого неба, как по озерному плесу, исчезали в другой, с чернобархатным отливом туче. Птицы радостно кричали на вылете из мрака в небесную синь, как бы приветствуя солнце, и с тоской курлыкали — на влете в темную неизбежность. И эта незадуманная, а самым ходом их перелета вызванная переключка была символической, рождала удивительное торжественно-печальное созвучие. «Это знак, — подумал я как-то

спокойно, без содрогания. — Из мрака появляемся, в мрак уходим. А жизнь — тот маленький небесный плес, который птицы преодолевают несколькими взмахами крыльев. И входя в голубое пространство, и покидая его, птицы поют. В этом есть смысл, и огромный. Таков момент истины, момент общего миропорядка, он свойствен всему живому и тем более людям. Смерть, в конце концов, не менее значительный акт, чем рождение. Надо только научиться умирать красиво, уходить из жизни с торжествующей песней»...

В тот вечер, едва дождавшись, когда разойдутся врачи и остальной медперсонал, я забрался в ординаторскую и писал до глубокой ночи. И чувство блаженства, восторга, ранее никогда не испытанное мною чувство полного внутреннего освобождения не покидало меня... Я словно заново на свет народился и так отчаянно смело теперь живу, так бесшабашно и свободно думаю, как никогда не думал, и даже не подозревал, что могу думать так легко, быстро и просто. Все дни после этого я пишу... Поверишь ли, в моем-то гибельном состоянии, здесь, в больнице, я вдруг расписался так, как никогда. Пишу каждую свободную от процедур, обходов и посещений друзей минуту, пишу с удовольствием, с наслаждением, с жаром и необыкновенной удачей, так, как и не мечтал научиться писать хоть когда-нибудь. Стихи ложатся на бумагу сразу ровными строчками, словно кто-то мне диктует их. Я знаю, что случилось... Отрешенность от забот внешнего мира, внутренняя сосредоточенность, раскованность и свобода от условностей, которые прежде подавляли во мне фантазию и воображение, исчезли. Какие к черту условности, если это твои последние слова, последняя песнь? Я свободен. Абсолютно. Как никогда. Я пишу, как думаю, а думаю, как чувствую. Я почитаю тебе сегодня... Две строчки преследуют меня, и я никак не нахожу им продолжения: «Я скоро растворюсь в туманной мгле. Прошу, хоть в этот час не лгите...» Почему, о чем — «не лгите?» Не понятно. Но дальше пока не выходит, не получается. Строчки лишь тревожат и каждое утро, как камертон, задают мне ритм и тональность мелодии жизни на целый день. Поверишь ли...

Временами я чувствую себя старым-престарым, спокойным и мудрым. Мне кажется, что за эти полтора месяца я постиг что-то самое важное в понимании мира и жизни, что-то такое, о чем раньше просто и не задумывался...

Вопреки всему надо жить во всю полноту чувств и мыслей, открыто, вкусно, а не украдкой, с осторожностью охотника, скрадывающего куропатку, а куропатка все-таки ф-р-р! — и улетела...

IV.

Мальков и Качанов сидели в беседке больничного парка, на самом краю высокого обрыва, с которого, как со смотровой площадки, виделся лежавший внизу город. Лосята...

Кто так романтично и точно назвал этот городок?.. Напротив него встают из быстрой реки три крохотных островка с высокими соснами посередине. Чье-то воображение подсказало им название — нежное и пленительное — Лосята. И правда, как будто выбежали из тайги три встревоженных лосенка, бросились в воду и вот уже, может, сотни лет плывут, взметнув ввысь, как молодые рога, стремительные сосны... Не помеченный на главных картах страны, город лежал в седловине двух гор, и его деревянные домишки растянулись неширокой полосой вдоль реки.

Основали город почти два столетия назад переселенцы, высланные царем из центральных земель за свои бунтарские замашки. Работали они на золотых приисках, что находились за Перевалом, куда и поныне каждое утро уходил «маракас» — так меж собой рабочие называли поезд, увозивший их на прииск. Как прежде, так и в нынешние дни в городе жили добродушные, сердечные люди. Они обожали чувствительные песни и романсы, любили кошек и собак, которых в Лосятах всегда водилось великое множество... Живописных приискателей с бархатными малиновыми портянками, волочащимися из-за голенищ, тоже когда-то видывал город. И разбойничьи шинки, где фатовых старателей спаивали и отправляли в лучший мир, существовали когда-то в Лосятах... И нищета была, и были стачки, забастовки... Когда пришла революция, рабочие города дрались за большевиков против белогвардейцев. На коллективизацию отправили несколько сот человек, и половина из них погибла. В Отечественную войну в городе остались только те, кто получил «бронь». Многие домой не вернулись...

Любил свой город Качанов. Здесь была его родина в самом изначальном смысле этого слова. Сколько помнят себя Качановы, все они родом из Лосят, а собрать всех вместе, кто поуждал в соседние города и села, так целый колхоз создать можно. Здесь, в том самом доме, где он родился и сейчас живет, родился, вырос и помер его отец. По той улице, по которой он когда-то бегал пацаном с ватагами ребяташек, а сейчас ходит в горком, хаживали на завод его старшие братья, отсюда же уходили на фронт... Из этого дома уехал Качанов учиться в Москву, сюда же вернулся работать и жить. И ни капли не лгал он, когда говорил, что лучшее место на земле — это Лосята.

Не очень быстро, но город все же рос: у завода строительных машин каждый год вставало по два-три новых каменных дома. Так возник «но-

вый город» — поселение в полсотни блочных зданий. На память от старых времен в центре «старого города» сохранилось несколько почерневших лабазов с решетчатыми балконами и узорной резьбой да церковь, похожая на длинный барак о двух деревянных шарах с крестами...

Теперь, в связи с открытием недалеко от Лосят железорудного месторождения, в городе началось строительство обогатительного завода, резко пошло вверх население. Недавно городская газета оповестила о столичном лосятинце. Город молодец в основном за счет притока выпускников школ, техникумов и вузов, приезжавших по комсомольским путевкам с разных концов страны. Понаехавшая молодежь шлындала в джинсах, заголялась в «мини», путалась в «макси», громыхала транзисторами, и старшие поколения встревоженно наблюдали за тем, как легко местные парни и девчата расстаются со старыми обычаями и семейными традициями... Как и во всех провинциальных городах, в Лосятах мучительно рвали с прошлым, печалась своей провинциальностью, не торопились привыкать к новому, превыше всего ценили местный патриотизм.

Кроме тех, кто ехал в Лосята по зову долга с глазами и душами, распахнутыми навстречу романтической неизвестности, сюда прибывало немало «романтиков длинного рубля», беглецов от семейных разладов и рано постигших жизненных неудач... В домах и общежитиях, на заводах и стройках в непримиримом соседстве жили и дрались на смерть, на полное уничтожение романтизм и цинизм, самоотверженность и равнодушие, высокая духовность и всепринижающий нигилизм, наивное целомудрие и отчаявшееся распутство. И те, кто свято верил в «светлое будущее» и рвался в него со всей неистовостью юношеского задора, и те, кто жил под лозунгом «Жизнь — езда в никуда», как могли, утверждали свой образ жизни, и в разрыве между этими полярностями то и дело даже на улицах, на автобусных остановках возникали споры, ссоры, а то и драки. Тут не соскучишься. Работы и забот у комсомола, а значит, и у первого секретаря Лосятинского горкома комсомола Ильи Качанова было выше головы, хватало на день и ночь.

Город готовился ко сну...

Вечер был тих и полон таинственных звуков, доносившихся снизу, из города, сверху, с гор. Где-то недалеко кто-то гремел ведрами — заканчивалось время дойки коров. Где-то шептались, бормотали и зазывно смеялись двое... Из глубины парка доносились отрывки знакомой песни. И совсем издалека, с лугов и гор, наплывал вместе с порывами ветра душистый запах деревьев, трав, уже несвежего прелого сена, политого дождем, а теперь высыхающего и отдающего вместе с парами свой дух.

Народился бледный месяц и длинной-предлинной кистью стал серебрить листья деревьев, траву, крышу больницы.

Понемножку темнело. В парке поспешили зажечь фонари, и электрический свет, накладываясь на еще заметный свет естественный, создавал светло-голубое соцветие, рождая странное ощущение какой-то космической пространственности. И чем плотнее становился вечер, тем теснее сбивались к скамейке, на которой сидели Мальков и Качанов, деревья, кусты, даже здание больницы подошло поближе, словно желая подслушать, о чем же говорят так давно эти два человека.

Разговор бежал то быстро и складно, то продвигался рывками, скачками, зигзагами. Темы менялись, не создавая трудностей в продолжении разговора. И чему удивляться? Встретились два близких товарища, почти что друга... Да, наверное, они были все-таки друзьями...

— Скажи мне, Илья, ну на кой бес было публиковать тебе эту подборку стихотворную? — спросил Мальков с сочувственным раздражением. — «Наш век» особенно. Все же большая амбиция уже в названии. Про социализм... Слишком широкие обобщения. Опасные. Вот и влупили тебе, лежишь здесь...

— Господи!.. — страдальчески выдохнул Качанов. — Да что я такого сказал? Просто так думаю. Ну и что? Страна рухнула? Век остановился? Я же не Рождественский, не Евтушенко. Кто меня слышит? И тиснули в областной «молодежке» с тиражом в сто тысяч экземпляров...

— Не говори... А рядом еще и твоя статья «Хочу быть колоколом»... Почтище стихов. Это — во-первых. А во-вторых, слышат тебя, еще как слышат... По этой твоей статье в нескольких комсомольских организациях диспуты прошли. Статью обсуждали, стихи твои читали. Вначале. А потом — понеслось!.. Гумилев, Ахматова, Цветаева, Пастернак... Ну, в общем, все запретники, можно сказать. Про советскую власть и переустройку такого наговорили, что Горбачеву с его «новым мышлением» и не снилось. Чистая политика!.. Крамола. Мне парторг одного НИИ звонит: «Как быть? Хочу компетентные органы проинформировать, да ведь заводила-то кто? Секретарь горкома, член бюро обкома комсомола»... То есть, ты, дорогой Илюша... Не хотел волновать, прости, но тебя могут ждать неприятности и по этой линии... Нет, я, конечно, посоветовал этому парторгу не раскручивать проблему, да кто знает, что он решил. Если захотел задницу прикрыть, то...

Настроение у Качанова резко испортилось. Однажды в «столичном» КГБ с ним, как он понял, уже была «профилактическая беседа»... Парень в штатском как бы случайно пришел в обком комсомола, когда Качанов приехал в «столицу» на заседание бюро обкома. Адонин как бы между прочим представил ему Качанова. Парень, майор КГБ, сделал вид, что обрадовался «неожиданному» знакомству с таким интересным человеком, как отозвался он о Качанове. «Вспомнил» заголовки нескольких наиболее критичных качановских статей, стихотворения с по-

литическим подтекстом, или, как называл их сам Качанов, «с фигой в кармане». И скоренько Качанову стало ясно, что симпатичный и вежливый майор, который с мягкой улыбочкой, но очень твердо попросил Качанова уделить ему «еще минуточку», когда он хотел прервать разговор, знает о «публицисте» и «поэте» Качанове гораздо больше, чем говорит, что встреча эта совсем не случайная... В завершение беседы Качанов получил несколько ненавязчивых советов, которые обращены были опять же как бы и не к нему, а так, в пространство. Но это был почерк «Конторы Глубокого Бурения», о которой Качанов знал кое-что из рассказов своих местных кагэбистов, с которыми иногда взаимодействовал по долгу службы. Профилактическая беседа с любым человеком означала, что он «под колпаком», но его еще можно терпеть. Дернется, будет и далее вести себя «неправильно» — последуют «соответствующие меры». Их набор Качанову был хорошо известен.

— Да ты не дрейфь, — стал успокаивать Мальков Качанова, заметив перемену в его настроении. — Я с руководством кагэбэ в отличных отношениях. Утрясем, если что... Но в общем-то, поостерегись... — хохотнул, тряхнув головой. — Умереть не встать!.. Был недавно в одном колхозе. Край непуганых зверей, одно старичье. В сельпо пустые полки, даже соли нет. Грамоты — десять классов на полдеревни, а нет, туда же: «Неправильно Горбачев удумал!», «Как дела в Никарагуа?», «В Афганистане?», «Что там Рейган?». Нет! Нас замучил глобализм. Вместо того, чтоб думать о мебели в своей квартире, все пытаемся благоустроить весь мир. Чисто русская черта...

Качанов махнул рукой и ничего не ответил. Образовалась пауза. Мальков почувствовал, что беседа пришла к какому-то новому пункту, для него, может, самому важному. Он ждал, когда Качанов спросит: «Ну как твои дела?» И Качанов спросил:

— Что грустен, Николай? Неприятности? Плохо выглядишь. Напряженный, взвинченный. Что-нибудь серьезное?

Мальков опустил голову, долго молчал. Молчал, ждал и Качанов. Когда Мальков поднял глаза, то в вечернем полумраке Качанов не узнал их: сплошь тоска и отчаяние. Мальков рассказал о том, что его мучило.

— Одним словом, неважные у тебя дела, — подытожил Качанов. — Меня успокаиваешь, а сам... Боишься?..

— Никому бы не признался, а тебе скажу: боюсь.

— За должность?

— Да. Хотя точнее сказать — за судьбу. Именно за судьбу. Без работы не останусь. Все-таки инженер. Но ведь уже не могу жить «как все». Я привык думать про область, про страну, про комсомол и всю советскую молодежь. Как говорится, мыслить глобально, думать о судьбах мировой революции. И в общем-то это не фраза. Ведь если взглянуть на

дело по сути — кто я, кто ты? Можно сказать: профессиональные революционеры. Общественная жизнь, ее перемены в лучшую сторону — вот смысл нашей жизни. И вдруг — бац! — тебя этого смысла лишают, говорят: «Отойдите в сторонку, перемены будут делать другие». — «Кто такие?» — «Не ваше дело. Ах, что с вами будет, спрашиваете? Ваша забота»...

— Да, забавно получается: нам — инфаркты, им — должности и власть, — поддакнул Качанов.

— Вот именно! — надрывно продолжил Мальков. — Ведь начинали-то всё мы. «Ускорение»... «Гласность»... «Плюрализм»... «Демократизация»... «Перестройка»... Это ведь не только слова. Все эти идеи надо было раскрутить, до масс донести. И кто это делал? Мы с тобой и нам подобные. Почитай комсомольскую прессу, послушай радиостанцию «Юность», Молодежное телевидение посмотри... Да они на два порядка острее, критичней партийных. А пленумы ЦК комсомола? А наши областные?.. Я же вкалываю сутками... Ради чего? Ради перестройки. И вот тебе: вчера был нужен, и вдруг — бац! — за скобками. Обидно до слез. Жить не хочется!..

— Ну, это слишком... — поморщился Качанов. — Но на твою ситуацию можно посмотреть и с другой стороны... Вот ты боишься того, что можешь потерять свою должность и все, что к ней прилагается...

— А что к ней прилагается? — вскинулся Мальков. — Ты это о чем?..

— А ты будто не знаешь, — съехидничал Качанов.

— И ты туда же? О привилегиях?

— О них самых, Коля. Уж ты извини. Будем честными или закончим на этом...

— Нет, отчего же — валяй! Что ты считаешь привилегиями? О чем ты знаешь?

— Вот именно: скажу только о том, что знаю... Отличная квартира в центре города, в «царском селе» — раз. Зарплата неслабая с разными там «лечебными» для тебя и семьи — два. Госдача круглый год — три. Служебный автомобиль — четыре. Загранкомандировки — пять...

На этом Качанов остановился: что еще?..

Мальков выдержал приличествующую паузу и протянул:

— Э-эх, Илюшенька... Да ты наивняк. Загранпоездки... Привилегия, согласен. Но только у нас в стране... А в принципе — элементарное право любого человека: куда хочу, туда и еду, лишь бы деньги были... Не я этот порядок в стране установил — Система. Что ж мне — отказываться от поездок? А польза от них — огромная. Только тебе скажу... Я многие свои взгляды, в том числе и политические, изменил благодаря этой привилегии. И кое-что в жизни областного комсомола тоже, между прочим. Горбачев почему перестройку затеял? Не только потому, что у нас дела

идут плохо, а прежде всего потому, что «у них» лучше... Вот так. Эту привилегию надо распространить на всех — вот что я думаю. Тогда будет легче понимать, что такое «хорошо», а что такое «плохо»... Дальше... Зарплата... Да начальник крупного цеха на заводе получает больше меня. Машина... Смешно говорить. Без нее как мне работать? Я ж в день иногда наматываю по области до пятисот кэмэ. Может, скажешь, что и телефон — тоже привилегия? Квартира — это да. Таких квартир в городе мало. Предложили — согласился. Каюсь. Но рад. Дача... Смех один... Я тут в Штатах был... Посмотрел на домишки, в которых американцы живут... Рядовые рабочие... Да моя дача — сарай против этих домиков...

Была правда в словах Малькова. Сам Качанов дальше Чехословакии и Финляндии никуда не выезжал, но и то, что он там увидел, поразило его.

— А депутат областного совета? А член бюро обкома партии? А член цэка комсомола? А право по первой же просьбе быть принятым в кабинете любого из руководителей области и привилегия знать, что к тебе отнесутся со всей серьезностью? А очаровательная возможность водить знакомства с самыми умными, талантливыми, достойными людьми области? Выходить в высокие президиумы, на праздничные трибуны с руководителями области, могущественными людьми и чувствовать свою принадлежность к высшему руководству? — не сдавался Качанов.

Мальков расхохотался.

— Ты знаешь, я на тебя даже не обижаюсь. Ты рассуждаешь как элементарный обыватель. Даже странно: ты ведь тоже как бы одного со мной поля ягода. Ты не понимаешь, что власть, наряду с деньгами и почетом, потому и манит людей, что дает кое-какие возможности... Есть разные мелочи, из которых складывается представление о собственной значимости и значительности, хорошее настроение... И желание никогда не расставаться с этим миром, закрепиться в нем, удержаться любой ценой на завоеванной позиции и двигаться дальше, выше — «туда»... Но есть у меня и немалые обязанности, есть лишаящая сна и покоя ответственность. А ведь комсомол и есть комсомол: поить, кормить и одевать народ не надо. Тут явный перекося между правами и обязанностями. Ни за что в полной мере мы не отвечаем. Даже в воспитании молодежи, таком трудноосязаемом деле, комсомол только помощник. Хорошо помогли? «Молодцы!» Промажнулись, недоработали? «Списать на молодость и неопытность». Да и в самом деле, за что уж так ругать нас: от этих промашек не останутся электростанции, не исчезнет хлеб с прилавков... Ты не ухмыляйся. Я себя, как лягушку, анатомирую, чтоб хоть задним числом понять, что произошло со мной...

— Вот об этом я и хотел тебе сказать, — вступил Качанов. — Посмотрим на твою ситуацию с другой стороны. Не с точки зрения того, что ты имеешь и теряешь, а наоборот — справедливо ли то, что именно ты имеешь все это... Вот тогда, когда я последний раз был у тебя в гостях?.. Ну, весной этого года, в мае. Мы тогда хорошо поговорили... И особенно хорошо закусили... «Чем бог послал», — сказала тогда Нина. Икоркой, красной рыбкой, шашлычком. Дай бог всем такое!.. Но не дает бог. Тебе дал, а многим-многим сотням тысяч в городе — не дал... Мы закусывали, а за окнами твоего дома лежал большой город, и его жители в это время тоже ужинали. Но не так вкусно, как мы. О многом из того, что стояло на твоём столе и в твоём холодильнике, они и думать позабыли. Прилавки городских магазинов пусты. Мясо и масло только по талонам. Нельзя предположить даже, что кто-нибудь, кроме жулья и, прости, тебе подобных, пил и закусывал так же. И я подумал тогда... «Нам так хочется быть с народом, но не хочется быть народом...» Ты меня прости и не обижайся на то, что я сейчас скажу... Давай честно: за какие такие особые способности и таланты выдвинули тебя на этот высокий пост и тебе теперь доступно то, что не могут иметь другие, в том числе и я?.. Ты что — гигант мысли? Умеешь и знаешь что-то такое, что другим неизвестно, чего другие не умеют?.. Да нет же, Коля. Ты обычный парень, каких — тысячи. И почему же ты оказался «наверху»? Да просто судьба попала случайно своим перстом именно в тебя. Все. А теперь «госпожа удача» отвернулась от тебя. И что же? Ты надулся на судьбу? Глупо. А может, лучше сказать ей «спасибо» за то, что была милостива к тебе?.. Ты не злись... Ты попробуй взглянуть на все с таких позиций. Совсем другое умонастроение может возникнуть... Без трагичности... И дергаешься ты не потому, что тебя от дел мировой революции отстраняют... Э-э, Коля, не лукавь. Самое главное — это «мелочи», о которых ты только что говорил. А теперь суммируй все эти «мелочи» в одно понятие. Что получится? Почти как у Вольфа: «самопрокорм». Не так примитивно, но все же очень близко...

Мальков молча курил одну сигарету за другой, пускал дым вверх. Разговор с Качановым давался ему с трудом. Трудно было впервые выговаривать то, о чем он и думал-то изредка, на бегу, обрывочно, а теперь все это слилось воедино и вытекало из его души как черная кровь из тела. Он привык таиться и носить в себе свои мысли, лишь некоторые из них доверяя Нине. Что толку изливаться? Как говорится, утечка информации. Польза сомнительная, а вред вероятен. В моменты наибольших откровений, Мальков и сейчас сожалел о сказанном, возникала даже мысль прервать разговор, но он уже не мог умолкнуть: все зашло слишком далеко, и разговор — тоже... Но еще труднее было слушать Качанова, который говорил о нем такие, ну просто нестерпимые слова...

— Ну хорошо, — протянул он с обидой. — Хорошо: я парень обыкновенный... А кругом какие? Ты, например? А?

— Я? Такой же, как и ты. Обычный. Но есть и другие, — отбил Качанов выпад Малькова.

— Например?

— Да тот же Григорий Остров...

— Слушай, ты это всерьез?

Качанов ответил, не задумываясь:

— Конечно. Мы много раз с ним за эти полгода встречались. На днях был у меня... О своих идеях по перестройке в комсомоле рассказывал. Очень интересно. Если в целом — я от него в восторге. Что-то совсем новое, небывалое. Умен, знания прямо энциклопедические. Дерзок. Правдолюбив. До щепетильности честен. И никакого тщеславия, тяги к власти. Парадоксально! Меня он обаял... Многие идеи о молодежи и комсомоле вроде и не новы. Но он их выстроил в систему, и это какое-то новое качество. Пишет книгу про комсомол. Знаешь, как назвал? «Что делать?» Впечатляет! Конечно, зеленоват, категоричен, нетерпим... Так это ерунда. Важен стержень, суть. Боец и с недостатками — боец. А — муха без недостатков — всего лишь добропорядочная муха. Мы ж такие мастера обтесывать, приглаживать...

Мальков возразил резко:

— «Что делать?..» Чернышевский, Ленин, теперь, пожалуйста — Остров. Ведь это надо додуматься! Не по чину берет. Тогда и дальше надо двигать: «Кому на Руси жить хорошо?», «Кто виноват?» Отчего не поставить заодно эти вопросы, а? Прямо цирк, да и только. Ты подумай только: какой-то секретарь горкома комсомола двадцати пяти лет от роду какого-то захолустного городка, который только на карте областного масштаба и значится, и — «Что делать?» Ему ли об этом голову ломать, его ли мозгами такие проблемы решать? А ЦК партии, а ЦК комсомола тогда на что ж? А по-моему, так нахал и левак он, этот Гриша Остров. Умен, обаятелен — да. Но опасен. Это его правдоискательство... Как бы тебе сказать... Попахивает чем-то нехорошим. И дело тут не в заблуждениях и ошибках. Ошибка ошибке рознь. Тут воинствующее низвергательство. Это не перестройщик, а разрушитель. Можно подумать, что до него жили дураки, проходимцы и злоумышленники. Тут, знаешь, чем пахнет?

И Мальков многозначительно умолк.

Качанов пожал плечами.

— Не пойму тебя, Николай. То ты говоришь одно, то другое. Ты за перестройку или нет? Если да, то без таких, как Гриша Остров, не обойтись. Новое без новых людей не победит...

— Да разве ж дело в новом? «Новое» не всегда «лучшее». Что — Остров лучше Качанова?

— Запрещенный прием, Николай, — покачал головой Качанов. — Одно вижу: Остров — фигура. Если все пойдет хорошо, мы его портреты на демонстрациях еще носить будем.

— Ох-хо-хо!.. — язвительно хохотнул Мальков. — Ну, ты даешь... Но для этого ему надо как можно скорее становиться первым обкома комсомола... вместо меня...

— Все возможно, Коля, — подвел черту Качанов.

— Называется — поговорили, — вздохнул Мальков.

Как это часто бывало, в нем мгновенно вспыхнуло раздражение, и тут, он знал, хорошего не жди. Надо было взять себя в руки... Зачем приехал к Качанову? Нашел у кого искать поддержки... Такой же «левак», как и Остров, да еще больной...

— Не верю я в Острова, не верю... — протянул Мальков, сдерживая злость. — И тебе не верю. Ни во что не верю... И никому не верю...

Со стороны больницы раздался крик:

— Товарищ Качанов!

Качанов отозвался. Вскоре подбежала медсестра Валя:

— Товарищ Качанов, из обкома звонят, спрашивают товарища Малькова...

— Иди, я тебя подожду, — сказал Качанов.

Мальков был озадачен.

— А кто спрашивает? Как нашли? Они же не знают, что я у тебя. Я же не собирался. Странно. Что случилось?

И он ушёл.

Уже совсем стемнело. Лежавший у ног Качанова город полыхал множеством огней. Длинная строчка фонарей пересекала реку — это мост убегал изгибом вдоль набережной вправо — к электростанции, которую отсюда не было видно. Но Качанову не надо было видеть. Он помнил и знал местоположение каждого дома, предприятия, учреждения своего городка, каждую выщерблину на асфальте и сломанную доску на деревянном тротуаре. И было два места, которые он любил тихо и нежно, между которыми разрывался: дом и горком, и никак не мог решить, что все-таки ему дороже — квартира, в которой он жил с любимой женой и детьми, или кабинет в горкоме, в который он вот уже несколько лет приходил ранним утром и уходил поздним вечером усталый, выжатый.

Что так тянет его в горком? Зачем он нужен сотням комсомольских работников и активистов, которые, как и он, крадут время от родителей и собственной семьи, от чтения и многих других разного рода удовольствий ради вот этой суеты, которая зовется «комсомольская работа». Видимое: собрания, заседания, сбор взносов, воскресники, прием в комсомол, проверки, речи, доклады и так далее без конца. Но ради чего все

это? Много раз начинал Качанов размышлять на эту тему, но все было некогда додумать до конца, а может, смелости не хватало на окончательный вывод.

И вот однажды он сказал себе: как сладко — верить, как радостно — проповедовать, как это величественно — быть проповедником, нести в сердца молодых людей свет и надежду в образе веры. Но чтобы нести веру другим, надо, чтоб вера эта была тверда и ты, сеятель, был тверд в этой вере... А его однажды поразило сомнение... И чем дальше, тем сильнее червь сомнений точил и точил его, Качанова, душу.

Вот и Мальков сейчас сказал: «Не верю ни во что и никому». Но если вера без дела мертва, то дела без веры быть не может... Сегодня многие не верят в успех перестройки. Чему удивляться? Изуверился народ. Сколько всяких планов намечалось, сколько дел начиналось? А чем они закончились? Перестройками перестроек, пустым звуком. Народ все помнит, потому и к новым проектам скептичен... Людям надо веру вернуть... Как это у Достоевского? Все дозволено только тогда, когда нет ничего святого, а есть что-то обыденное, примитивное. Скажем, деньги, вещи. Если деньги — абсолют, если вещи — абсолют, если выше денег и вещей ничего нет, а я ими владею, то мне все дозволено. Что случилось с теми высокими чинами, которых недавно снимали с их постов, посадили в тюрьму, а то и расстреляли? Их поразила бездуховность. Их убила вседозволенность. А жизнь без благоговения перед самой жизнью, перед человеком, личностью, перед Родиной, перед... словом, перед всем, что не вещественно-материально, а духовно, жизнь без любви, без души — это выродившаяся жизнь, это не жизнь, а бытование. В такой жизни занимаются морализаторством, не следуя морали. Здесь есть свои пророки, иконы и святые мощи, свои догмы, ереси и свой катехизис, даже свои еретики есть, но нет только веры и подлинной жизни...

Вернулся Мальков. Он был мрачен.

— Коренев звонил. Спрашиваю: «Как нашел?» «Вычислил», — говорит. В общем — шеф вызывает. Завтра в двенадцать...

Оба знали, что срочный вызов ничего хорошего не предвещает: либо что-то уже случилось, либо должно случиться. Поэтому молчали, думая об одном и том же, о нехорошем...

— Что он за человек, твой новый шеф? — спросил Качанов.

— Шеф-то? — отстраненно отреагировал Мальков. Было видно, что ум его занят уже другим. — Да ничего. Высокий. Лицо волевое. Богатая шевелюра. Взгляд властный, решительный. Мастер спорта по волейболу... В прошлом...

— Я имею в виду — гигант?

Мальков ответил зло, сквозь зубы.

— Илюша, я ж тебе сказал: волейболист. Ему бы производителем работать, русских арийцев «стряпать» для последующего использования на тяжелых физических работах... Откуда им взяться, гигантам-то, Илюша, милый? Ты часто их встречал? То-то. Ну Ленин, ну пяток фигур при нем. Ну даже Сталин... Два-три десятка за всю историю советской власти. Все остальные — тусклые функционеры.

Качанов ожидал от Малькова ответа какого угодно, но не столь отчаянно-грубого. При его осторожной натуре это могло означать только одно: он уже сжег все «мосты», оставил всякие иллюзии.

— Ну все же... — настаивал Качанов.

— Илюша, на смену нынешним в партии приходят люди второго и третьего эшелона. Слабаки. Крикуны. Мне тут заворг обкома партии дал почитать тезисы шефа... этого мудака... к докладу на пленум обкома по кадрам. Сам писал!.. Бред. Ахинея. Хочет ввести, например, принцип единовременной смены кадров. Что это за принцип? А вот такой: в течение недели в районе или городе заменяются все первые руководители, от партийных, советских и комсомольских до профсоюзных, ДОСААФ и всех других общественных организаций... Плюс руководители крупных заводов и предприятий. Без разбору — прав или виноват, плох или хорош. А просто потому, что вчерашний. Как тебе? Дурь! Не слабее сталинских чисток. Говорят, в Москве такая метода используется... Так там уже несколько человек с собой покончили. Читал? Первый райкома партии из окна выбросился... Или еще: «руководитель имеет право на ошибку». Пустячок? Это как? Ворочу что хочу и как хочу, а потом, когда ничего не получилось, говорю: «Ошибочка вышла; имею официальное право». Е-мое... Жуть. У меня плохие предчувствия, Илья. Очень... Вольфы «снизу», «шефы» сверху, гришки острова в середине — такого понаделают...

Мальков замолчал как-то стесненно, даже растерянно, то ли от смелости своих мыслей, то ли от неуверенности, что их надо было произносить. А может, просто от того, что сказал все, что хотел сказать, и надо было замолчать.

Разговор иссяк... Стало холодно и совсем темно.

Вдруг меж деревьев замотался огонек фонарика и перед друзьями из темноты выросла фигура Вольфа.

— О боже! — вырвалось у Качанова.

— Извините, я не Боже, а просто Вольф... Вот, халатик вам принес, товарищ Качанов, сестрица велела. И бутылек с закусью... Холодина же! Да не злитесь вы на меня, мужики!.. — упредил Вольф Качанова, заметив его протестующее движение. — Я не такой уж плохой, как вам кажется. Наоборот. Для новых времен я просто необходим. Да, мы были в тени... Я имею в виду то, что вы называете «теневая экономика». А те-

перь вам в тень придется уйти. Хана вам, ребята. У нас деньги. А у кого деньги, у того и власть.

— Да пошел ты вон, сука! — заорал Мальков и толкнул Вольфа с такой силой, что тот, ударившись о дерево, выронил из рук бутылку и пакет, упал на траву.

Вольф встал, направил свет фонаря прямо в глаза Малькову и сказал медленно, с расстановкой:

— Ха-на, понял? И ты у меня еще попляшешь, говнюк.

И растворился в темноте.

Бывают такие минуты, когда все силы ума и души, напрягаясь неистово и болезненно, заставляют сознание вспыхнуть таким ярким пламенем и осветить все вокруг далеко до такой степени, что потрясенной душе остается лишь увидеть будущее и свое, и чужое... Качанову вдруг ясно представился завтрашний день Малькова... Тот вальяжно сидел на диване, был весел и улыбчив, вокруг него стояло много солидных людей, почтено слушающих его, что-то записывающих, постоянно куда-то убегающих с озадаченными лицами и возвращающихся обратно, исполненными радости. Туда-сюда, туда-сюда... В деле и с удачей. И может ли быть иначе? Даже в самом большом несчастье судьба оставляет дверку для выхода, но найти его может только тот, кто, не отчаиваясь, ищет. Мальков не сдастся, он не таков... Но себя, Илью Качанова, как ни всматривался в освещенное взрывом потрясенного ума пространство, он не находил. Искал в слепой надежде и — не находил. И понял...

Они молча двинулись к больнице. Качанов попросил Малькова подождать, сходил в палату и тут же вернулся.

— Ну что, Николай, давай прощаться... А все-таки мы не зря жили. Много, конечно, в угаре перестройки будет порушено. Ой, много!.. Такой уж мы народ. Инстинкт саморазрушения, самоубийства силен в нас, как в никаком другом народе. Что поделаешь... Но в потоке времени гибнет лишь то, что лишено крепкого зерна жизни, что упало на камень, не проросло вглубь и, следовательно, не стоит жизни... Но мы сеяли... Стоят заводы, стройки... Все это мы. Не стыдно уходить. Страдания?.. Добрее всего те глаза, которые много плакали... Два раза не живут. А много таких, кто и один раз жить не умеют. Ну, хватит. Говори, не говори — всего не скажешь... Прощай, Коля... Да, вот это — мои стихи. Сыроватые, да дорабатывать уже некогда. Почитай, что понравится — тисни в «молодежке»... Ирину с ребяташками не бросай, если что...

Мальков протестовал: «Что за панихида?..», а Качанов смотрел на него с мягкой улыбкой, и лицо его было спокойным.

— Ну что — давай обнимемся.

Они обнялись и долго так стояли, обнявшись...

Мальков уходил... Вот он уже у машины, вот обернулся, махнул в темноте прощально рукой, вот сел в машину, вот хлопнула дверца, вот тронулась машина, и звук ее стихал, стихал и стих...

Никогда уже больше они не увидятся.

Качанов умрет на рассвете следующего дня, когда только начнет всходить солнце и в мокром от ночного дождя парке, в лесу, в горах и в его любимых Лосятах будет звенеть капель и опадать старый клен под большим окном, так долго, из последних сил державший в этом году на своих ветвях огненно-красные листья, а теперь вдруг разом их сбросивший, и они один за другим, а то по нескольку сразу будут долго кружиться в воздухе бесшумной стаей и нежно ложиться на вечную землю...

июль—август 1989 г., Москва



БЕЗНАДЁГА

Повесть



I.

Серое набрякшее мокрым снегом небо... В стилой вышине порывистый ветер бросает из стороны в сторону одинокую ворону, и она почти не борется с ним, а только чуть ворочает крыльями и хвостом — то зависнет на мгновенье в воздухе и, кажется, вот-вот рухнет на землю, то шарахнется вниз — в сторону, то опять вознесётся ввысь потоком воздуха... Ветер тоненько посвистывает в голых ветвях осин и берёз, чуть слышно шебаршит лапами сосен и елей, но эти звуки и всплески волны у берега неширокой реки не нарушают угрюмого безмолвия зимней тайги...

В лощине, под обрывом у реки — землянка. Из неё доносятся чуждые для леса и его обитателей звуки: «Трень-брень, трень-брень...» Кто-то ударяет по струнам напрочь расстроенной балалайки. Погодит, помолчит, потом опять ударит безмотивно, два-три раза — «трень-брень, трень-брень». Уже который час...

Из землянки вышел здоровенный мужик, бородатый, в лохматой голове сено. Долго, порой на четвереньках, взбирался на высокий, обрывистый берег. Взобрался. Встал на самом краю обрыва, подолгу глядел то на лес, то на воду, то на небо. Потом, трясая головой и широко разевая рот, истошно заорал:

— Твою ма-а-а-ать!..

«...Мать, мать, мать, мать» — бросилось в обе стороны реки. «...Ать...ать...ать...ать», — сбежалось обратно.

— Твою ма-а-а-а-а-ать! — ещё отчаянней заблажил, помолчав, мужик.

«...Ать...ать...ать...ать», — вернулось к нему.

И опять тишина.

Человек постоял, поскрёбся спиной о сосну и поволокся обратно в землянку.

Смеркалось. В маленьком окошке землянки засветился огонь, из земляной трубы пошёл дым. И опять раздалось унылое: «трень-брень, трень-брень...»

...Вот уже три месяца, как живёт Яшка-Огонёк в таёжной глуши, а душа его всё никак не может отойти от той смертельной схватки, всё чудится ему хриплый, угасающий стон и крик Ковалева: «Всё равно догоню!..»

В ту кошмарную ночь страх гнал Яшку неведомо куда, заставил, не задумываясь, броситься в холодную с ледышками, ещё не вставшую реку, переплыть её. Но даже ледяная вода не отрезвила. Выбравшись на берег, шатаясь от усталости, волоча левую ногу, на которой судорогой свело мышцы, несколько часов Яшка наугад продирался в тайгу, в горы, пока не свалился наземь, окончательно выбившись из сил. И тут холод клещами схватил его. Рубашка, брюки встали колом. Хромовые сапоги, которые он и на сухую портянку натягивал с трудом, снять было невозможно. В них хлюпала вода, пока ещё тёплая от бега, но и она становилась всё холодней. С трудом встал и, лязгая зубами, повывая от холода, снова пошёл, пополз, в тайгу, в горы, к холоду, к зверью — подалее от людей. Пока не провалился в темноте в глубокую яму. Ударился больно. Но здесь было теплей.

Очнувшись под утро от бредового сна, Яшка к ужасу своему увидел рядом острый кол, мимо которого он, к счастью, пролетал: это была «засада» для медведя... Кое-как выкарабкался из ямы, долго ковылял, хромая, пока не вышел на опушку леса — и вздрогнул: невдалеке в распадке перед ним лежала деревушка — да, та самая, за перевалом, откуда родом его Галка и где он не раз бывал. Здесь где-то в одном из домов жила старшая Галкина сестра. Значит, он, едрена-зелёна, шёл неправильно, надо было брать правей и круче, — там на десятки километров вокруг ни души. Но как было понять это в кромешной темноте, да ещё в пьяном угаре?

Яшка понимал, что его уже ищут. Ведь Ковалёв, вполне возможно, остался жив. Ну, ткнул его Яшка ножом в живот, сильно саданул. Но складень-то перочинный... Не ясно, куда угодил. Значит, и здесь, в селе, его могут поджидать.

Выглянуло позднее осеннее солнце, стало немного теплей. Невдалеке стоял стог сена. Яшка зарылся в него, согрелся и снова заснул, но и во сне вздрагивал от пережитого. Ему даже причудилось, что его уже нашли и хватают, и он проснулся от собственного вскрика. Вскоре снова заснул, крепко и надолго.

Когда проснулся, одежда на нём почти высохла. Удалось стянуть сапоги. Выставил их на солнце, вывесил портянки на ветер и снова зарылся поглубже в сено — душистое и тёплое летним теплом.

Трезво взвесив своё положение, Яшка решил заpastись в деревне необходимым для жизни в лесу, а уж после этого уходить в тайгу, в горы, в самую что ни на есть глухомань. В городе живо сыщут. Тогда — прощай свобода, а то и жизнь. А вдруг — убил?.. Хотя и по ревности, а всё ж Ковалёв-то начальник, можно и «вышку» схлопотать.

Хотелось есть — зверски. Где-то далеко внизу, около деревни, блеяли овцы. Яшка пошёл на звуки. Высмотрел, что пастуха нет. Поймал ягнёнка и стал душить. Ягнёнок побрыкался, но вскоре затих. Что с ним делать дальше, Яшка не знал. Потом вытянул из пасти язык и отшиб его камнем. Язык был зелёный, скользкий. Обтёр о траву, попробовал жевать — стошнило.

Когда завечерело, пошёл в деревушку. У крайней избы спрятался в кустах и долго высматривал жильцов. Два раза во двор выходила женщина — доила корову, кормила кур. Больше, вроде, никого. Подкрался к окну, заглянул в щель ставня — женщина готовилась спать. На стене, над мужской фотографией, висело ружьё. Удача!..

На всякий случай раскрыл складень, постучался. Женщина впустила его без всяких расспросов. Яшка соврал, что он из геологоразведочной партии, идёт в районный центр.

Она накормила его, постелила в тёплых сенях. Яшке не спалось. Ему казалось, что и хозяйка не спит. Тогда вошёл в избу и без слов откинул её одеяло, обнял тёплое, парное тело. Она не сопротивлялась, только шептала: «Не надо... не надо... Вот... дурень...» А сама обнимала и постанывала.

Рано утром хозяйка ушла на работу, сказав, что к обеду вернётся. Она не спросила, как его звать, он тоже.

Как только женщина ушла, Яшка бросился к ружью, снял со стены берданку, обнюхал ствол — давно не стреляно; взвёл курок, щёлкнул — в порядке. Теперь главное припасы... Они должны быть где-то рядом — на случай. Заглянул под кровать, нащупал какой-то тяжёлый свёрток. Кажется, то, что надо. Развернул — точно! Гильзы, порох в пачках, дробь, несколько жаканов, пыжи. Везуха!.. Затем нырнул в погреб, обшарил чердак, порылся в сундуках. Набрал необходимого на первое время. Старый, рваный мужской полушубок... Шапка. Пимы. Нож... Гречка... Соль... Спички... Топор... Часы-ходики... Сдернув с кровати одеяло, разложил его на полу и побросал в него всё, что украл. Оттащил узел в кусты.

Потом задами, крадучись, пошёл вдоль деревни искать конюшню: во что бы то ни стало нужна была лошадь — без лошади с грузом далеко не уйдёшь, да и жить будет веселее, всё-таки живое существо. Яшке повезло. По лошадиному ржанию он быстро нашел конюшню, которую в этой глуши, конечно, никто и не думал охранять. Тут же висели хомуты и уздечки. Взял то и другое. Взнуздal кобылу, что была ближе к выходу. Навьючив, Яшка повёл её под уздцы. Шёл с раннего утра до позднего вечера, выбирая такой путь, чтоб случайно не встретить кого — приглядывался к траве, к деревьям, ища следы человеческого присутствия. И пока изредка находил, шёл беспокойно и настороженно.

С короткими остановками днём и тревожными ночлегами Яшка шёл шесть суток...

На седьмой день, к вечеру, Яшка увидел нечто удивительное... Здесь, где стоял Яшка, была поздняя осень, холодно и серо, дул ветер, а там, внизу, в распадке, словно ещё было лето, жарки расшили красным цветом ещё зеленую поляну...

Яшка и раньше слышал, что в Саянах есть места, где лето длится гораздо дольше обычного, что там вызревают даже арбузы. Говорили, что в горах есть целебные источники, и областное начальство и даже какой-то знаменитый московский писатель каждый год наезжают в эту глухомань, и старики лечат им болезни, которые столичные врачи лечить отказывались. Может, это и было одно из таких райских мест.

Яшка стал спускаться вниз. Обследовав окрестности, он заплясал от радости и решил, что именно здесь и будет его стоянка. Вряд ли кто, кроме геологов, решится уходить от жилья в такую даль. Ну а их можно встретить где угодно. Это дело случая, а случай обычно был на Яшкиной стороне.

Несколько дней строил в обрыве землянку. Замаскировал её дёрном так, чтобы не было видно ни сверху, ни со стороны реки, смастерил нары, навалил на них травы. Постель получилась мягкая и душистая. Яшка спал, варил еду, ел и снова спал. Через пару недель почувствовал, что растолстел, сила так и пёрла наружу.

Погода стояла ясная, и настроение у Яшки было весёлое, даже задорное. День ото дня его всё больше тянуло на размышления...

От сыска он ушёл, это точно. Найти его в таких дебрях — дело почти невыполнимое. Не догнал его Ковалёв и не догонит... С этой мыслью пришло спокойствие. Никто не раздражал его, не заставлял идти на работу, не стыдил, не наставлял. Он был сам себе хозяин. Хочешь — спи, хочешь — не спи, хочешь — ничего не делай. У Яшки было два выбора и оба одного достоинства — безделье. И он радовался этому, хохотал в душе над идиотски устроенным миром, где утверждают, будто смысл жизни — в труде.

«Конечно, если никто не будет работать, то жрать станет нечего, это точно, — размышлял Яшка. — Но что жить нельзя, не работая, — вот

это чушь. Те, кто может позволить себе не работать, те и не работают. И чтобы им можно было не работать, они, люди умные, на досуге и придумали эту байку, и неплохо вроде придумали, складно: «смысл жизни — в труде». И вот быдло вкалывает, а они, люди сильные, ими правят, придумывают новые сказки о смысле жизни. Сказки очень нужны людям, они без них просто жить не могут. То в бога веруют, то в коммунизм». Но не для Яшки эти сказки. Он главную истину в жизни постиг — есть люди сильные и люди слабые, есть те, кто работает, и те, на кого работают; есть те, кто мечтает о хорошей жизни, и те, кто хорошо живут.

Яшка лежал на берегу, осеннее солнце бережно пригревало его, ласкало лицо, ветер томно, будто ласковая женская рука, ворошил его волосы. А воздух... Ах, как вкусен был этот смолянистый, прохладный воздух! Он словно шампанское вливался в горло и даже пощипывал во рту, ударял хмелем в голову. Река большой кошкой свернулась у Яшкиных ног и негромко урчала, убаюкивала. Вот оно — блаженство жизни!..

Так прошёл месяц, а, может, больше. Яшка не вёл счёт дням. К чему? Когда придёт зима — выпадет снег и станет холодно. А когда наступит весна — снег растает и прилетят птицы. Погода — это единственное, что его волновало, потому что в хмурую погоду и на душе становилось хмуро. А в солнечную пору верилось, что настанет день, и о нём, Яшке-Огоньке, узнает весь мир. Что он должен для этого сделать и как он этого добьётся — Яшка не знал, но верилось, что всё так и будет.

Шло время, ясных дней становилось всё меньше, и радужные мечты уступали место грустным мыслям.

Первый раз Яшка серьёзно загрустил, когда однажды утром, проснувшись по нужде, он долго не мог открыть дверь землянки, а с трудом вырвавшись наружу, ахнул — всё вокруг было белым-бело. За ночь выпало неимоверно много снега, а он всё валил и валил огромными хлопьями, и вот уже молодые берёзы и осины согнулись до земли, ветви елей, кедров и сосен опустились, и, казалось, вот-вот треснут от навалившейся на них тяжести...

Снегопад продолжался три дня...

Потом разразилась гроза. Молнии располосовали небо во всю длину горизонта, и Яшке чудилось, вот-вот ударят прямо в него и станет он горсткой пепла... Несколько раз громыхнуло, да так сильно, что с елей попадал наземь снег. Пролился мелкий, противный дождик. И тут же ударил крепкий мороз. Всё вокруг заледенело. Когда налетал ветер, ветви деревьев колотились друг о друга и звенели, и в этом звоне слышалось Яшке что-то похоронное...

Ещё больше опечалился Яшка, когда заметил, что гречка, лук и другие продукты, украденные в деревне, заканчиваются. Надо было запастись мясом, идти охотиться.

Печали добавилось, когда оказалось, что добывать пищу в лесу — дело непростое, что Яшка к этому никак не приспособлен. Целый день он проходил по лесу, а так никого и не подстрелил. И ещё два дня прошли безрезультатно... Несколько раз он видел диких коз, но подойти на выстрел никак не получалось. Они замечали его раньше и уносились стремглав. Дважды он всё-таки выпалил им вслед, но даже не ранил ни одну: из дробовика не достать. А патроны надо было экономить.

Тогда Яшка решил убить кобылу. Он подумал об этом, когда оказалось, что после снегопада её нечем кормить, но всё оттягивал этот трудный момент, рылся в снегу, рвал ржавую траву, подкармливал лошадь и ждал, когда станет холодно наверняка, чтобы мясо не пропало.

Километрах в полутора от землянки Яшка нашёл горячий источник. Там снег таял ещё в воздухе и падал на землю каплями воды. Это было странное зрелище, если наблюдать его на расстоянии: белая стена ни на чём не держалась, обрываясь в метре от земли, висела в воздухе. Там трава ещё зеленела, но вскоре Яшка и тут вытравил всё, что было.

Кобыла была обречена, и Яшке мнилось иногда, что она понимает это, потому как прежде весёлая, она радостно потряхивала мордой, когда он проходил мимо, а теперь держала её понуро и тощала на глазах...

Однажды под вечер Яшка взял топор и подошёл к кобыле. Как её убить? Решил, что надо ударить обухом по лбу. Размахнулся, но кобыла мотнула головой, и он опустил топор. Глянув на Яшку лиловым глазом, кобыла потёрлась мордой об его плечо, и что-то вдруг перевернулось в Яшкиной душе. Не за что было убивать кобылу, ну не за что! Никакой вины за ней не числилось. Ну если б она что-нибудь сделала Яшке плохое. Нет, она не доставляла Яшке никакого беспокойства. Стреноженная и привязанная за ногу к сосне, пощипывала спокойно траву, пока она была, а теперь похрустывала снегом. И днём, и вечером Яшка слышал её всхрапы, удары копытом о землю, хруст пережёвываемой травы. Он привык к этим звукам. Просто ему, Яшке, жрать хочется. Вот и вся лошадиная вина перед ним.

Яшка взял ружьё, подошёл к кобыле и в упор, целясь в глаз, выстрелил. Кобыла дёрнулась всем телом, несколько мгновений постояла, потом её передние ноги враз подогнулись, и она рухнула вперёд — в бок, в Яшкину сторону. Эхо от выстрела долго носилось по реке, по лесу, по горам. И каждый новый звук отдавался у Яшки в голове и даже в правое плечо, будто он снова и снова стрелял. Кровь выплывала из-под головы лежавшей на боку кобылы, и снег вокруг густо краснел. Яшка не мог оторвать взгляда от этого растущего пятна.

Вдруг остро, как вспышка молнии, ударило по глазам, в память, в сердце. И уже не кобыла, а его Галка, его зазнобушка, умирала на его глазах.

Яшка отбросил ружьё и стал ладонями сгребать снег, забрасывать кровавое пятно. Гора снега росла, но оставалась красной, не белела...

Яшка заскулил, заныл, застонал и бросился в землянку.

Всю ночь Яшку мучили кошмары. То кто-то душил его, то он снова бежал в горы, падал в какие-то ямы... Яшка вскакивал и с открытыми глазами в крошечной тьме вновь переживал эти сцены.

Рассвет никак не наступал, а когда пришёл, Яшка как больной побрёл к реке, пробил полынью и умыл лицо ледяной водой.

Знобило и поташнивало. Яшка понимал, что если он заболит, то дело кончится плохо. Помощи ждать неоткуда. Уже сутки он не ел. Надо было разделявать тушу кобылы.

Сварив мяса и поев, Яшка заснул. Проснулся от звука выстрела. Кто-то где-то стрелял! Кто?!. Он выскочил из землянки, спрятался за дерево, взвёл курки ружья. Но не услышал больше ни звука, как ни вслушивался. Может, показалось? Или эта, будь она проклята, кобыла довела до умопомрачения...

Вдруг, как никогда прежде, мучительно захотелось ласки. Да, ласки! Ему, сильному и свирепому человеку, хотелось доверчивой, нежной ласки. Материнской? Женской? Всё равно. Чтобы кто-то приобнял его, погладил по голове, пошептал что-нибудь тихо на ухо, поцеловал... Пожалел.

Яшка всегда желал ласки и никогда не знал её.

Матери, неграмотной, забитой женщине, занятой всегда только тем, как прокормить семью, было не до Яшки и остальных детей. Жили бедно и голодно. Правда, не все. Яшка это заметил рано. И как протест бедняка против сытости и благополучия незаметно для себя выработал презрительное выражение лица, независимую манеру поведения среди окружающих. Без разбора. Среди всех. За это в школе его не любили ни мальчишки, ни девчонки. Они подхихикивали над ним и мелко пакостили. Чем больше он не любил их, тем больше они пакостили.

Учился он на «отлично». Ему завидовали. Яшка это видел и был горд собой. За это его тоже не любили.

Яшка рос в окружении нелюбви, нужды и опасности. Они заставляли его быть самостоятельным и сильным. Ростом и силой он, как говорила мать, в отца пошёл. Его кулаков панически боялись. Если кто вдруг задирался, он валил его одним-двумя ударами. Униженный приводил друга, и тогда Яшка жестоко избивал их обоих. Двое собирали компанию, но убегал не он, а компания.

Сначала Яшка дрался из стремления доказать, что он сильнее всех. Когда все признали его силу, бил других просто так, в напоминание о своей силе.

За это его стали ненавидеть. И он стал ненавидеть всех, даже тех, кто к нему относился безразлично. Сначала он ненавидел свой класс, потом друзей учеников своего класса, затем всю школу и — почему-то — всех людей вообще.

«Не любят? Наплевать! Главное, чтоб боялись!» Это было Яшкино кредо и его девиз. А его боялись. Он это видел. И торжествовал. Но торжествовал в одиночку.

Потом в Яшкиной жизни появились женщины. Он не верил им. И бросал одну за другой, теряя надежду встретить гордую и сильную, с душою, сильной как у него, но... ласковую.

И вот Галка... Поначалу это были отношения обычные, в стиле «а-ля Огонёк». Галка влекла его своей красотой, лёгкостью характера. Когда он её долго не видел, Яшке тогда казалось, что он готов на любые жертвы ради своей возлюбленной. Когда же приходил к ней, все чувства улетучивались вмиг, кроме желания владеть ею сию минуту, немедленно. Он срывал с Галки одежду, едва переступив порог, становился грубым, бесцеремонным, настойчивым. Ему было всё равно, что испытывает при этом Галка. Он и не задумывался об этом.

Удовлетворив плоть, Яшка сыто отваливался от Галки — она была ему уже безразлична. Теперь им овладевали иные мысли: он снова чувствовал себя властелином и благодетелем. Лёжа поверх одеяла, разгорячённый, он любовался буграми своих мышц. Напружиненный, волосатый, готовый вскочить и — ломать, крушить. Побеждать. Он косил глазом в зеркало шифоньера, где отражались их нагие тела, и Галка казалась ему покорной ничтожностью, а он себе — самой неистовостью и всемогуществом. Она приносила удовольствие, и он любил её за это. Да, любил. Ему даже казалось, что любовь эта росла. И Яшка ждал от Галки благодарных слов. А вместо этого она как-то раз сказала:

— Я человека ищу, Яша, а не мужика. Ты понимаешь разницу? А ты будто скотина ненасытная. Есть в тебе что-нибудь человеческое или нет? Казалось, что есть. А сейчас уж и не верю. Уйду я от тебя, Яша. Надоело...

Они поссорились. Это было как раз накануне того дня, когда на стройучасток приехал Ковалёв, начальник треста. Молодой, красивый. Яшка заметил, как смотрела на Ковалёва Галка. И там, на поляне, где Яшка схлестнулся с Ковалёвым в споре. И потом, на собрании, где подводили итоги квартала...

Когда же увидел, как Галка села с Ковалёвым в машину, и они куда-то поехали, схватил первый попавшийся на глаза самосвал и бросился догонять «газик». Он выследил, куда они поехали, стоял под окном домика всё время, пока они разговаривали, подсматривал, подслушивал. А потом не выдержал, ворвался прямо через окно, сунул ножом в живот Ковалёву, ударил наотмашь по лицу Галку, сел в самосвал — и в бега...

Теперь в лесу, в землянке обо всём жалелось, но запоздало. До смерти хотелось ласки. Или музыки...

Яшка выстрогал несколько палок, смастерил что-то наподобие маленькой балалайки, натянул на эти палки жилы, которые повытаски-

вал из тела убитой кобылы, и выставил это сооружение на ветер — сушиться. Под вечер перетянул их и попробовал играть. Какая там музыка! Какофония. Яшка брынькал на жилах и ныл, всякий раз на новый мотив, четыре строчки, сочинённые им в порыве крайней тоски несколько дней назад.

*И для меня весна придёт...
Река широко разольётся,
И сад вишнёвый зацветёт.
Лишь только счастье не вернётся.*

Он ныл и ныл, и чем дольше ныл, тем больше ему было жалко себя...

Яшка взобрался на обрыв и с высоты облаял реку, лес, небо, снег, птиц, зверей и всё человечество. Но никто его не услышал и никто ему не ответил. И лесу, и реке, и небу, и человечеству было всё равно, что думает о них этот человек. И человек это понял, вернулся в землянку и снова заскулил тошнотную песню. Но и она не доносилась наружу. А только слышалось безмотивное «трень-брень», «трень-брень». Безысходное и жалкое.

II.

Большой радостью, которую принесли Яшке первые оттепели, был наст. Подтаявший за день снег, ночью замерзал, покрывался толстой ледянистой коркой. Она держалась, не таяла почти до обеда. Радость крылась в том, что теперь можно было идти куда хочешь, как говорится, в «любую сторону твоей души», уходить далеко, оставляя на всякий случай зарубки на деревьях, чтобы не заблудиться: следов на самом насте почти не заметно, а как чуть пригреет, тут же исчезали всякие их намёки.

Стали набухать почки, берёза давала сок: начало апреля. Яшка понаделал из бересты туесков и, надрубив несколько берёз, стал собирать березовый, чуть сладковатый сок. Он пил его с наслаждением, как морс, и вспоминал город: шумный, суетной и такой теперь недоступный.

Сапоги у Яшки изнашивались. Он нарубил тальника, надрал лыка и два дня плёл лапти. Получилось плохо. Сплёл вторые. Удалось лучше. Взаялся за третьи. Вышли вполне приличные, и всего за день. Яшка вдруг испытал незнакомое удовольствие от того, что из его огромных лапещ выходит нечто нужное и благовидное.

Им овладел азарт. А можно работать ещё быстрее и лучше?

Целую неделю Яшка только и делал, что лапти плёл. В углу землянки была уже целая гора лаптей, а Яшка всё плёл и плёл...

Потом подумал: «А что бы ещё сделать?» И начал плести корзины. И корзин понаделал больше десятка.

В работе быстро проходили часы и дни. Яшка даже песни стал мурлыкать про себя какие-то бодрые, боевые. В жизни таких не пел, а тут — на тебе. Под настроение, под работу память вытаскивала из своих тайников нечаянно услышанные когда-то слова и мелодии.

Работа доставляла Яшке удовольствие, и это тоже было очень странно ему. Но когда он завалил полземлянки лаптями и корзинами, подумал невесело: «Зачем мне всё это? Так много... И никому не отдашь. Вот если б выйти к людям, можно было продать. Хотя лапти — кому они нужны? А вот корзины ходить по ягоду сгодились бы... Да куда ж ты пойдёшь, Яшка? Сиди в тайге и не рыпайся... Мечтал о воле-вольной? Вот она: ешь — не хочу. Только каждое утро думай о том, что жрать сегодня и завтра будешь... Как бы костёр не угас, да уголья за ночь не пропали... Зверьё вокруг бродит. На одних ты охотишься, другие — на тебя. Вроде, спи себе спокойно, так нет, как собака в пол-уха и во сне всё слушаешь... Мало ли кто, мало ли что... А жратва — сколько сил отнимала её добыча! Обычно нужен был целый день, чтоб к вечеру подстрелить зайца или какую птицу. Добравшись до землянки, Яшка валился с ног от усталости, а надо было ещё приготовить еду...

Поев и отогревшись, Яшка начинал тосковать. Тоска подкатывалась к горлу как тошнота, мутила душу и желудок. Иногда он думал, что и вправду съел что-то вредное, испуганно выскакивал из землянки и, прямо у двери, засунув подальше два пальца в рот, срыгивал только что съеденное. И рылся среди блевотины, искал, что же это такое нехорошее он проглотил. Ничего не находил. И было обидно видеть эту парную дрянь и вонь — твой труд за целый день...

Яшку всё больше тянуло в бригаду. Завести бы свой старенький «ДТ», почувствовать, как он напрягается, тарыхтит, толкая сваленные лесины. Пусть кроет матом прораб. И вообще пусть его, Яшку, ругают, воспитывают, заставляют.

Ох, дожил ты, дожил, Яшка, если готов сделать всё, что ни скажут тебе.

Это открытие — свою готовность подчиняться — потрясло Яшку. Он

¹ 30 лет в джунглях. Совершенно изнурённый человек, вид которого изрядно напугал местных жителей, вышел из джунглей на острове Новая Ирландия (близ Новой Гвинеи), сообщает корреспондент «Ассошиэйтед Пресс». Из его бессвязного рассказа удалось установить, что в течение 30 лет он прятался в джунглях от японских солдат. Местные жители признали в нём Бони Маки, которому было 20 лет, когда японцы, оккупировавшие остров в 1942 году, мобилизовали его в трудовую команду. Годом позже он бежал в джунгли, где и жил всё это время, питаясь змеями и ягодами. Всё же он обрадовался, когда узнал, что война закончилась 28 лет назад (ТАСС) (Комсомольская правда. 1973. 5 апреля).

Событие сенсационное, но не единственное в мире. В начале 60-х годов XX века в газете «Молодёжь Севера» (Коми АССР) были опубликованы статья и фотография человека, который прятался в тайге 20 лет от призыва в Красную Армию. Я встречался и беседовал с этим человеком, история которого вкратце изложена в этом рассказе.

целый вечер размышлял об этом. И было отчего. Такого чувства он не испытывал ещё никогда. И кроха мыслишки такой раньше в голову не западала. Единственное слово, которое он начертал на знамени своей жизни, было слово «Воля» — делать то, что хочется. А теперь получалось всё наоборот. Он готов был отказаться от своих желаний, делать то, что хочется другим. Здесь, в тайге, где он жил, где было можно делать всё, что хочешь, ему не хотелось жить. Здесь была его тюрьма, а он — раб самого себя, своего желудка. Сумасшествие какое-то, да и только...

Однажды, вернувшись к обеду с охоты, Яшка увидел около своей избушки человеческие следы. Похолодел: «Выследили! Конец!» Он бросился в землянку, стал сбрасывать в узел еду, одежду. Потом упал в отчаянии на нары. Куда уйдёшь? Вот-вот ударит оттепель, станут видны следы. Уж коль разыскали в такой глухомани — амба. Теперь не уйти. Надо защищаться.

И Яшка, как раненый зверь, кинулся навстречу опасности. Зарядив ружьё патроном с жаканом, пошёл по следу.

Но почему, выследив его, человек уходит? Пошёл за подмогой? А может, просто охотник или геолог? Тогда почему не зашёл в землянку? Значит, чего-то боялся? Всё равно. Раз видел Яшку, значит, скажет другим людям.

Яшка быстро скользил на самодельных лыжах и увидел наконец мелькнувшую вдалеке фигуру человека. Пошёл в обход справа. Залёг. Теперь человек должен был выйти прямо на него.

Но он исчез. Яшка пролежал в засаде с полчаса, но человек не показывался. Яшка встал, закинул ружьё за спину, приладил лыжи... Сзади грохнул выстрел. Мощный удар в спину опрокинул Яшку лицом в наст. И тут же на него рухнул противник. Яшка легко сбросил его с себя, левой рукой перехватил занесённый над ним нож, а правой вцепился в горло незнакомца и давил его, чувствуя, как мякнет тело. Когда выпал нож, а человек затих, Яшка отполз в сторону. Спину жгло, саднило, но особой боли не чувствовал. Спасла шкура лошади, которой он зимой обшил и грудь, и спину, чтобы не продувало.

Яшка смотрел на неподвижное тело человека, одетого, как и он, в шкуры, бородатого, и ему было жутко: «Опять убил человека! Господи, да что же это? Только стал забываться от прошлого — и вот тебе — опять...» Он ещё не отдышался от борьбы и страх за свою жизнь ещё не оставил его, но ему было жаль человека, которого он убил зазря, даже не узнав, кто он, что ему было нужно у Яшкиного лежбища.

Яшка подполз к незнакомцу, разворошил на его груди одежду, добрался до тела и припал ухом к сердцу. Человек был жив. Яшка стал натирать ему лицо снегом, ворочать руки. Ему опять стало страшно, что вот не успеет он что-нибудь сделать и человек умрёт. И это было так жутко, будто надо было второй раз убивать его. Яшка забыл про собствен-

ную боль, суетился, взмок так, что скинул лапотину.

Незнакомец зашевелился, застонал. Через несколько минут он с трудом сел, привалившись к сухой сосне. Яшка помог ему, поддерживая под руки. Огромная борода и спутанные космы чёрных волос делали его похожим на лешего. На ногах была самодельная обувь из лосиной кожи, на теле — медвежья шкура.

Яшка находился совсем близко от незнакомца и видел его глаза. В них не было ни испуга, ни страха, ни любопытства, и даже боли не было, а только безразличие. Потухшие, блекло-голубые, почти прозрачные, они производили жуткое впечатление.

— Ты кто такой? — спросил Яшка.

Человек долго молчал, не мигая, смотрел на Яшку.

— Человек. — Прохрипел он наконец, держась за горло. Незнакомец выговорил это слово с запинкой на втором слоге.

— А ты кто?

Страшным было это существо. И голос был страшный. Яшка отошёл на несколько шагов, забрав оба ружья — и своё, и этого странного человека.

— Человек... Чего следил за мной?

Незнакомец молчал, глядел на Яшку. И вдруг увидел Яшка, как из глаз его на усы, на бороду, на звериные шкуры выкатились слёзы. Незнакомец плакал, но глаза даже не двигались, смотрели в одну точку, словно это не они рождали слёзы...

— Кто ты такой? — несколько раз спросил Яшка.

Незнакомец не отвечал.

— Ну и чёрт с тобой, молчи. Я пошёл. Ружьё твоё оставлю вон на том дереве, видишь? Вон то, кривое, впереди... А то ты ведь снова влепишь мне в спину. Сиди и не двигайся, понял? Дёрнешься — пристрелю.

И Яшка пошёл.

Незнакомец встал, шатаясь, поплёлся за Яшкой.

«Ну и пусть идёт, — подумал Яшка. — Хоть узнаю, кто таков. А то сиди и дрожи — вдруг продаст?»

Так они и дошли, не разговаривая и не приближаясь друг к другу, до Яшкиной землянки.

Яшка разжёл костёр, сварил мяса. Ели тоже молча. Яшка следил за каждым движением незнакомца: чёрт знает что у него на уме?

Болела, ныла спина. Яшка стащил шкуры. И человек выдавил из-под кожи несколько дробинок, помочился на тряпку и примотал её к ранкам. Засаднило.

Уже потом, когда поели, намолчались вдоволь, глядя на огонь и протянув к нему руки, незнакомец назвал своё имя — Фёдор и начал рассказывать, и всю ночь рассказывал, плача иногда, жуткую историю своей жизни, вставляя после долгого вздоха к месту и не к месту одно и то же слово: «безнадёга...»¹

...Летом сорок четвёртого провожала деревня на фронт троих парней. С гармошкой, с бабьим плачем, как повелось на Руси. А Федька Шугор не поехал со всеми — заболел. Уехал из деревни неделей позже. Проводы были тихие и оттого ещё более печальные. Перекрестила богомольная Аксинья Алексеевна своего сына, истошно заголосила. Да и как не заголосить — третьего сына отправляла на войну.

До города ехали по реке, на катере. Было солнечно, тихо, безмятежно. Зелёное безмолвие тайги, родные с детства берега... А катер медленно, но неумолимо втаскивал Федьку в войну — туда, где огонь, кровь, смерть.

Во рту у Федьки появился отчего-то противный привкус медной гильзы...

Ночью на остановке Федька сбежал с катера. В тайгу, в тайгу! Подальше от людей, от смерти. Тайга родная, не выдаст, спасёт.

После нескольких дней скитаний он вышел к скиту старика-скрытника, у которого бывал и раньше во время охоты. Рассказал ему о своём страхе. Старик не осудил Федьку. Полистав толстую книгу, он прочитал Федьке:

— Уйди от мира сего — и ты спасёшь свою душу.

Около двух недель жил Федька у старика. Он и снарядил его в тайгу. Дал ружьё, припасы, пару ножей, одежонку для зимы, икону и несколько религиозных книг. Посоветовал, куда и как идти, чтобы не встретить кого в пути, где спрятаться так, чтоб ни одна живая душа не добралась до тех мест, где должен был укрыться и жить отныне Федька.

Несколько дней шёл Федька, пока не выбрал себе место. В глухом пихтовом лесу, километрах в двух от истоков таёжной речки. Построил избушку, слепил печь. И потекли дни... Тысячи дней одиночества и страха. Страшно было всё. Страшны были лютые морозы при свете коптилки на оленьем жире. Страшен был треск деревьев. Страшно было заболеть, ранить себя в лесу, потому что — зови ни зови — никто не придёт тебе на помощь... Страшной была встреча с медведем, пировавшем на лосиной туше. Федька победил медведя. Победил и голод, научился жить без пищи по нескольку дней, экономя по зимам еду.

Но не мог победить страх перед людьми. Больше, чем встречи со зверем, Федька боялся встречи с человеком. Он даже из избушки уходил в лес каждый раз новыми путями, чтоб не вытоптать тропинки. И за водой к реке ходил в обход, чтоб если кто пойдёт вдоль реки, не заметил его следов.

Не было теперь у Федьки прямой тропы в жизни. Как заяц должен он был петлять, путать следы и пугаться их, уже забытых, и радоваться животной радостью, что это не чужой, а твой след.

Шли годы. Без Федьки праздновала страна Победу. Без Федьки справили свадьбы вернувшиеся с фронта братья. Без Федьки умирали мать и отец. Без Федьки в небо полетели спутники и Гагарин. Федька по сото-

му разу перечитывал старые религиозные книги, которые дал ему старик-скрытник. Мир сохранился в Федыкином представлении таким, каким он запомнил его девятнадцать лет назад. Время пошло вспять. Спутались в памяти имена, события, названия, понятия. На их место приходили новые — из ветхих книг, что дал Федыке старик. Правда, и они учили, как жить среди людей. Но Федыка читал их на свой манер. У него была своя забота — выжить. И своя радость: выжить! Ещё день — выжил! Просто — выжил. У него были свои удовольствия от этой жизни. Хорошо оправился, очистил желудок утром — приятно. Комар укусил, почесался — приятно. Потянуться с хрустом, со стоном... Всё приятно, что не больно, что не жжёт, не саднит...

Иногда Федыка выходил к оленеводам, выдавая себя за охотника, обменивал добытую куницу на патроны и соль. И как ни хотелось ему побыть с ними, послушать, он быстро уходил. Боялся задавать вопросы, чтобы люди не поняли, кто он. Федыка долго не знал, закончилась ли война, кто победил. Но как-то раз услышал из маленького ящичка забытый голос человека, который он слышал и до войны: «Говорит Москва...» И понял, что Москва стоит. Человек рассказывал о новых победах на каких-то строительствах и ничего не говорил о войне. Федыка слушал жадно, не пропуская ни слова. Он вернул оленеводам половину патронов и выпросил этот говорящий ящичек, отдав за него вдобавок всех куниц.

Несколько дней Федыка не выходил из своей избушки, а только слушал человеческий голос из ящика. Слушал, слушал. Иногда совсем переставал понимать то, что говорилось, и тогда просто звуки человеческого голоса чаровали, убаюкивали его, и он засыпал, счастливый. Просыпался и снова слушал.

Он пытался уяснить то, что говорилось, разобраться в океане слов, которые хлынули в его тощий, усохший от безделья мозг, но ничего не выходило.

Казалось, что под черепной коробкой заворошились тысячи червяков. Они ползали, задевая друг друга, тёрлись о кости, торкались, пытались выбраться наружу, давили на глаза. Федыка весь дрожал, его кололо. В какое-то мгновенье, когда из ящика вдруг раздались выстрелы, ему показалось, что из серебряной сеточки выбегают люди... много людей... и несутся к нему, к Федыке, чтобы убить его. Он закричал, схватил ружьё и выстрелил в ящик...

Едва добравшись до нар, Федыка потерял сознание. Сколько пролежал в забытии, он не знал. Очнулся, но головой не мог даже шевельнуть. Через несколько дней стал ползать, готовить себе пищу. Потом встал, вроде пришёл в себя.

Почти за два десятилетия одиночества Федыка ни разу не болел, ничем, даже насморком. А теперь стали мучить головные боли. Нужно

идти к людям. Больной, он не мог прожить один. И Федька решился, пошёл в деревню. Сегодня утром он ещё издалека почуял незнакомый ему запах и, принюхиваясь, по запаху отыскал Яшкину землянку... Увидел Яшку, хотел выйти из укрытия, но не смог, испугался, бросился уди- рать. Опять к себе в берлогу. Да пришлось схватиться...

...Яшка слушал и не верил тому, что говорил этот человек. Он и гово- рил-то с трудом, медленно, почти по слогам, бессвязно, так, что Яшка больше догадывался, чем понимал, что он хочет сказать. Яшке был про- тивен этот человек. Он презирал трусов. А это был выдающийся трус. Ведь для того чтобы не умереть на войне, он рисковал погибнуть каж- дый день вот уже почти двадцать лет. Тысячи дней одиночества, перво- бытной борьбы за выживание.

А разве это просто? Разве на это не надобно мужества и смелости?

И тут Яшка снова поймал себя на мысли о странности и необычности своих размышлений. А он-то, Яшка, он ведь на той же тропе стоит...

Яшка глянул на Федьку, который в это время рвал зубами куски мя- са с холодной кости, и казалось Яшке, что вот-вот встанет он на четве- реньки, зарычит на него по-звериному, отгоняя от добычи, — так по- жи- вотному блестяли его глаза. Яшке стало вдруг ненавистным это сущест- во. Не человек, а человекоподобие какое-то...

«Поспать бы надо, — подумал Яшка. — Так чёрт его знает, что этот тип может выкинуть. Заснёшь, а он трах тебя по башке — и каюк».

Федька вдруг отложил кость в сторону и долго молчал, глядя пусты- ми глазами прямо в Яшкину переносицу.

— Отведи меня к людям, паря, — молвил он. — Безнадёга...

— Отведу, завтра же, — не задумываясь, соврал Яшка. — Только да- вай-ка сначала поспим... паря... А чтоб ты чего не отчебучил... ну, не пырнул меня ножом, допустим, давай-ка я тебе руки свяжу. А?

Федька молчал и, не мигая, смотрел в Яшкины глаза.

— Слышь, чего говорю: давай поспим, но я тебе руки свяжу, чтоб ты меня сдуру не убил. А? Ну, тyani руки...

Яшка вынул сыромятину.

Федька мгновенно вскочил на ноги.

— Пошто? Убить хочешь? Не дамся! А-а-а!..

Федька выхватил нож и кинулся на Яшку. Боролись они несколько мгновений. Яшка вырвал нож из Федькиных рук и с придыхом вонзил его Федьке в живот. Федька охнул, выкатил бесцветные глаза, криво ус- мехнувшись, прошептал: «Без-на-дё-га...». И обмяк.

Яшка утащил труп далеко в лес, долго рыл глубокую яму и захоро- нил Федьку так, чтобы никакая зверюга не унюхала трупный запах; заделал могилу дёрном, привалил сухим деревом и сучьями. Кто бу- дет искать человека, которого уже двадцать лет нет среди людей? Но всё же...

Теперь и тайга стала ненавистой Яшке. Её буреломы, мох, проваливающийся под ногами, путаница протоков, сучья, неожиданно впивающиеся в шею. Он ненавидел этот хаос, такой равнодушный и враждебный к нему, затерянному в этом океане леса человеку. Лиственная, сосновая, высохшая на болоте тайга, вся в клочьях свисающих с деревьев мшин, она вдруг стала видиться Яшке злой косматой ведьмой, высасывающей из него последние силы и надежды. Такая просторная, спокойная и пустая с виду тайга таила опасность за каждым кустом, на вершинах деревьев, не давала возможности расслабиться ни на минуту. Ветер, огонь, холод, дождь, снег, метель, звери, голод — всё это твои враги, которые только и поджидают, что ты зазеваешься, и они тебя тут же ухватят и погубят. Тайга стала страшить Яшку, и подчас его обуревало желание взять да и запалить её, сжечь дотла. И если он сдерживался, так только потому, что воображение рисовало ему ещё более страшную картину — море бушующего огня, который мстительно поглотит и его, маленького и ничтожного человечка... «Безнадёга» — часто всплывало в Яшкином уме это Федькино слово.

...Пришла весна. Запогодило. Утро стало приносить радость. И бездонной голубизной неба, и яркими стрелами солнечных лучей, и пеньем птиц, наполнявших всё вокруг звоном, стуком, заботами. Лес ожил, закопошился. Яшка не без радости наблюдал эту суету — рушилось его одиночество.

Неподалёку, в осиновом дупле, поселился скворец. Он деловито выбрасывал из дупла что-то ненужное ему для житья, сновал вдоль ствола осины, выискивая червячков, личинок, куда-то улетал, возвращаясь с соломинками в клюве. А потом, когда отстроил жильё, стал давать концерты. С самого раннего утра он нежно высвистывал свои любимые мелодии, которых Яшка не слышал ни от кого, кроме этого, отливающего синевой красавца-скворца...

По мере того как лес просыпался, в пение скворца вплетались и другие звуки. Наверное, скворец сердился, что ему мешали солировать, и передразнивал дятлов, дроздов, ворон и даже изображал треск старых деревьев.

Вскоре у скворца появилась подруга. Видно, что-то ей не понравилось в жилище, и скворец снова хлопотал по строительству.

Яшке очень хотелось помочь скворцу. Он надёргал шерсти от полубубка, разбросал у осины перья когда-то убитых им птиц. Скворец воспользовался помощью, но лишь отчасти. Видно, ему нужны были другие материалы, и он опять стал улетать надолго. Куда? Наверное, к людям, в деревню. Странно, что он поселился в глубоком лесу, в этой глуши, вдали от пашен, богатых червяками. Скворцы любят людей... «Может, я его приманил?» — думал Яшка. — Вот даже птаха малая к человеку тянется... А я? Тошно ведь, тошно одному-то!.. Только как

мне пойти к людям? Два трупа, две жизни на мне. Это в двадцать-то три года... Да и куда, к кому мне идти? К Галке? Не примет, нет... Ясно ведь сказала: «Человек мне нужен, а не мужик...» В бригаду? Они меня ненавидят. К ментам? Те только и ждут... За одного Ковалёва, если убил, «вышку» могу схлопотать. А тут ещё Федька... Расколют они меня, и тогда уж точно спасу не будет... Выходит — сидеть тебе, Яшка, в тайге и терпеть, терпеть, пока терпится, хоть уж нет никакой мочи здесь жить. Вот и выходит — безнадёга. Полная безнадёга...»

...Ходики в Яшкиной землянке исправно тикали, отсчитывая, как и положено им, часы, но не недели, не месяцы и не годы. Время шло... И тишина висела над тайгой. И только иногда, нарушая таёжное безмолвие, с высокого обрыва над рекой нёсся истошный человеческий вопль: «Твою ма-а-ать! Твою ма-а-а-ать!..» Или противное слуху «трень-брень... трень-брень» и тошнотное нытьё...

1973 год



ФИЛОСОФИЯ ЯСНОСТИ О СТИХАХ, ПЕСНЯХ И ПРОЗЕ И. М. ИЛЬИНСКОГО

«Прошлое в Настоящем» — назвал Игорь Михайлович Ильинский вступление к разделу «Проза» своей книги «Кредо». Прошлое — значимая, может быть, самая значимая часть настоящего. Без прошлого настоящее — только мгновение, пронеслось — и нет его, ничего нет и от него, только мефистофельское искушение Фауста «Мгновение, остановись, ты прекрасно». Но и прошлое останется музеем без посетителей, если оно не оживлено волшебным светом настоящего.

На такие размышления наталкивает чтение книги «Кредо». Прошлое — детство, тайга и первые жизненные уроки, блокадный Ленинград, любовь и семья, работа и отдых, многообразные дела — всё пронесется перед глазами, когда ее читаешь. И ощущаешь художественное измерение эпохи. Автор — человек масштабный, и дела его крупные, и события значительные. Он не только по ученой степени, но и по своему существу — философ, у него, что называется, глаз философский. Для него события прошлого — это скорее поверхность жизни, под которой роятся идеи, чувства, цели, вдохновлявшие не одного человека, а народ, страну, мир. Это то, что называется возвышенным словом «идеал», которое и становится мерилем реальности. Если кратко определить, что такое идеал, то это образ должной жизни. Образ неясный, несколько аморфный, но он может быть выражен, причем лучше всего этого удастся достичь в художественном творчестве. Вот почему И. М. Ильинский, известный социальный философ и социолог, к нему обращается: это поиск образа должной жизни как мерил настоящего. И становится ясным построение книги «Кредо», в которой три раздела — «Стихи», «Песни», «Проза»: каждый раздел с новой стороны раскрывает тему прошлого в настоящем. Лирика стихов поднимается до высоты музыки и чеканности песенных образов и спускается до прозы жизни (жизни уже не своей), которая оказывается наполненной размышлениями о должной жизни, а значит, об идеале, а значит, о поэзии, — и чужая жизнь закономерно входит в «Кредо».

1. СТИХИ

Стихи И. М. Ильинского — сосредоточие мыслей, чувств, образов, жизненных ценностей, неизгладимых детских и юношеских воспоминаний. Здесь страстность оценок прошлого и настоящего воссоединена с пронизательным видением будущего, и это не частный взгляд частного человека: Ильинский в своем творчестве представляет целое поколение наших современников, поколение трагическое и романтическое, а потому и поэтическое. Построенная по этому картина мира масштабна и многогранна, со своими зонами притяжения, которые и определили содержание разделов — «Память», «Ах ты, Русь...», «Двое», «Один», «Друзьям-товарищам», «Миниатюры».

Пронзительные стихи о войне, о блокаде («Блокада», «Про войну») — и вот в этой картине появляется новый человек — девушка, которая станет женой

и спутницей жизни, и всегда в стихах с ней приходит тема вальса («Это было так недавно...»):

*Без сомнения — в атаку:
«Разрешите?» — «Да»...
Закружились на три такта —
Кругом голова.*

*Танцевали вальс за вальсом —
На ветру костёр.
Обнялись и не расстались
С тех до этих пор.*

Лирическая тема любви (разделенной любви, что редкость в поэзии) сменяется размышлениями наедине с собой о своих достижениях и ошибках, о жажде жизни (цикл «Один»). Но поэт не может уйти от проблем своей страны, так в поэтическую картину входит главная тема — судьбы современной России:

*Да, я в челне.
Меня вода не тронет.
Как быть счастливым мне,
Когда народ мой тонет?*

Это своего рода эпиграмма, но не такая, как в разделе «Миниатюры», где часты язвительные ноты, а такая, в которой кристаллизуется самая суть, квинт-эссенция, кредо поэта. И здесь узнается ведущий принцип поэтики Ильинского — ясность. Казалось бы, как просто: поэт придерживается принципа ясности. Что тут необычного? Но в действительности это вовсе не банальность для поэзии, так что требуются пояснения. Сделаем их.

Современная поэзия может быть воспринята и как процветающая, и как находящаяся в состоянии кризиса. Она пронизывает все сферы жизни, от подножия Парнаса до сферы рекламы лекарств и еды для кошек, происходит поэтизация даже прозы, подобно тому как во второй половине XVIII века, на излете просветительского рационализма происходила предромантическая поэтизация культуры. Однако за ростом числа поэтов и их творений не видно новых поэтических открытий, причем не только у нас, но и в мировом масштабе. Поэт перестал восприниматься как вождь народов, как великий учитель жизни, как выразитель мощных импульсов преобразования действительности. Поэзия все больше становится не призванием, а профессией, которой учат на курсах копирайтинга. Увеличивается коммерческая составляющая писательского труда. А это, что ни говори, черты кризиса — и далеко не все.

Последний грандиозный поэтический взлет, очевидно, нужно отнести к 1960-м годам: тогда сказали свое новое поэтическое слово те поэты, имена которых остаются живым культурным достоянием. Да, они произвели настоящее потрясение в поэзии. С их приходом «Василий Теркин» померк, его юмор был оттеснен богатейшей игрой слов, размеров, рифм, его простота, воплощавшая народность поэзии, сменилась интеллектуальной сложностью, а устремленность к прозе реальности ради ее правдивого отражения и постижения —

новой системой «поэтизм», художественных средств и приемов, намеренно показывающих, что лежащий перед нами текст — это не проза, а поэзия. Надо сказать самые высокие слова о новой когорте поэтов: они снова стали вождями поколения, вернули время, когда «поэт в России больше, чем поэт», оппозиция прежнему жизненному укладу стала поэтической по преимуществу. Но уже у них, знаменитых, можно обнаружить черты, которые разовьются в поэзии их последователей и станут определяющими в кризисный период, если не породят этот кризис.

Лучший пародист той эпохи, довольно зло потешаясь над манерой поэтического высказывания величайшей поэтессы эпохи, завершал пародию такими строками:

*Ни слова я не понимал,
Но впечатленья — колдовское.*

Исключительно точно сказано! Причем не об одной поэтессе, а обо всей поэзии, которая, сделав ставку на интеллектуальную усложненность, не связывала напрямую эту усложненность с задачами понимания. В итоге складывались свои стереотипы, имитирующие эту усложненность, в поэзии угнездился «малый джентльменский набор» поэтизм: свечи, бокалы, туман, «струна звенит в тумане»:

Плесните колдовства в хрустальный мрак бокала...

Эту строку знала вся страна благодаря романсу редкой красоты, но другие бокалы, свечи, зеркала лишь бесконечно множились, не рождая нового содержания, создавая «чистое» настроение, непременно меланхолическое. А рядом — «поэтический хохот», довольно пустая игра в слова и звуки. Поэты заигрались, и, кажется, всерьез.

Сложность интеллектуальной поэзии, утратившей оптимизм и окрасившейся камерным пессимизмом, с одной стороны, и безудержно веселая игра словами, смыслами, ценностями, с другой, — таковы два полюса, два берега современного поэтического потока, соединенные — через все многообразие отдельных поэтических явлений — принципом неясности как эстетической ценности.

Не следует думать, что это происходит впервые, это было, и не раз. В середине XVI века во Франции поэтическая группа «Плеяда» во главе с великим Пьером Ронсаром обновила французскую поэзию. Но к концу века реформа обветшала, возникла ситуация, весьма похожая на нашу сегодняшнюю. Что было дальше? Как писал Никола Буало, «и тут пришел Малерб...». Франсуа Малерб как теоретик поэзии выдвинул всего лишь несколько требований, но среди них один из ведущих принципов классицизма — принцип ясности (*clarte*). Поэтическое произведение должно быть понятно каждому образованному человеку, а не только узкому кругу близких друзей поэта, в нем должно быть как можно меньше личного и как можно больше общезначимого, для чего нужно избегать образов, которые могут иметь не одно, а много толкований. С этих позиций Малерб критиковал Ронсара, его «темный стиль». Не принимал он и использование Ронсаром просторечных слов, диалектизм и т. д.

На этом фоне приобретает особую значимость основная направленность поэтики Ильинского: через века он возвращается к принципу ясности, но это, как и следовало ожидать, не ясность Малерба, а некая «нео-ясность», «новая ясность», которая может быть заменена словом «понимание». Впрочем, оба слова подходят: как поэт Ильинский постоянно решает задачу понимания для себя и прояснения для читателя существенных сторон жизни человека и общества, главных вопросов, центральных чувств. Он обогащен опытом советской поэзии от Маяковского до Твардовского, открытиями шестидесятников, в период взлета популярности которых формировался его поэтический взгляд на реальность. Как организатор Бунинской премии, он оказался включенным в самую сердцевину поэтического литературного потока современности. Как ценитель классической поэзии, он на протяжении всей жизни не только получал наслаждение от великой поэзии России и мира, но и познавал и усваивал ее образцы.

Не в писании стихов — его цель, даже не в писании стихов о главном. Цель — понять, прояснить это главное в жизни через поэзию. Это становится очевидным прежде всего в стихах, написанных И. М. Ильинским в 2010–2011 годах. В тех, что появились раньше, в 1956, 1988, даже 2002, 2007 годах, — это скорее тенденция.

Новый этап кристаллизации поэтических смыслов — в уже упоминавшемся выше лирическом стихотворении 2009 года «Это было так недавно...» с посвящением «Моей Светлане в день “золотой” свадьбы».

Это время (прошлое в настоящем!), когда

*Ты — еще ничья невеста,
Я — ничей жених.*

В этом стихотворении — полная проясненность отношений, эмоций, воспоминаний, образов, звуков, и лишь одно остается, что

*Не понять умом:
Это было так недавно —
В Пятьдесят Седьмом...*

Тем не менее и здесь проясненность обнаруживается в том, что 57-й год вписан большими («золотыми») буквами в череду лет жизни поэта.

Может быть, самое большое впечатление из стихотворений-воспоминаний 2010 года производят «Блокада» и «Про войну».

Осознание жизни через блокадные всполохи памяти — это очень жестокое осознание.

*Я не вырвусь никак из Блокады,
Я с войны никогда не вернусь.*

Читая последующие строчки стихотворения «Блокада», я мысленно располагал слова «лесенкой», по Маяковскому:

*Было ль это —
не верю порою:
Сорок Первый;
в осаде город;*

*Ни воды,
ни тепла,
ни покоя;
Съели всё —
в Ленинграде
голод.
Голод тысячами
людей косил.
Пайка хлеба —
сто граммов
на день.
Чтоб пойти за ней,
не хватало сил.
Вдоль бульваров
брели люди-тени.*

И ниже страшный образ:

*Девочка
в канаве
без одёжки —
Мёртвая
на розовом снегу...*

Но все же автор прав, когда из веера возможностей выбирает интонационно самые простые и безыскусные. Для образов, которые определяют строй стихотворений-воспоминаний, напор, надрыв не только не нужны, но и неуместны. Ведь в их кругу центральные те первообразы, на которых зиждется человеческая жизнь, — образ Отца, который

*...живой и не убитый —
Ввысь меня кидает над собой...*

образ Матери из стихотворения «Про войну», которая

*В мёрзлом Ленинграде
Ела лебеду,
Выжила в блокаде,
Одолев беду...*

Все это пережито в памяти сердца:

*Память сердца — Поэт отменный,
Возвышающий всё Былое...*

(строки из другого стихотворения 2010 года). Пережито и прояснено. Трагедия ведет к катарсису — очищению через страх, страдание и сострадание. Думаю, образы Великой Отечественной войны, подобные тем, которые мы встречаем в поэзии Ильинского, помогают очнуться от амнезии, исторической амнезии, и увидеть все *здесь и сейчас*. Но не только это имеет значение. По мере того как вдаль уходят военные годы, возникают образные аберрации, позволяющие

смягчить контрасты «своего» и «чужого», а для кого-то — даже поменять их местами. История в таком случае становится полем игры воображения, а черно-белые контрасты сменяются пестротой взаимных переходов.

Нельзя сказать, что мировая поэзия не знает таких смещений исторического сознания и смены ненависти к врагу на его пылкое почитание. Вот один из ярких примеров. После Отечественной войны 1812 года о Наполеоне все-таки многие говорили как о герое, а его смерть на острове Святой Елены добавила в культ этого правителя и полководца такие восторженные эмоции, что его преступлений перед целыми народами как бы и не было. Наполеону отдают дань уважения и романтик Цедлиц из захваченной французами Австрии (баллада «Корабль призраков»), и даже вольно переведший эту балладу на русский язык Лермонтов (баллада «Воздушный корабль»), и Генрих Гейне из поработанных и перекроенных французами германских земель (стихотворение «Два гренадера»). Непросто определить, почему поэты стран, завоеванных, разгромленных, разграбленных французами, воспевали императора и его воинов, выражали сожаление об их несчастной (после поражения) судьбе.

В поэтической картине мира Ильинского таких перемен быть не может, сколько бы ни стремились некоторые историки и журналисты переиначить наше прошлое под лозунгом переоценки ценностей. Читая его стихи о войне, понимаешь, что Гитлер не займет места Наполеона, а фашисты — героических французских гренадеров. Именно: понимаешь.

Этот эффект *понимающей поэзии* очень важен. Здесь возникает феномен, которым когда-нибудь займутся социологи культуры. После войны многие солдаты, офицеры, штатские люди, пережившие нашествие и внесшие свой вклад в великую Победу, стали писать стихи, в которых говорили «об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах». Но лишь немногие смогли выразить в стихах то, что просилось из души. Илья Френкель угадал общие чувства, а Клавдия Шульженко, спев песню «Давай закурим» (музыка М. Табачникова), сделала ее поистине всенародной (Константин Симонов вспоминал, что ее пели во всех уголках страны). Замечу, что песня была написана осенью 1941 года, то есть в самом начале войны, ее третий куплет звучал так:

*А когда не будет
Гитлера в помине
И когда к любимым
Мы придем опять,
Вспомним, как на Запад
Шли по Украине.
Эти дни когда-нибудь
Мы будем вспоминать...*

При этом в фонограммах Шульженко звучит: «А когда не будет фашистов и в помине...». Уже тогда было ясно, что ни Гитлеру, ни фашистам не плыть на воздушных кораблях, не быть героями нашей поэзии.

Но вот прошло 65 лет со дня Победы. Сменились представления о том, кого считать поэтами эпохи или просто поэтами, игра словами стала нередко средоточием внимания и усилий литераторов, а вместе с ними и читателей. На этом

фоне народная поэзия о войне совсем поблекла, тысячи, десятки тысяч народных стихов не собраны и не изучены, не сохранены, и важнейшее поколение в нашей истории становится все более безгласным. Вот почему стихи Ильинского о войне представляются столь значимыми: это не только пронзительное личное воспоминание, это один из уже немногих голосов поколения войны, разрывающий его вынужденное молчание, сохраняющий в нашей поэзии бескомпромиссный стержень оценки всей жизни, всего того, что происходило и происходит вокруг, «в категориях войны», как сказано в одной из научных работ Ильинского — социального философа.

Вот мы и подошли к главному в его поэзии. Ясность у Ильинского — это совсем не «*clarte*» у Малерба: у того это был эстетический принцип, касался прежде всего поэтики, а здесь «новая ясность», не претендуя на такую всеобщность, распространена преимущественно на одну жанровую разновидность — на поэзию *социально-философскую*. Но последствия такого шага, может быть, не менее значительны, и об этом стоит поразмыслить.

Всем давно известно, более того, всеми принято, что есть философская поэзия. Не следует думать, что это само собой разумеется. В диалогах Платона философ противопоставляется поэту: поэт в наитии, во вдохновении изрекает то, что диктуют ему боги, тогда как философ с помощью собственного разума, вооруженного логикой, исследует сущее, ища истину. Тем не менее в Древней Греции сложился философский эпос, да и платоновские диалоги также демонстрировали возможность сближения философии и искусства. Но все же следует различать философию в форме искусства и собственно философскую поэзию. Как говорил немецкий романтик Новалис, философия есть ностальгия, тяга повсюду быть дома. Хайдеггер увидел в этой формуле взгляд на философию «со стороны», а именно со стороны поэзии. И в самом деле, они неплохо соединились в движении от обыденного образа к высокому обобщению, идеалу, абсолюту. Таков философский лиризм Тютчева, таково лирическое философствование Владимира Соловьева...

Но есть другой путь от зримого образа к обобщенному осмыслению реальности в формах поэзии. Это путь слияния лирики с социальной философией, магистральный характер которому придал Некрасов. Некрасовский вклад в поэзию обычно сопрягают с формулой «поэт-гражданин», и это вряд ли можно оспорить. Но за гражданственностью лирики великого русского поэта очень часто не замечается ее свойство представить *человека в обществе и общество в человеке* (как определял социальную философию С. Л. Франк). Это особое искусство поэтизировать мир социальных отношений и процессов, выявляя их суть средствами художественного творчества.

В поэзии И. М. Ильинского, прежде всего в стихах 2010–2011 годов, некрасовская линия находит очень сильное, убедительное продолжение. Социально-философская поэзия в известной мере возрождается. Конечно, ее примеры найдем и у Андрея Дементьева, и у Ларисы Васильевой, и у Юрия Поройкова, и у десятка крупных поэтов, для которых некрасовский призыв к деятелям искусства близок и вызывает отклик в поэтической форме, но, пожалуй, Ильинский выделяется особенной последовательностью.

Возьмем стихотворение «Подмосковный сюжет».

*Листопад. Деревья плачут —
Больно им листву терять.
Я на деревенской кляче
Еду сено покупать.*

*Больно мне! Я тоже плачу...
Дрожки старые скрипят...*

Начало стихотворения — описание осени. По-тютчевски олицетворяется природа («деревья плачут»), человек, кажется, вплетается в картину природы («я тоже плачу»). Но стихотворение не становится примером философской лирики, и уже следующие две строчки нарушают подобное ожидание и переводят разговор совсем в другую плоскость:

*Где поля? Жнивье? Здесь дачи
Новорусские стоят.*

Как непоэтично! А дальше — разговор с «лицом кавказской национальности», продающим сено:

*...Всё отдали без тревоги
Чужакам. И всё не в счет.
И теперь заезжий Гоги
Мне моё же продаёт.*

Финал как будто все переводит в философскую картину природы:

*Вечер. Месяц тускло светит.
Я с тоской во мрак гляжу.
Чудеса на белом свете!..
Осень. Листопад. К дождю.*

Но предыдущий рассказ дает ясно понять: это уже не описание природы, это иносказание. И предсказание.

Конечно, поэту было бы куда приятнее описать красоту осени, падающих листьев, прозрачного воздуха, передать запах грибов, запах дымка от затопленных печей, таинственность осенних сумерек и т. д. Но он не может закрыть глаза на то, что видит, а как социальный философ, не по профессии, а по призванию, не может не прояснить для себя суть увиденного частного случая, механизмы которого, скрытые в случайных чертах, носят общий характер. Поэт — социальный философ, стирая *случайные черты*, нередко увидит совсем иной образ мира, как это представлено в стихотворении И. М. Ильинского «Куда спешим?..»:

*Модернизация — вот ваш фетиш.
Глобализация — звучит, сознайтесь, гнило.
Хочу спросить тебя: «Зачем спешишь,
О Человечество, в Единую Могилу?»*

Образ мрачный, подобный «Danse macabre» — средневековой «Пляске смерти» (постоянному сюжету в искусстве Европы начиная с 1370-х годов: Смерть

играет на дудочке, под звуки которой все пляшут — и король, и монах, и блудница, и нищий, и все плачут крупными слезами, так как идут в единую могилу). Но источник этого «макабрического» мотива — не религиозная картина мира, а социально-философский анализ наших реальностей.

И этот анализ чреват предсказаниями решительного изменения всех сторон жизни. На одно предсказание, в стихотворении «Подмосковный сюжет», мы уже обратили внимание. Такое же предсказание — в другом стихотворении 2010 года, «Дым Отечества». Оно вызвано к жизни анализом ситуации лета того года, когда повсюду на территории России запылали пожары:

*Дым Отечества горек и страшен мне:
Виновата тут не Природа —
Нелюбовь казнокрадов к своей стране,
Нелюбовь к своему народу.*

Так трансформировались слова Чацкого «И дым Отечества нам сладок и приятен». И вот оно, предсказание:

*О спасительный ветер, ну где же ты?
Очистительный дождь, пролейся!
Духота. Духота. Запредел Духоты!
Значит, скоро гроза... Надеюсь.*

Предсказание в форме иносказания.

Мы подошли к итоговому стихотворению И. М. Ильинского 2010 года, самому большому (фактически — поэме), самому эмоциональному и самому концептуальному: это своего рода вершина его социально-философской поэзии. Называется оно в высшей степени концептуально: «Умом Россию понимать...». Это стихотворение — спор с поэтом-философом поэта — социально-философа. Хотя здесь есть персонаж, даже довольно подробно описанный, и это великий русский поэт Ф. И. Тютчев, но истинным героем стихотворения становятся написанные Тютчевым знаменитые поэтические строчки:

*Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.*

Тютчев сочинил это четверостишие 28 ноября 1866 года. В автографе, хранящемся в РГАЛИ, после слова «умом» стоит тире, что, очевидно, важно. После «У ней» поставлена запятая, что, очевидно, описка. Первая публикация — 1868 год. Со временем стихотворение стало символическим выражением «загадочной русской души», особенностей менталитета русского народа. Это признано не только у нас, но и на Западе. Когда в 2008 году Жак Ширак получал в Москве Государственную премию РФ из рук президента Д. А. Медведева, экс-президент Франции прочитал это стихотворение. Четверостишие Тютчева, ставшее очень популярным на рубеже XIX–XX веков, сейчас еще более популярно (в Интернете можно найти более 100 тысяч цитирований), то есть вся-

кий раз, как наступает переходный период, период смут и непредсказуемости будущего, вспоминаются, как заклинание, строки великого поэта.

Мне всегда эти строки нравились. Они удовлетворяют чувство национальной гордости, укрепляют национальную идентичность. И сделано это удивительно поэтически — и не случайно: философская поэзия часто предстает в одеждах «поэтизмов». Для Тютчева это характерно, его язык далек от прозы его современников, уводит нас в XVIII век, причем еще неизвестно, не условный ли. «Философские поэтизмы» обнаруживают свое величие, когда сказанное стихами превышает в восприятии сказанное прозой.

*Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.*

Перескажите это ломоносовское двустишие прозой, и красота философского мировосприятия исчезнет: конечно, в бездне звездам нет числа, конечно, у бездны (по определению!) нет дна — чему же тут удивляться, чем восхищаться? Главный «философский поэтизм» состоит не в том, чтобы использовать какие-то особые поэтические приемы, трюки, а просто в том, чтобы высказать мысль стихами.

Четверостишие Тютчева обладает сходным свойством, в прозе оно говорит: вам, западным умникам, нас никогда не понять этим вашим западным умом, вам остается нам только верить, то есть довериться. Впрочем, тогда при чем здесь «аршином общим не измерить», ведь аршин — русская мера длины, а именно во времена Тютчева общего аршина не было, у каждого купца был свой, официально длина аршина (0,7112 м) была установлена лишь в 1899 году, когда аршин был узаконен в России в качестве основной меры длины «Положением о мерах и весах».

Возникает другая прозаическая версия: стихотворение обращено не к иностранцам, а к русским: их западным умом нас никогда не понять, а нам в себя достаточно верить, и все будет хорошо. Но есть и другие трактовки четверостишия. Комментаторы находят здесь мысль об исторической роли России как державы христианской, православной, проводят параллель со словами Тютчева о России как «святом ковчеге» и т. д.

Все это очень неясно, но текст стихотворения так вошел в наше сознание или даже подсознание, что воспринимается некритически. Подобным образом дети воспринимают сказки, никто из них не подозревает, что «Баба-Яга — костяная нога, зубы на полке, нос в потолок врос» — это покойник в гробу, след древних представлений, сохраняющийся в фольклоре, именно из-за некритического характера восприятия, веками, тысячелетиями.

Так и я воспринимал строчки Тютчева — восторженно и некритически. Все изменило стихотворение И. М. Ильинского «Умом Россию понимать...».

Мысль, что слова «умом Россию не понять» не обязательно справедливы, просто не приходила мне в голову. С первых строк стихотворения Ильинского она ворвалась в сознание как луч света, как событие, как открытие. Оказывается, и так можно посмотреть на дело: Россию не только можно понять, но мы обязаны понять, даже — мы и обязаны понять, это наша задача.

Вот пример подхода к одному и тому же предмету поэта-философа и поэта — социального философа. Социальный философ не может позволить себе не по-

нимать Россию, не в каком-то мистическом, отвлеченном смысле, а в самом конкретном: что происходит на нашей земле с нашим народом, что было в прошлом, что нас ожидает. Нельзя позволить себе не прояснить эти вопросы, нельзя не понимать!

Конечно, не со всем в стихотворении Ильинского хотелось соглашаться. Вот его первая часть — в ней Тютчев предстает не в венке славы, а в низменной обыденности:

*«Умом Россию не понять!..
В Россию можно только верить!» —
Сказал Поэт. Зевнул и спать
Пошел, сердито хлопнув дверью.*

Дальше — больше:

*Был пьян Поэт и зол на всех:
Ему хотелось и мечталось
Хлебнуть пивка, но, как на грех,
Телега с пивом задержалась...*

В этом месте следует обширная сноска, призванная подтвердить такую сниженную версию. Этот прием (инвектива) имеет определенную трактовку в психологии: перед нами яркий пример процедуры обесценивания.

Но, вникая в дальнейшее, начинаю сомневаться в том, что правильно понял задачу такого обесценивания Тютчева. Если Тютчев написал строки в несколько нетрезвом состоянии и в раздражении, то это ничего не значит. Вспомним Анну Ахматову:

*Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда...*

В каком бы состоянии Тютчев ни написал свои строки, он все же опубликовал их через два года, в 1868 году, не выбросил автографа, дал его переписать в альбом и т. д.

Тогда зачем подчеркивать неприглядные стороны момента работы над стихом? Но, оказывается, для славы Поэта это выгоднее в сравнении с другими возможными трактовками. В самом деле, пафос стихотворения Ильинского заключается не в борьбе с Тютчевым, а в борьбе с его идеей, в противопоставлении тютчевской идее своей противоположной идеи. Получается, что или Тютчев был плохим философом, выдвинувшим неправильную идею; или он был плохим поэтом, невнятно выразившим в стихах хорошую идею; или (самый безобидный случай!) просто был не в форме, раздражен. Этот более снисходительный вариант и использовал Ильинский. В примечании он прямо пишет: «Вовсе не покушаясь на величие Тютчева, допускаю, что в данном случае Поэт мог и просто «сказануть», гениально зарифмовать свои импульсивные эмоции. Так, возможно, и родилась красивая, броская по форме, но по существу глубоко ошибочная, абсурдная, а потому и вредная для России загадка, тормозящая ее развитие». Я поинтересовался, насколько хорошо Игорь Михайлович знает

тютчевское творчество, и от него узнал, что прежде чем написать стихотворение-протест, он не только прочел все стихи Тютчева, но и все его публицистические работы, его письма, воспоминания о нем. Не всякий филолог, даже специально занимающийся творчеством великого поэта, проделал подобного рода фронтальное исследование его личности и творчества.

Не могу сказать, что в результате чтения стихотворения-манифеста (а именно так можно рассматривать произведение Ильинского) я пересмотрел свое отношение к четверостишию Тютчева, но что спали шоры не критического отношения к нему — это правда. Если Тютчев представил позицию поэта-философа, то Ильинский, подвергнув ее критике, представил позицию поэта — современного социального философа.

Социальная философия относительно недавно стала восприниматься как самостоятельная область философии, задачей ее является ответ на вопросы, что такое общество, какова его структура и каково в нем место отдельной личности. Марксистское учение здесь сохраняет большое влияние, значимы и концепции Ортеги-и-Гассета (теория массового общества), Мангейма (теория тоталитарного общества), Тоффлера (теория информационного общества) и т. д. Ильинский — один из крупнейших отечественных социальных философов. Его вклад в науку можно в целом определить выработанными им формулами-концепциями гуманитарного знания. Эти концепции — «знание — понимание — умение» (так называемая триада Ильинского), «образовательная революция», «социальная философия Происходящего».

Почему же выдающийся ученый, успешный руководитель многотысячных коллективов в области науки и образования, в своей разнообразной, чрезвычайно насыщенной деятельности обратился к поэзии, требующей сосредоточенности и, как принято говорить, ухода от текущих проблем? Думается, что это связано с особенностями поэзии как формы творческой деятельности: поэзия обладает высшей способностью к свертыванию огромной информации, ее структурированию, к ее представлению в концентрированной образной форме (которая обладает противоположной способностью к развертыванию), к ее сохранению. Для Ильинского мир не превратился в кучу опавших елочных иголок, каждая из которых представляет собой какую-то нерешенную задачу, какое-то поручение, обязательство сделать в срок и т. д. Его мир — ель с крепким стволом, от которого отходят большие, а от них маленькие ветки, на которых расположились не опавшие, а живые иголки, и вся эта стройность — результат прояснения, понимания всего окружающего мира, мироздания. Социальный философ должен *понимать*, социально-философская поэзия призвана *прояснять* это понимание, отливать его в поэтические формулы.

И главная формула касается личной позиции в сложном современном мире, выражена она поэтом Ильинским с предельной ясностью:

*Высока волна, глубока вода
И сильнее меня лютый враг.
Эх, пожить бы!.. Слышите?! — Никогда
Не спущу я свой гордый стяг.*

2. ПЕСНИ

Второй раздел книги «Жизнь моя...» включает в себя песни. Здесь желательное пояснение.

И. М. Ильинский вообще очень музыкальный человек, он замечательно слышит музыку, в том числе и в поэзии. В его стихах угадываются есенинские ноты, особенно когда он говорит о любви, о Родине. Если он принципиально избегает ярких эпитетов, метафор, всего, что может так разукрасить мысль, что самой мысли будет уже незаметно, то в поэтических ритмах он разнообразен: ямб, хорей, амфибрахий... Самое удивительное, что он часто обращается к анапесту, по крайней мере вдвое чаще, чем к тоже ценимому им хорею (по традиции в русской поэзии преобладает ямб, поэтому с ним бесполезно сравнивать частоту употребления какого-либо другого размера). Он не только хорошо ориентируется в размерах (как и в рифмах, используя даже древнюю валлийскую рифму, реанимированную английскими поэтами довоенного поколения, примеры из стихов И. М. Ильинского: *нипочем — зачем; щели — растащили; статья — сердце и т. д.*), но и может их нестандартно, даже парадоксально использовать. В уже упоминавшемся стихотворении «Это было так недавно...», одном из лучших лирических стихов книги, речь идет о вальсе, поэтому так и просится «вальсовый» трехсложный размер и очень бы подошел анапест, но поэт использовал ямб, да и вообще в стихах о любви есть лишь один пример анапеста («О любовь! Это вечный природы зов...»). Вальс — не в размере, а в образе любимой женщины. Этот образ всегда несет свет (Светлана!) и утешение в жизненных бурях и невзгодах.

В ряде стихотворений первой части книги очевидна связь с песенными жанрами. Таково одно из наиболее трогательных, щемящих стихотворений цикла «Память» о том, как село теряет своего семнадцатилетнего гармониста, погибшего на войне, а вместе с ним и радость сельских сходок — «матанечек». Оно написано в жанре частушек, причем веселых, разбитных. Вот описание гармониста:

*Гармонист рулады льёт,
Кудрями у клавишей,
Сам — едва семнадцать лет —
На войну направившись.*

Заметим: рифма валлийская (льёт — лет)! А дальше следуют одна за другой частушки, сохраняющие все признаки фольклорного жанра. И их череда завершается частушкой-надеждой:

*«Ты, Ванюш, не задавайсь —
Всё пройдёт порошею.
Повоюй, домой вертайсь —
Выберешь хорошую!..»*

Но этой надежде не суждено было сбыться, и после веселых частушек тем тяжелее читать итог:

*На чужой реке Висль
Был убитый Ванечка.*

*Нет гармошки на селе.
Нету и «матанечки».*

Это как бы слова от автора. Тогда, может быть, лучше было бы не «убитый», а «убит наш», это было бы более литературно. Впрочем, почему же Висле? Не так-то трудно и подобрать другую рифму, где не будет смещено ударение. Здесь продолжается просторечие частушек. Так, может быть, это вообще не некий итог, а последняя частушка? Думается, это одно из лучших стихотворений — и по замыслу, и по исполнению.

Все эти стихи помещены в первый раздел. Очевидно, подчеркивается, что у них нет музыкального сопровождения, и «песня», «романс» — это жанры не музыки, а лирики. Впрочем, одна песня с музыкальным сопровождением попала в самое начало книги — это «Мой путь» — масштабное произведение о себе и прожитой жизни:

*И что ж теперь, в конце пути?
Безумный мир!.. Куда идти?..
Война иль Мир?
Тьма или Свет?
Чума иль Пир?
Жизнь или Смерть?
Но сеял я! Заря взойдет —
Я в это верю!..*

Это стихотворение написано на музыку Клода Франсуа, песня которого приобрела всемирную известность в американском варианте «My way» в исполнении Фрэнка Синатры. Традиция писать слова на музыку уже известной песни сложилась очень давно. Многие стихи П.-Ж. Беранже писались взамен слов уже известных песен. Так, знаменитое стихотворение «Король Ивето» (1813) он написал на мотив насмешливой анонимной песенки «Король Дагобер», слишком тогда известной, так как она преследовалась французской цензурой. Да и «Варшавянка» Г. М. Кржижановского написана на музыку песни Вацлава Свенцицкого, а тот, в свою очередь, написал ее на музыку «Марша звуков» неизвестного композитора (возможно, это был великий Станислав Моңюшко). И. М. Ильинский берет от американского текста песни только самую идею — «Мой путь», но путь этот в стихотворении именно его, это «Жизнь моя...». И даже слова «сеял я» уводят нас не к американской мечте, а к некраковскому:

*Сейте разумное, доброе, вечное,
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ...*
(«Сеятелям», 1877).

Однако пора подчеркнуть отличие второго раздела книги Ильинского от первого раздела. В раздел «Песни» вошли только те стихи, которые положены на музыку профессиональными композиторами. Это, без сомнения, звезды первой величины.

Замечательный композитор Евгений Крылатов, автор всенародно известных песен, выбрал из стихов Ильинского романс «Не спрашивайте женщин о годах». Это же стихотворение увлекло не стареющего, всеми любимого Владимира Шаинского. Возникла и его версия «Костров любви».

Другой признанный композитор — народный артист России Георгий Мовсеян выбрал совсем иное по духу и ритму стихотворение — «Прорвемся, братцы!».

Марк Минков, автор концертов для фортепиано, скрипки и виолончели, детских опер, балета «Разбойники» (по Ф. Шиллеру), но при этом и ставших знаменитыми песен, нашел созвучие своей музыкальной душе в двух стихах Ильинского — «Печальный март» и «Наша Звезда».

Лауреат премии Ленинского комсомола Олег Иванов, ставший известным всей стране в конце 70-х годов, когда ансамбль «Сябры» спел его «Алесю», создал песню на слова одного из самых пронзительных стихотворений Ильинского «Про войну».

Юлия Подопригора (Юлиана Донская), чьи песни входят в репертуар Киркорова и Орбакайте, Пенкина и Малинина, а Аллегрова включает в свои программы уже более десяти ее сочинений, выбрала в творчестве Ильинского романс «Разговор с другом».

Станислав Коренблит, написавший на слова русских и зарубежных поэтов несколько тысяч песен (своеобразный рекорд!), включил в свою «Нотную галерею» две песни на слова Ильинского — «Виноват» и «Молитва».

Тонкий композитор Игорь Евард, издатель, деятель музыкальной культуры, написал песню на замечательное стихотворение «Мамина слеза».

Что определило такой живой композиторский интерес к поэзии Ильинского? Думается, ее музыкальность и песенная небанальность. Так сложилось, что глубокое содержание в стихотворных текстах, положенных на музыку, уже давно связывается с бардовским движением, где, по сути, поэтико-музыкальное произведение неразрывно соединяет слово, мелодию и ритм. В противовес этому многие шлягеры последних десятилетий обычно совершенно бессмысленны, если текст прочитать отдельно от нот. Поэзия подлинных чувств и высоких стремлений довольно редко становится основой песен нашего времени. Многие в этом идет от самих поэтов, нечутких к музыке.

Напротив, стихи Ильинского по своей ритмике, по интонации и по смысловым акцентам как бы просятся в песню. Думается, после выхода книги «Кредо» появятся новые песни, но и представленные в ней сочинения крупных отечественных композиторов (что особенно важно и отрадно — с нотами) показывают песенный потенциал творчества И. М. Ильинского.

3. ПРОЗА

Автор включил в свою книгу, по преимуществу поэтическую и песенно-музыкальную, три прозаических произведения, три повести — «Любовь и Революция», «Смятение» и «Безнадёга». Написаны они в разные годы и по разным поводам. Они впервые соединяются в этом издании. И возник новый художественный эффект: появился на свет цикл повестей. Когда-то Гюстав Флобер опубликовал сборник под названием «Три повести», куда вошло повествование

о библейской Иродиаде, легенда о святом Юлиане Милостивом и рассказ о простой служанке Фелисите. И читатель, прочтя повести вместе, увидел в них общий смысл, выходящий за рамки сюжетов повестей. Точно так же три повести в настоящей книге складываются в цельное произведение с общими вопросами и потенциальным ответом.

Первая из названных повестей сложилась из более раннего и более крупного произведения — художественно-публицистической книги «Василий Алексеев», которую И. М. Ильинский написал для всем знакомой серии ЖЗЛ («Жизнь замечательных людей»), выпускаемой издательством «Молодая гвардия». Эта книга вышла в 1986 году. Ее объем был 350 страниц, иначе говоря, лишь небольшая часть уже опубликованной работы вошла в тот текст, который опубликован в разделе «Проза». Но, думается, два текста — и большой, 1986 года, и краткий, 2011 года, — имеет смысл рассматривать как два тесно связанных, но все же разных произведения. У них разное назначение, разная цель, поэтому возникают разные акценты, даже разный стиль.

Книга для ЖЗЛ неизбежно должна была сосредоточиться на историческом описании героя — юного революционера Василия Алексеева, одного из создателей комсомола, прожившего очень короткую, но ослепительно яркую жизнь. Автор стремился собрать все сведения о герое, он работал в архивах, просматривал периодику, читал исторические труды, находил по крупицам сведения о человеке, о котором почти никто ничего не знал. Выход книги вернул имя Алексеева в анналы нашей отечественной истории.

Те эпизоды, которые включены Ильинским в книгу «Кредо», создают целостное впечатление, как будто мы имеем дело с отдельным произведением, в котором на первый план вышли не проблемы биографической точности, а проблемы идеала как образа должной жизни. Замечателен первый же эпизод — разговор Василия Алексеева с Иваном Усачевым в тюремной камере. И особенно один момент, когда разговор коснулся некоего Орлова из 38-й камеры. Тот, еще недавно максималист, «бомбы в генералов бросал, на эшафот шел, не дрогнув», переродился в «шапкоснимателя», доносчика. Но рано делать выводы, когда человек еще не завершил свой жизненный путь. Гибель Орлова в соседней камере каземата возвращает ему честь в глазах Усачева и Алексеева. И Иван Усачев гибнет, пытаясь сообщить заключенным, находящимся в тюремном дворе, об этом новом Орлове, замученном в тюрьме. А Алексеев, пытавшийся сообщить товарищам о гибели Ивана Усачева, брошен в карцер. Идеал как образ должной жизни, показывает Ильинский, может оставлять человека, и это меняет образ жизни, но не сам идеал. Только идеал снова может стать тем факелом, который осветит верный путь, пусть и смертельно опасный, и принудит человека на него стать, потому что иначе нельзя — совесть не позволит. И пламя этого факела будет загораться в других душах, как бы по цепочке.

Несомненно, диалоги в повести, тем более мысли, не высказанные героями, — плод фантазии автора, но здесь нет художественного произвола, нет домыслов, и даже обстановка в камере строго выверена по документальным источникам. Как я узнал, Игорь Михайлович досконально проработал пять томов «Истории царской тюрьмы» М. Н. Гернета, множество других исследований, мемуаров, описаний, встречался с людьми, знавшими Васю Алексеева.

Слова и образы появились в результате анализа ситуаций, они вероятны, возможны, а потому производят впечатление достоверности. Напротив, эпизод любви Василия Алексея и девятнадцатилетней Марии, которая застрелилась на следующий день после его смерти от тифа и была в один день похоронена с ним рядом, может показаться фантазией, сюжетом, вдохновленным «Ромео и Джульеттой» Шекспира. На самом же деле именно эта грустная и поэтическая история любви ни в чем не выдумана, она относится к реальной жизни, которая вошла в большую историю страны.

Если первая повесть повествует о людях Революции 1917 года, об их благородных целях, о понимании справедливости, ответственности, любви, то вторая повесть — «Смятение» — рисует время начала краха ценностей Революции, время, получившее название «эпоха перестройки». Удивительно достоверно нарисованы в ней герои — и крупный комсомольский работник Мальков, не понимающий, как все, что так хорошо начиналось и долгое время развивалось, катится к моменту неизбежного краха его комсомольской карьеры; и лежащий в больнице комсомольский работник Илья Качанов, человек тонких чувств и раненой совести; и «наглец», по мнению Малькова, Григорий Остров, человек талантливый, нового склада, деловой, не сентиментальный, самоуверенный, энергичный и пока очень удачливый. Мальков приезжает в больницу к Качанову, чтобы вместе с ним разобраться в себе и в общей обстановке — в городе, в области, в стране, в комсомоле, партии, государстве, в обстановке, которую иначе как «смятением» и не назовешь. Начинается, как мне представляется, кульминационная сцена повести — спор в палате, в котором главную скрипку играет лежащий здесь же Юрий Евгеньевич Вольф, директор продмага. Коммунистические высказывания комсомольских руководителей, не из газет, а из души, сталкиваются с циническими заявлениями директора продмага, наверное, будущего «нового русского», хотя пока весьма далекого от того, что зазвучит в эпоху «дикого капитализма».

Кто здесь прав, кто виноват? В том-то и достоинство повести, что она не приговаривает людей. Каждому можно что-то поставить в вину. Цель повести в ключевом для Ильинского и его социально-философской концепции слове — понимание. Надо понять эту ситуацию «смятения». Признаться, в повести столько реалистического, или точнее — реального материала, что можно ужаснуться тому положению, в котором оказалась комсомольская элита времен начала перестройки, раньше других ощутившая «смятение». Чем же оно было порождено? Повесть непрямо, но недвусмысленно отвечает: разрывом между идеалом и путями его воплощения в жизнь. Идеал в это время вовсе не отходит от программы коммунистической революции, скорее, он возвращается к его наиболее чистым формам. Вот почему уместно соединение в одном разделе книги Ильинского этой повести с повестью «Любовь и Революция»: там, словами Алексея и других большевиков, высказаны те же самые идеалы, почти в тех же словах, что и в повести «Смятение». Но идеалы сохранились, а должной жизни нет. И отсюда ощущение раскола, полной неясности будущего для героев повести, для страны.

Третья повесть, «Безнадёга», по объему скорее рассказ, но по содержанию устремляется не только к горизонту повести, но даже и к горизонту романа.

В русской литературе есть тому примеры. У Чехова формально нет романов, но ряд его повестей и рассказов можно рассматривать с полным правом как маленькие романы (маленькие по объему, но не по содержанию). «Судьба человека» Шолохова тоже формально рассказ, но по содержательным признакам это повесть и даже роман. А вот Горький свою гигантскую эпопею «Жизнь Клим Самгина» назвал повестью. Повесть — очень хорошее слово, русское, даже древнерусское, в западных языках такого нет (так, в английском его заменяют на парадоксальное long short story).

Такое же чисто русское слово — «безнадёга». В повести Ильинского его проносят два героя, по разным мотивам укрывшиеся от общества в тайге: один — Федор, еще во время войны, испугавшись отправки на фронт, другой — Яшка, пырнувший ножом из-за ревности некоего начальника Ковалева и не ставший выяснять, убил он его или только ранил. Повесть эта — об озверении человека вне общества, написанная жестко, выпукло, психологически достоверно. Первая половина повести создает впечатление «антиробинзонады». Это жанр, популярный в XX веке (самый яркий пример — «Повелитель мух» Уильяма Голдинга), современный ответ на «робинзонаду». В начале XVIII века появился первый просветительский роман, и это был «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо. Его герой не по своей воле, а в результате кораблекрушения попал на необитаемый остров, и там начинается его подлинное становление как человека. За сюжетом проглядывает просветительская концепция истории, сначала показан первобытный период, с появлением Пяницы начинается рабовладельческий период, далее все идет по пути прогресса.

В повести Ильинского Яшка добровольно укрывается от людей в тайгу, опасаясь преследования за убийство (возможно, мнимое), он в короткое время звереет (яркий пример — убийство лошади: обухом по лбу не может, жалко, но застрелить может, и потом уже ничего не жалко).

Водоразделом в повести для меня как читателя оказалась авторская сноска, из которой вытекает, что он «встречался и беседовал с человеком, история которого вкратце изложена в этом рассказе». Да ведь то же самое было с Дефо: сюжет романа подсказала ему заметка в газете, где сообщалось о том, что обнаружен на одном из необитаемых островов матрос Александр Селькирк, проведший там четыре года. Вероятно, Дефо с ним встречался, но беседы получиться не могло: матрос совершенно одичал, разучился говорить и так и не научился этому заново, несмотря на все усилия работавших с ним специалистов. И все-таки Дефо написал роман о том, как именно в одиночестве Робинзон Крузо стал в полном смысле человеком, просвещенным, гуманным, создавшим на своем острове все удобства цивилизации, проживя там 28 лет. Это просветительский идеал личности. Но реальность-то — одичавший Александр Селькирк!

Соотношение идеала и действительности — вот что роднит проблематику всех трех повестей Ильинского. В своей третьей повести он остается социальным философом и реалистом. Он показывает, что человек современный — это не просто более совершенная биологическая машина, чем человек древний. Это человек плюс что-то, и это «что-то» — общество, общественный статус в нем, включенность в жизнь малой группы (людей, которых знаешь), народа,

всего человечества. Гамлетовский вопрос «Что ему Гекуба?» проливает свет на эту ситуацию. Человек задумывается над судьбами других народов, даже ушедших в небытие, над благополучием потомков, над историями литературных героев, пусть и не существовавших, переживает за весь мир, иначе трудно утверждать, что это современный человек. Два героя повести Ильинского далеки от этого, но и они поняли, что жизнь вне общества — безнадега, у них возникает стремление вернуться к людям. Федору этого уже не сделать: прожив в одиночестве долгие годы от войны до встречи с первым человеком, с которым он мог поговорить о своей «безнадеге», он погибает от его руки (сам спровоцировав свою смерть), тем сильнее в Яшке утвердилась новая мысль: вернуться к людям. Но каково будущее? Смертный приговор или тюрьма? Что же лучше? Никакого просветительства: безнадега!

На фоне двух предыдущих повестей, где шли споры и утверждались идеалы построения нового общества, третья повесть рисует пусть маргинальные, но вполне реальные судьбы людей, составляющих часть этого общества. Когда Алексеев спорит с ротмистром из охраны о справедливости, руководители местного комсомола дискутируют с директором продмага Вольфом о смене ориентиров в новой жизни, они размышляют на уровне такой абстракции, что места для Яшки и для Федьки там нет. А те, в свою очередь, никогда не поднимаются до того уровня, где обитают идеалы и где их обсуждают. И для одних справедливость и свобода впереди, для других уже не настолько, и их охватывает «смятение», а для третьих впереди лишь «безнадега».

А для автора? Думаю, три повести *не о себе* были необходимы в книге «Кредо» именно для анализа этого вопроса, вопроса о будущем. Ведь прошлое в настоящем, при всей своей значимости, имеет еще один аспект: а что же будет дальше? Самый захватывающий вопрос — это вопрос о будущем. И если внимательно читать «Кредо» И. М. Ильинского, то можно не только обнаружить этот вопрос, составляющий, возможно, стержень и его новой книги, и данного этапа жизни автора в реальности, но и разглядеть контуры ответа на него.

Вл. А. Луков
доктор филологических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации,
академик Международной академии наук

ОБ АВТОРЕ

Игорь Михайлович Ильинский родился 28 июня 1936 года в Ленинграде. В июле 1942 года семья была эвакуирована из блокадного Ленинграда в Новосибирскую область, а через семь лет переехала в Новосибирск.

Окончил Новосибирский строительный техникум, Омское танко-техническое училище, Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта (заочно), Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР. Кандидат исторических наук, доктор философских наук, профессор.

Работал слесарем и мастером на стройке, начальником цеха на оборонном заводе, на освобождённой комсомольской работе (стройка, райком, Центральный комитет комсомола), главным редактором всесоюзного журнала, заведующим отделом, заместителем директора и более 10 лет – директором Научно-исследовательского центра при Высшей комсомольской школе.

С 4 февраля 1994 года – ректор Института молодёжи (бывшая Высшая комсомольская школа), ныне Московский гуманитарный университет.

Известный учёный в области философии образования, глобалистики и глобализации, социологии молодёжи, молодёжной политики. Автор многих научных трудов, получивших широкое общественное признание. Действительный член (академик) Российской академии естественных наук, Российской гуманитарной академии, Академии военных наук, Международной академии (Инсбрук), ряда других академий. Лауреат премии Ленинского комсомола в области науки (1991).

Общественный деятель: член Совета по делам молодежи при Президенте РФ (1995–2000), член Коллегии Государственного Комитета РФ по делам молодежи (1995–2000), член Коллегии по аттестации и аккредитации высших учебных заведений Минвуза РФ (2003), член бюро Совета Российского гуманитарного научного фонда (с 2005), член Совета Всемирного русского народного собора (с 2005), председатель Совета по негосударственным образовательным учреждениям при Комитете Совета Федерации РФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии (2007–2008), заместитель председателя Экспертного совета по законодательному обеспечению образования при Комитете Совета Федерации РФ по образованию и науке (с 2008), президент Союза негосударственных вузов Москвы и Московской области, президент Национального союза негосударственных вузов, председатель Попечительского совета литературной Бунинской премии (с 2005).

Член Союза писателей России. Автор книг «Василий Алексеев» (серия «Жизнь замечательных людей», 1986), «Так живу, так люблю» (сборник очерков и стихов, 1998), «Стихи и песни» (2006), «О Бунине» (2010); мно-

гих десятков публицистических и литературно-критических статей в газетах «Комсомольская правда», «Литературная газета», «Московский комсомолец», «Известия», «Труд», «Красная звезда», «Культура», журналах «Наш современник», «Высшая школа» и других; нескольких сценариев телевизионных и радиоспектаклей. Академик и член Президиума Академии российской словесности.

Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «Почёта», «Дружбы», медалями, государственными и общественными наградами.

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХИ

ПАМЯТЬ	7
Кредо	7
Мой путь	8
За окошком Зима... ..	10
Про войну	11
Блокада	13
Пристань моя деревенская	15
Тайга	16
Зимой	18
«Мирно село просыпается...»	20
«Матаня»	21
Школа моя	24
Сон	25
Отчий дом	26
Наш век	28
Такое длинное письмо	29
«Друг мой, комсомол! Старинный и любимый...»	48
Комсомольское сердце	49
Прощаясь с XX веком... ..	50
Поколение моё... ..	53
АХ ТЫ, РУСЬ... ..	54
«Я люблю тебя, Русь...»	54
«Лежит Россия, словно сфинкс...»	55
Умом Россию понимать... ..	56
«Есть мысль — на вид совсем проста...»	64

«Ещё опасность!.. Три не три...»	66
Трубоделам	68
Подмосковный сюжет	69
Дым Отечества	71
Я такой...	73
Куда спешим?..	74
Начала	76
Гроза зимой	77
«Мы не знаем, как выглядят звёзды вблизи...»	78
«Внутри Земли скребнулись “плиты”...»	79
«Вот говорят: “В богатстве человек...»	80
«Вы слышали? Вот это чудеса!..»	82
«Ах ты, Русь — без конца и без краю...»	83
«Надену белую рубашку...»	84
Не молчи!	85
Прорвёмся, братцы!..	87
ДВОЕ	89
Это было так недавно...	89
О тебе	91
В поезде	92
«Я прийду избитый...»	93
«Скажи, куда мы мчим? Куда, скажи, несёмся?..»	94
«Ещё я жив. И даже очень...»	95
«Мы проживаем жизнь спеша...»	96
«Я говорю: “Ревнуй меня, ревнуй!..»	97
Любовь — это...	98
«Умирает любовь, бьёт крылом о траву...»	99
«Как это трудно — быть живым...»	100
«Я уйду не из трусости...»	102
«Пустозвонно стонет душа...»	103
«Ну вот и стихла боль...»	104
«Прощай!.. Не будем лицемерить...»	105
«Ты скажешь мне: “Прости-прощай”...»	106
«Ваше Кареглазие!..»	107
О Любовь!.. (песня)	109

«Прости мои обиды...»	111
«Виноват... Во всём. Навсегда...»	112
«Как божий дар храню тебя...»	113
«Родная, не тужи о времени бегущем...»	114
«Что — жизнь? Игра! И все в ней клоуны...»	115
Печальный март (песня)	116
Ты помнишь?..	118
Хранители мои	119
«Твое предназначение — любить»	120
Не спрашивайте женщин о годах (песня)	121
Любимые — смертны...	122
Сыну	123
Дочери	124
«Всегда люби! Жену, детей...»	125
Молитва	126
«То печально суровы...»	128
ОДИН	129
Прощальное	129
Мечта	131
«Как ненавижу “плесень” я!..»	132
«Бреду задумчивый, мечтаю...»	133
Осень	134
А вдруг?..	135
На собственное сорокалетие	136
«Опять по лесу Осень рыщет...»	137
«Ничего не могу...»	138
Мамина слеза	139
«Ужель была ты, молодость моя?..»	140
Про Иуду	141
«И жалею, и зову, и плачу...»	143
«Одинокость ума — беда...»	144
«Один встречаю дни и годы...»	145
«Мне не нужны заморские края...»	146
«Улетаю... Куда? Не пытайте...»	147
«А между нами километры...»	148

ДРУЗЬЯМ-ТОВАРИЩАМ149

Другу149
«Мы слов о дружбе много произносим...»151
«Пересоздаться мы не сможем...»152
Моим соратникам153
Студенческая песня154
Разговор с другом (романс)156
Наша Звезда157
Памяти друга159

МИНИАТЮРЫ161

«Жизнь моя!.. Бессонные ночи...»161
«В своём отечестве пророков не бывает...»161
«Смешон, кто размахался кулаками...»162
«В поднебесье парит орёл...»162
«Я снова побит. Что за жизнь?..»162
«Из истин, доступных издревле...»162
«Не обещай Великого — твори...»163
«Пониманье — начало согласия...»163
«Кому Россию не понять?..»163
«Всё миру ведомо уже...»163
«Бывают дни, когда в толпе безмозглой...»163
«Я стараюсь смотреть веселей...»164
«Я — тень души. Мне нет преград во времени...»164
«Достоинство и честь храни...»164
«Орёл летает у вершин...»164
«Я понял это не вчера...»164
«И опять в декабре непогодится...»165
«Ах, где вы, годы молодые...»165
«Огонь и вихрь, вода и прах...»165
«Изначальней всего в этом мире — любовь...»165
«О любовь! Это вечный природы зов...»165
«Твое предназначение — любить...»166
«Имена выражают природу вещей...»166
«Усталый и измотанный...»166

«Здесь каждый день...»	167
«И ливнями иссеченный...»	167
«Ужели вправду это было?..»	167
«Ну вот и стихла боль...»	167
«Нас разлучить уже ничто не сможет...»	168
«Минувшего волшебное значенье...»	168
«То было прошлою зимою...»	168
«Ночь была морозной, небо было сине...»	168
«Прекрасный год...»	169
«И с кем, и где бы ни был я...»	169
«Любовь — неведомое “что-то”...»	169
«И с кем, и где бы ни был я...»	169
«Он был мужчина ого-го...»	170
«Порою дар богов бывает карой...»	170
«Бывает, говорящий лжёт...»	170
«Мы наивный народ, а “верхи” — лицедеи...»	170
«На Руси две беды: дураки и дороги...»	171
«Очнись, народ! Встань на дыбы!..»	171
«Все говорят, что жизнь — мгновенье...»	171
«О чём грущу я в День Победы...»	171
«О вечности учитесь размышлять...»	171
«За высотой — высота...»	172
«Вперёд, вперёд! Веди, Мечта!..»	172
«Чужого горя не бывает...»	172
«Пихты до неба доросшие...»	173
«Без клятв, но с верою...»	173
«Да, я в челне...»	173
«Уходящим в пучину “Варягом”...»	174

ПЕСНИ

Не спрашивайте женщин о годах. Музыка Е. Крылатова	179
Костры любви. Музыка В. Шаинского	181
Печальный март. Музыка М. Минкова	184
Наша Звезда. Музыка М. Минкова	186
Прорвёмся, братцы! Музыка Г. Мовсисяна	188

Про войну. Музыка О. Иванова	190
Молитва. Музыка С. Коренблита	196
Виноват. Музыка С. Коренблита	199
Разговор с другом (романс). Музыка Ю. Подопригоры	201
Мамина слеза. Музыка И. Еварда	203

П Р О З А

Прошлое в Настоящем	215
Любовь и Революция (отрывки из историко-документальной повести) ..	217
Смятение (повесть)	286
Безнадёга	340

Вл. А. Луков. ФИЛОСОФИЯ ЯСНОСТИ (О стихах, песнях и прозе И. М. Ильинского)	357
--	-----

ОБ АВТОРЕ	376
-----------------	-----

Литературно-художественное издание

ИЛЬИНСКИЙ ИГОРЬ

КРЕДО

Стихи. Песни. Проза

Корректор *Т. Л. Ожиганова*

Художественно-техническое редактирование
и верстка *Н. И. Луковой*

Подписано в печать 18.05.2011. Бумага мелованная.

Печать офсетная. Гарнитура SchoolBook.

Формат 84x108/16. Печ. л. 24,0.

Тираж 500 экз. Изд. № 281. Заказ № 3145.

Издательство Московского гуманитарного университета,
111395, Москва, ул. Юности, д. 5/1

Отпечатано с оригинал-макета в ППП «Типография “Наука”»,
121009, Москва, Г-99, Шубинский пер., д. 6